

Джо Хилл Призраки двадцатого века



Аннотация

Перед вами дебютный сборник рассказов Джо Хилла, который сразу поставил автора в один ряд с такими корифеями жанра мистики, как Говард Лавкрафт, Рэй Брэдбери, Стивен Кинг. Четырнадцать историй, каждая из которых будет держать вас в напряжении вместе с их героями. Ведь как сказал сам Джо Хилл в интервью журналу Locus: «Многие люди в моих историях несчастны. Мне нравится писать о людях, которые в каком-то роде плохие, — они принимают неправильные моральные решения, плохо обращаются со своими друзьями и лгут самим себе. Многие рассказы — о плохих людях, пытающихся пробить себе путь назад к добру...»

Сборник был награжден «Bram Stoker Award» и «British Fantasy Award», а его автор в 2006 году получил «William L. Crawford Award» как лучший автор-дебютант. Новелла «Добровольное заключение» была награждена «World Fantasy Award». «Лучше, чем дома» принес автору «A. E. Coppard Long Fiction Prize». Рассказы «Черный телефон» и «Услышать, как поет саранча» были номинированы на «British Fantasy Award»-2005.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современным ужасам зачастую недостает тонкости. Большинство авторов, подвизающихся в этом жанре, без долгих разговоров бросаются в лобовую атаку на читателя и забывают о том, что самые опасные хищники умеют подкрадываться исподтишка. Конечно, в такой тактике нет ничего плохого, но писатели, обладающие истинным мастерством и талантом, имеют в запасе больше, чем один-единственный прием.

Не все рассказы, включенные в сборник «Призраки двадцатого века», относятся напрямую к жанру ужасов. Часть из них можно назвать мистическими, другие являются вполне традиционными новеллами, чьи сюжеты вызывают мрачное беспокойство, а в одном вообще нет ничего пугающего — просто очаровательное повествование. Но все эти произведения весьма утонченные, друзья мои. Джо Хилл отлично умеет подкрадываться

исподтишка. Даже та история, где мальчик превращается в гигантское насекомое, сделана очень тонко. А скажите честно, часто ли такое встретишь?

Я впервые узнал о Джо Хилле, когда увидел его имя в списке авторов антологии «Многоликий Ван Хельсинг» под редакцией Джин Кавелос. В сборник вошел и мой рассказ, но я еще не читал сочинений других участников проекта, когда пришло время встречи с читателями в кембриджском книжном магазине «Пандемониум». Джо Хилл тоже был там, вместе с Томом Монтелеоне, Джин и мной.

Хотя в тот момент я не знал ни слова из написанного Джо Хиллом, встреча пробудила во мне живой интерес к нему. Из нашей беседы выяснилась очень любопытная для меня вещь: любовь к «ужасикам» была далеко не единственным его увлечением. Его рассказы самых разных жанров печатались в литературных журналах и даже удостоивались премий. Тем не менее он снова и снова возвращался к ужасам и темным фантазиям.

Порадуйтесь этому. Если вы еще не поняли, как нам повезло, скоро поймете сами.

Я бы в конце концов когда-нибудь собрался осилить «Многоликого Ван Хельсинга», но после встречи с Джо Хиллом взялся за книгу немедленно. В антологию вошел его рассказ «Сыновья Абрахама»: леденящая душу история о двух мальчиках, начинающих понимать — как это однажды случается со всеми детьми, — что их отец не верх совершенства. «Сыновья Абрахама» напомнили мне один потрясающий фильм — «Порок», снятый актером и режиссером Биллом Пакстоном в 2001 году. Вы найдете этот рассказ примерно в середине сборника, который держите сейчас в руках. Мне он так понравился, что я захотел прочитать и другие вещи, вышедшие из-под пера Джо Хилла. К сожалению, он публиковал короткие истории в тех изданиях, что не попадались мне на глаза. Но я запомнил его имя на будущее.

Когда Питер Краузер спросил меня, не соглашусь ли я прочитать «Призраков двадцатого века» и написать предисловие, моим первым импульсом было отказаться. У меня не хватало времени почти ни на что, кроме писательства и моей семьи. Но мне очень хотелось прочитать его книгу. Мне было очень любопытно узнать, действительно ли Джо Хилл так хорош, как обещали «Сыновья Абрахама».

Оказалось, что нет.

Он гораздо лучше.

Название данного сборника подобрано точно во многих смыслах: одни рассказы связаны с призраками в той или иной форме, а в других слышны отзвуки собственно двадцатого века. В новелле «Услышать, как поет саранча» автор объединяет любовь к фантастическим фильмам пятидесятых годов (и знание этих фильмов) с самими фантастическими ужасами, послужившими им основой. Результат — одновременно и мрачный, и забавный, и трогательный.

Но наиболее важно, что название резонирует с самим автором. Его произведениям свойственны элегантность и деликатность, напоминающие нам об ушедшей эпохе, о Джоан Эйкен и Амброзе Бирсе, о Бомоне, Матисоне и Роде Серлинге.

В лучших своих произведениях Джо Хилл предоставляет читателю право самому завершить сцену, найдя эмоциональный отклик, необходимый для истинного окончания истории. И он мастерски вызывает в нас такой отклик. Складывается впечатление, будто его рассказы требуют соучастия и существуют только вместе с читателем, разворачиваясь по мере прочтения.

Сборник открывает новелла «Лучшие новые ужасы». Невозможно не распознать знакомых черт в ее сюжете и не догадаться, чем все закончится, но это не только не портит историю, а наоборот — является одним из ее достоинств. Автор добивается успеха, заставляя читателя нетерпеливо ждать, когда же произойдет то, что должно произойти.

Джо Хилл так погружает вас в интимную атмосферу «Призрака двадцатого века» и отчаянное настроение «Черного телефона», что вы становитесь частью повествования, разделяете опыт и переживания героев.

Я бы охотно поговорил с вами о каждом рассказе из этого сборника. Но нельзя забывать об опасности, подстерегающей того, кто пишет о книге в предисловии к ней: можно

ненароком раскрыть слишком много. Скажу только, что, если бы я мог стереть из памяти эти сюжеты, я бы немедленно так и поступил — для того, чтобы иметь удовольствие снова прочитать их впервые.

«Лучше, чем дома» и «Деревья-призраки» — две изумительно красивые вещицы. «Завтрак у вдовы» — яркий эпизод из другой эры, тогда как рассказ «Спасенный» (включенный в подарочное издание монументального собрания) рисует человека потерянного — и в буквальном, и в переносном смысле этого слова.

«Призрак двадцатого века» затрагивает ностальгические струны, подобно моим любимым эпизодам «Сумеречной зоны». «Услышать, как поет саранча» — дитя трех родителей: Уильяма Берроуза, Кафки и фильма «Они!». «Последний вздох» приправлен капелькой Брэдли Буркера. Все эти истории прекрасны, а некоторые — пугающе хороши. Зловещий и тревожный рассказ «Маска моего отца» заставил меня испытать головокружение.

«Добровольное заключение» — одна из лучших новелл, когда-либо читанных мною. Она свидетельствует о писательской зрелости Джо Хилла. Откуда, черт возьми, взялся этот полностью сформировавшийся автор? Вы понимаете, о чем я. Крайне редко встречаются писатели, которые талантливы изначально. А когда такое все-таки случается... что ж, признаюсь, я пал жертвой душевного смятения, борясь между восторгом и желанием выбить из него правду — настолько мне понравилось «Добровольное заключение».

Но вот «Хлоп Арт»... «Хлоп Арт» — трансцендентная вещь. Однозначно лучшая из всего, что я прочитал в последние годы; в ней, на нескольких коротких страницах, сконцентрировано все лучшее, что есть у Джо Хилла: причудливость, утонченность, читательское соучастие.

Оценивая первые творения нового автора, читатели и критики имеют обыкновение рассуждать о том, какие надежды подает художник, что обещает его талант.

Рассказы из сборника «Призраки двадцатого века» — это уже выполненные обещания.

Кристофер Голден

Брэдфорд, Массачусетс

15 января 2005 года

БЛАГОДАРНОСТИ

Моя глубокая признательность Питеру Краузеру, Кристоферу Голдену, Винсенту Чонгу и Николасу Геверсу за то, что они отдали столько сил и времени, чтобы сделать эту книгу реальностью. Хочу сказать спасибо всем редакторам, которые поддерживали меня на протяжении многих лет: Ричарду Чизмару, Билу Шейферу, Энди Коксу, Стивену Джонсу, Дэну Джэффу, Джин Кавелос, Тиму Шеллу, Марку Эйпельману, Роберту О. Гриру-младшему, Адриен Бродер, Уэйну Эдвардсу, Фрэнку Смиту, Терезе Фокарил и многим другим. Также хочу поблагодарить моего веб-мастера Шейна Леонарда. Также я высоко ценю неустанную деятельность моего агента Микки Чоза по продвижению моих произведений. Огромное спасибо родителям, брату и сестре и, конечно, моему горячо любимому «племени» — Леаноре и мальчикам.

Я хочу поблагодарить и вас, мой читатель, за то, что выбрали эту книгу и предоставили мне возможность пошептать вам на ухо часок-другой.

Однажды Джин Вулф спрятал целую историю в предисловии, однако я не припомню, чтобы кто-то сумел похоронить рассказ на странице с благодарностями. Возможно, я буду первым. Есть только один способ, каким я могу отплатить вам за интерес к моей книге: надо немедленно приступить к делу и начать повествование. Тем более что рассказы — единственная моя валюта. Надеюсь, они доставят вам удовольствие.

Пишущая машинка Шахерезады

Сколько Елена себя помнила, каждый вечер после работы отец спускался в подвал и не

выходил оттуда, пока не настучит три страницы на древней электрической пишущей машинке «Селектра» фирмы «Ай-би-эм», купленной им в студенческие годы, — тогда он еще верил, что станет великим писателем. Через три дня после смерти отца Елена услышала, что в подвале в привычное время снова раздаются знакомые звуки: взрыв частых перестуков, потом тишина ожидания, разбавленная ровным жужжанием механизма.

На непослушных ногах Елена спустилась по ступенькам в подвальную темноту. Пахнущее плесенью неосвещенное помещение заполнялось гудением, и казалось, будто сама тьма вибрирует от электрического тока, как воздух перед грозой. Она потянулась к лампе, стоявшей возле орудия отцовского творчества, и повернула выключатель — и как раз в этот момент машинка вновь взорвалась стуком. Елена вскрикнула от неожиданности и через миг закричала снова: она увидела, что клавиши двигаются сами по себе, а хромированная головка бьется о голый черный валик.

В тот первый раз, когда Елена увидела работающую машинку, от страха она чуть не лишилась чувств. Ее мать испытала то же самое, когда на следующий вечер дочь показала ей, что происходит в подвале. Когда клавиши пришли в движение, мать вскинула руки и завизжала, и Елена едва успела подхватить ее, прежде чем та повалилась на пол.

Но через несколько дней они привыкли, а потом происходящее стало им нравиться. Матери пришло в голову вставить в машинку лист бумаги, перед тем как она включилась в восемь часов вечера, в обычное время. Мать хотела посмотреть, что там за слова — вдруг это сообщение с того света «Моя могила холодна Люблю вас и скучаю».

Но оказалось, что это всего лишь рассказ — один из тех, какие сочинял при жизни отец Елены. Он даже начинался не с начала. Машинка застрочила с середины страницы, с конца фразы.

Затем мать придумала позвонить на местное телевидение. С пятого канала приехала корреспондентка — посмотреть на чудо-машинку. Она сидела перед электрическим устройством до тех пор, пока оно не включилось и не напечатало несколько предложений. Потом корреспондентка встала и быстро покинула подвал. Мать Елены заспешила вслед за ней, переполняемая множеством вопросов.

— Дистанционное управление, — сказала корреспондентка очень холодно. Она оглянулась через плечо с выражением неприязни на лице. — Когда вы похоронили мужа, мэм? Не прошло и недели, так? Что же вы за человек?

Другие телеканалы не проявили к машинке интереса. В редакции газеты сказали, что подобными материалами там не занимаются. Даже некоторые из родственников заподозрили, что вдова и дочь усопшего разыграли шутку весьма дурного вкуса. Мать Елены слегла со страшной мигренью, растерянная и подавленная. А в подвале каждый вечер продолжали стучать клавиши, выбивая слово за словом дробными пулеметными очередями.

Дочь покойного присматривала за «Селектрой». Она стала вовремя вставлять чистые листы, так что машинка ежедневно производила на свет три новые страницы с рассказами — совсем как отец, когда был жив. Иногда Елене казалось, что машинка радуется ее появлению и весело жужжит в ожидании того момента, когда можно будет снова застрочить по белой бумаге.

Все уже и думать забыли о машинке, но Елена продолжала спускаться по вечерам в подвал, слушала там радио, складывала высохшее белье и заправляла при необходимости новый лист бумаги в старенькую «Селектру». Это было незатейливое времяпрепровождение, бездумное и приятное — вроде ежедневного посещения кладбища, чтобы положить свежий букетик цветов у могилы отца.

Елена полюбила читать рассказы, напечатанные машинкой. Сюжеты о масках, о бейсболе, об отцах и сыновьях... и о призраках. Да, некоторые истории были о привидениях, и они нравились Елене больше остальных. Разве не этому в первую очередь учат на курсах писательского мастерства: писать о том, что знаешь? Призрак за клавишами писал о мире мертвых с большим знанием дела.

Шли годы, и лента для таких пишущих машинок перестала поступать в продажу.

Купить ее можно было только по спецзаказу, пока «Ай-би-эм» вовсе не прекратила ее выпускать. Печатная головка сносилась. Елена заменила головку, но вскоре стала заедать каретка. Однажды вечером она совсем застряла, не двигалась с места, и из-под металлического корпуса потянулись струйки маслянистого дыма. С каким-то яростным упорством машинка вколачивала в лист букву за буквой, одну поверх другой, пока Елена не подбежала и не выдернула шнур из розетки.

Елена пошла к мастеру, который занимался ремонтом и восстановлением старой техники. Он вернул машинку в идеальном состоянии, но рассказов она больше не печатала. За три недели, проведенные в ремонтной мастерской, она утратила эту привычку.

Когда-то в детстве Елена спросила отца, зачем он каждый вечер уходит в подвал и придумывает всякие небылицы. Он ответил, что без этого ему не заснуть. Три страницы историй разогревали его воображение для целой ночи сладких снов. Теперь Елена боялась, что его посмертное существование станет беспокойным и бессонным. Но что-либо сделать она была не в силах.

К тому времени ей исполнилось двадцать с небольшим. Ее мать — несчастливая старая женщина, отдалившаяся не только от семьи, но и от всего мира, — умерла, и Елена решила переехать. Это означало продажу дома со всем его содержимым. Девушка спустилась в подвал, чтобы разобрать скопившиеся там вещи, а через некоторое время уже сидела на лестнице и перечитывала рассказы, написанные отцом после смерти. Он когда-то пытался опубликовать свои произведения, но потом перестал предлагать их журналам — устал от постоянных отказов. Однако его посмертные рассказы показались дочери... гораздо более живыми, что ли. Особенно увлекательны были истории о привидениях и других сверхъестественных явлениях. Елена собрала воедино то, что сочла лучшим, и стала рассылать по издательствам. Ей чаще всего отвечали, что сборники рассказов неизвестных писателей не пользуются спросом публики. Потом редактор одного маленького издательства позвонил и сообщил Елене, что рассказы ему понравились, а ее отец тонко чувствовал сверхъестественное.

— Неужели? — спросила она

Об этом случае мне поведал друг, близкий к издательскому бизнесу. К огромной моей досаде, он не знал главных подробностей, так что я не скажу вам, где и когда вышла книга. Вот и все, что мне известно об этом удивительном сборнике. Очень хотелось бы знать побольше. Я всегда интересовался оккультными историями, и собрание рассказов отца Елены стало бы для меня желанным приобретением.

К сожалению, никто не знает ни названия, ни имени автора этой уникальной книги.

Леоноре

ЛУЧШИЕ НОВЫЕ УЖАСЫ

Примерно за месяц до срока сдачи материалов Эдди Кэрролл вскрыл коричневый конверт, и в руки ему скользнул журнал «Северное литературное обозрение». Кэрроллу часто присылали всевозможные журналы: по большей части они носили названия вроде «Плясок на кладбище» и специализировались на литературе ужасов. Приходили и книги. Квартира в Бруклине была завалена книгами: гора на диване в кабинете, стопка возле кофеварки. Везде. И все это — сборники ужастиков.

Прочитать их полностью не представлялось возможным, хотя когда-то (тогда ему было тридцать с небольшим и он только что стал редактором альманаха «Лучшие новые ужасы Америки») Кэрролл старался ознакомиться с каждой книгой. Он подготовил к печати шестнадцать томов «Лучших новых ужасов», посвятив альманаху уже треть своей жизни. Это означало, что он потратил тысячи часов на чтение, редактирование и переписку —

тысячи часов, которых никто ему не вернет.

Со временем журналы стали вызывать у него особую неприязнь. Печатали их на самой дешевой бумаге самыми дешевыми красками. Он ненавидел следы краски на своих пальцах, ненавидел ее резкий запах.

Он не дочитывал до конца большую часть рассказов, за которые все-таки брался. Он не мог. Он слабел при мысли о том, что придется осилить еще одну историю о вампирах, занимающихся сексом с другими вампирами. Он решительно открывал подражания Лавкрафту,¹ но при первом же болезненно серьезном намеке на Старших богов чувствовал, что внутри немеет какая-то очень важная его часть — так немеет в неудобной позе рука или нога. Он боялся, что эта важная часть — душа.

Вскоре после развода с женой обязанности редактора стали для Кэрролла утомительным и безрадостным бременем. Иногда он думал и даже мечтал о том, чтобы отказаться от должности, но быстро возвращался к реальности. Редактирование «Лучших новых ужасов» приносило двенадцать тысяч долларов ежегодно, и это была основа его дохода. Ее дополняли гонорары за другие сборники и журналы, разнообразные выступления и семинары. Без двенадцати штук ему пришлось бы искать настоящую работу, а это худшее, что может с ним случиться.

Название «Северное обозрение» было ему незнакомо. На плотной шершавой бумажной обложке изображались неровные ряды сосен. Штамп на оборотной стороне журнала сообщал, что обозрение издано Катадинским университетом в штате Нью-Йорк. Кэрролл раскрыл журнал, и оттуда выпал сложенный пополам листок — письмо от редактора, преподавателя английского языка по имени Гарольд Нунан.

Прошлой зимой к Нунану обратился некий Питер Кубрю, работавший на полставки в технической службе университета. Нунан, тогда только что назначенный редактором «Северного обозрения», объявил открытый конкурс, и Питер принес свой рассказ. Нунан из вежливости пообещал ознакомиться с рукописью. Когда он прочитал рассказ, озаглавленный «Пуговичный мальчик: история любви», то был просто поражен и скупой выразительностью языка, и отталкивающим содержанием.

Для Нунана редактирование журнала было новым делом. Он сменил ушедшего на пенсию Фрэнка Макдэйна, прослужившего на своем посту двадцать лет, и горел желанием обновить издание. Нунан хотел публиковать такие произведения, чтобы они всколыхнули чувства и разум читателей.

«Боюсь, в этом я даже слишком преуспел», — писал Нунан.

Вскоре после выхода в свет «Пуговичного мальчика» заведующий кафедрой английского языка вызвал Нунана к себе и обвинил его в том, что «Северное обозрение» используется как трибуна для «литературных розыгрышей испорченных юнцов». Почти пятьдесят человек отказались от подписки на «Обозрение» — существенная потеря для журнала тиражом в тысячу экземпляров. Выпускница университета, обеспечивавшая большую часть финансирования «Северного обозрения», в негодовании отказалась от дальнейшего сотрудничества. Самого Нунана отстранили от работы над журналом, и место редактора, уступив настойчивым просьбам общественности, вновь занял Фрэнк Макдэйн.

Письмо Нунана заканчивалось следующими словами:

«Я же по-прежнему считаю, что (каковы бы ни были его недостатки) "Пуговичный мальчик" — замечательное произведение, пусть и нелегкое для прочтения. Надеюсь, что Вы сочтете возможным потратить немного Вашего времени на ознакомление с ним. Не скрою, что включение этого рассказа в Вашу антологию станет для меня символом моей правоты.

Я бы пожелал Вам приятного чтения, но боюсь, в данном случае это не совсем уместно.

С уважением,

Гарольд Нунан».

¹ Говард Филлипс Лавкрафт (1890–1937) — американский писатель, один из основоположников современной литературы ужасов. (Здесь и далее прим. перев.)

Эдди Кэрролл прочитал письмо Нунана, стоя в прихожей, только войдя в дверь. Он нашел в журнале рассказ Кубрю и взялся за него. Через пять минут он заметил, что все еще стоит и ему жарко. Скинув куртку, он прошел на кухню.

Какое-то время он сидел на ступеньках лестницы, ведущей на второй этаж. Потом он лежал на диване в кабинете, подложив под голову стопку книг. На страницы падал неяркий свет подходящего к концу октября. Кэрролл не помнил, как он оказался в кабинете.

Не отрываясь, Кэрролл дочитал рассказ до конца и сел, охваченный неумным возбуждением. Это было самое грубое, самое отвратительное произведение из когда-либо прочитанных им, а это кое-что значило. На протяжении почти всей своей профессиональной карьеры он погружался в грубое и отвратительное, чтобы найти в этом гнилом, болезненном литературном болоте цветы неопишуемой красоты. Без сомнения, присланный рассказ оказался одним из таких цветов. Жестокий и извращенный, именно такой рассказ и нужен Кэрролл. Он перелистал страницы назад и начал читать снова.

Главную героиню — погруженную в свой внутренний мир девушку, семнадцатилетнюю в начале повествования, — зовут Кейт. Однажды ее затаскивает в свой микроавтобус великан со злыми желтыми глазами и скобками на зубах. Он связывает ее и швыряет в салон машины, где она обнаруживает мальчика примерно ее возраста. Сначала она думает, что мальчик мертв. Его лицо страшно обезображено: на месте глаз — две круглые желтые пуговицы. На каждой пуговице нарисована улыбающаяся рожица. Пуговицы стальной проволокой прикреплены сквозь веки к глазным яблокам.

Однако когда машина сдвинулась с места, мальчик начинает шевелиться. Он прикасается к бедру Кейт, и она чуть не кричит от ужаса. Он водит рукой по ее телу, потом на ощупь находит лицо. Он шепчет, что его зовут Джим, что великан возит его в машине уже неделю — с тех пор, как убил его родителей.

— Он проколол мои глаза и сказал, что моя душа вылетела через них наружу. Он сказал, что при этом раздался красивый звук — вроде того, что образуется, когда дуешь в пустую бутылку из-под колы. Потом он пришел поверх дырок в глазах эти пуговицы, чтобы из них не улетела и моя жизнь. — Джим дотронулся до пуговиц с рожицами. — Он хочет знать, сколько я могу прожить без души.

Великан везет их на заброшенную туристическую стоянку в пригородном парке, где заставляет Джима и Кейт ласкать друг друга. Когда ему кажется, что Кейт целует мальчика недостаточно искренне, он разрезает ей лицо и вырывает язык. В последующей неразберихе — Джим вопит, слепо мечется, повсюду кровь — Кейт удается убежать в заросли. Три часа спустя она выходит на шоссе, истерически рыдая и истекая кровью.

Ее похитителя так и не находят: он и Джим покинули парк и исчезли. Полицейским не удается установить ни единого факта об их личностях. Они не знают, кто такой Джим и откуда он, а о великане им известно и того меньше.

Две недели спустя после выписки Кейт из больницы появляется первая и последняя ниточка: девушка получает по почте конверт с двумя желтыми пуговицами — улыбающиеся рожицы заляпаны засохшей кровью — и фотографией моста в Кентукки. На следующее утро под этим мостом водолаз находит полуразложившееся тело мальчика, в пустых глазницах которого прячутся мелкие рыбешки.

Раньше Кейт была симпатичной девушкой, теперь же она внушает всем жалость и ужас. Она понимает чувства окружающих: она и сама не может без содрогания смотреть на себя в зеркало. Кейт начинает посещать специальную школу, чтобы научиться языку жестов, но скоро бросает ее. Ее соученики — глухие, хромые, уроды — вызывают у нее отвращение своей беспомощностью.

Кейт пытается вести нормальную жизнь, но безуспешно. У нее нет близких друзей, нет и не может быть работы, она комплексует из-за своей внешности и немоты. В одном особенно мрачном эпизоде Кейт напивается допьяна, чтобы набраться смелости и подойти к мужчине в баре, однако мужчина и его друзья осмеивают ее.

По ночам она не может спать из-за постоянных кошмаров: в снах она переживает невероятные и омерзительные вариации своего похищения. В некоторых из них Джим не жертва, а соучастник преступления, он яростно насилует девушку. Пуговицы, пришитые к его глазам, во сне превращаются в зеркальные диски, где она видит искривленное отражение собственного лица, которое, следуя безупречной логике сна, уже изуродовал шрам. Иногда сны возбуждают Кейт. Ее психотерапевт говорит, что это нормально. Она отказывается от его услуг, когда обнаруживает, что он нарисовал в своем блокноте издевательскую карикатуру на нее.

В поисках средства от кошмаров Кейт пробует джин, обезболивающие таблетки, героин. Ей нужны деньги на наркотики, и она ищет их в секретере отца. Отец застает ее за воровством и прогоняет из дома. В ту же ночь мать звонит ей, чтобы сообщить, что отец в больнице — с ним случился сердечный приступ, — и просит не навещать его. Вскоре после этого в центре для детей-инвалидов, где Кейт в конце концов нашла себе работу, один ребенок карандашом протыкает глаз другому. Вины Кейт в происшедшем нет, однако расследование инцидента выявляет ее дурные привычки. Она теряет работу. Затем она справляется с наркотической зависимостью, но найти другое место ей никак не удается.

Однажды осенью она выходит из местного супермаркета и на парковке перед магазином видит полицейскую машину. Капот машины поднят. Полицейский в очках с зеркальными стеклами изучает перегретый радиатор. Кейт случайно бросает взгляд на заднее сиденье машины — а там, в наручниках, сидит ее великан, десятью годами старше и пятьюдесятью фунтами тяжелее.

Кейт пытается сохранять спокойствие. Она подходит к полицейскому, нырнувшему под капот, пишет ему записку с вопросом, знает ли он, кто сидит в его машине.

Тот отвечает, что этого парня арестовали за попытку вынести из хозяйственного магазина на Плезант-стрит охотничий нож и рулон изолянта.

Кейт знает этот магазин, она живет буквально в трех минутах ходьбы от него. Ноги у нее подгибаются, и полицейский еле успевает схватить ее за руку, прежде чем она упадет.

Она пишет отчаянную записку, пытаясь объяснить, что великан сделал с ней, когда ей было семнадцать лет. Карандаш не поспевает за мыслями, и Кейт сама с трудом понимает написанное. Но полицейский ухватывает суть. Он подводит ее к пассажирскому сиденью и открывает дверцу. Мысль о том, что ей придется сидеть в одной машине с чудовищным похитителем, приводит Кейт в ужас. Девушку охватывает безудержная дрожь, но полицейский напоминает, что великан закован в наручники, сидит на заднем сиденье и совершенно безопасен, а ей необходимо срочно дать показания в полицейском участке.

Наконец она садится в машину. В ногах у нее лежит теплая куртка. Полицейский говорит, что это его куртка и Кейт может накрыться ею — так будет теплее, и дрожь пройдет. Она поднимает на него глаза, собираясь написать ему коротенькое «спасибо» — и замирает, не в силах шевельнуться. Ее напугало собственное отражение в его зеркальных очках.

Он закрывает дверь и возвращается к раскрытому капоту автомобиля. Кейт непослушными пальцами пытается поднять с пола куртку. К нагрудным карманам куртки справа и слева от молнии пришиты две крупные желтые пуговицы с нарисованными рожицами. Кейт хочет открыть дверцу, но замок заблокирован. Стекло окна не опускается. С грохотом захлопывается капот. Мужчина в зеркальных очках, который совсем не полицейский, зловеще ухмыляется. «Пуговичный мальчик» идет вдоль машины к задней двери, чтобы выпустить великана: ведь чтобы вести машину, нужны глаза.

В густом лесу очень легко заблудиться и начать ходить кругами, и впервые Кейт понимает: именно это с ней и случилось. Она убежала от «пуговичного мальчика» и великана в лес, но выбраться оттуда так и не смогла. С тех самых пор она бродила во тьме и зарослях, описывая огромный и бесцельный круг, и двигалась обратно к похитителям. Теперь она пришла туда, куда и направлялась. Такая мысль не ужасает ее, а странным образом успокаивает. Ей кажется, что ее место здесь, с ними, и это доставляет ей облегчение: очень важно найти свое место в жизни. Кейт откидывается на спинку сиденья и, чтобы согреться,

бездумно накрывается курткой «пуговичного мальчика».

Эдди Кэрролла не удивило, что Нунана уволили за публикацию «Пуговичного мальчика». Рассказчик подробно останавливался на подробностях деградации женщины, и героиня выглядела почти добровольной соучастницей в подавлении собственных эмоциональных, сексуальных и духовных потребностей. Это плохо... но Джойс Кэрол Оутс¹ печатала точно такие же рассказы в журналах, ничем не отличающихся от «Северного обозрения», и получала за них награды. На самом деле непростительным грехом был шокирующий финал.

Кэрролл предвидел его — прочитав почти десять тысяч рассказов об ужасах и сверхъестественном, он всегда мог предсказать конец, — тем не менее финал ему понравился. А вот в среде литературных знатоков неожиданная концовка (пусть и превосходно написанная) считалась признаком ребячества, коммерческой писанины и дурного влияния телевидения. Читателями «Северного обозрения», предполагал Кэрролл, были пожилые академики. Они рассказывали студентам про Гренделя² про Эзру Паунда³ и до боли в сердце мечтали продать собственные стихи в какой-нибудь почтенный журнал. Для них шоковая концовка в коротком рассказе была столь же неприлична, как шумное испускание газов балериной посреди «Лебединого озера», — подобный промах в их глазах выглядел смехотворно. Профессор Гарольд Нунан либо совсем недавно поселился в академической башне из слоновой кости, либо подсознательно хотел, чтобы его оттуда выдворили.

Хотя финал был выполнен скорее в духе Джона Карпентера,⁴ чем Джона Апдайка,⁵ Кэрролл не встречал ничего подобного ни в одном из сборников «ужасов», по крайней мере — за последние несколько лет. Эти двадцать пять страниц являлись натуралистичным описанием того, как женщину шаг за шагом разрушает чувство вины, свойственное жертвам ужасных преступлений. Здесь было все: и мучительные отношения с близкими, и дерьмовая работа, и отсутствие денег. Кэрролл уже забыл, когда ему в последний раз приходилось читать о насущном хлебе ежедневного бытия. Подавляющее большинство «ужастиков» слепо из кровавого месива, остальное за ненужностью отбрасывается.

Кэрролл вдруг понял, что ходит по кабинету из угла в угол, слишком взволнованный, чтобы сидеть, и сжимает в руке «Северное обозрение». Случайно его взгляд упал на зеркало над диваном: отражение непристойно ухмылялось, как будто только что услышало грязную шутку.

В одиннадцать лет Кэрролл впервые посмотрел фильм «В плену у призрака».⁶ Он пошел в кино со своими двоюродными братьями, но, как только в зале погас свет и спутников поглотила тьма, юный Эдди остался совершенно один, запертый в темном и душном шкафу теней. Порой ему требовалось огромное усилие воли, чтобы не закрыть глаза, и все же каждую клетку его тела сотрясала дрожь наслаждения. Когда свет зажегся снова, нервные окончания мальчика гудели, словно он подержался за медный провод под напряжением. Такое ощущение постепенно превратилось для него в потребность.

Позднее, когда он стал профессионалом в области литературных страхов, это чувство притупилось — не исчезло, но ощущалось будто издавека, как воспоминание об эмоции, а не сама эмоция. В последнее время стерлась даже память о ней, а при взгляде на стопку журналов на кофейном столике возникала омертвляющая амнезия, немое отсутствие

1 Джойс Кэрол Оутс (1938) — американская писательница, автор социально-психологических рассказов и романов об актуальных проблемах Америки.

2 Грендель — главный герой одноименного романа Джона Гарднера (1933–1982), американского писателя и литературоведа.

3 Эзра Лумис Паунд (1885–1972) — поэт, основоположник и главный теоретик американского модернизма.

4 Джон Карпентер (1948) — американский кинорежиссер и сценарист, композитор, продюсер. Снимает фильмы ужасов и фантастические фильмы.

5 Джон Апдайк (1932) — американский писатель, автор социально-психологических произведений.

6 «В плену у призрака» (1963) — фильм американского режиссера Роберта Вайза.

интереса. Или нет — его охватывал ужас, но ужас совсем другого рода.

Однако чувство, которое он испытывал сейчас, вынырнув из чудовищных перипетий «Пуговичного мальчика» и меряя кабинет шагами... это было оно — то самое ощущение. Оно затронуло сокровенные струны его души и оставило после себя томительную вибрацию. Кэрролл долго не мог успокоиться, так он отвык от этого восхитительного состояния. Он захотел вспомнить, давно ли ему доводилось находить для своего альманаха рассказ, производивший столь же сильное впечатление, как «Пуговичный мальчик». Было ли такое вообще? Он подошел к стеллажу и достал первый выпуск «Лучших новых ужасов» (по-прежнему его любимый том). Интересно, что нравилось ему тогда? Однако в поисках содержания он наткнулся на страницу с посвящением, адресованным Элизабет, его тогдашней жене. «Той, что помогает мне не сбиться с пути», — написал он в приступе головокружительной страсти. Сейчас при виде этих слов по коже побежали мурашки.

Элизабет ушла от него после того, как он узнал, что она на протяжении года спала с их консультантом по инвестициям. Она переехала к матери и забрала с собой Трэйси.

— В каком-то смысле я даже рада, что ты застукал нас, — сказала она через несколько недель после развода. — С этим давно пора было покончить.

— С чем — с твоим романом? — спросил он, думая, что она сообщает о своем разрыве с любовником.

— Нет, — ответила Лиззи. — С твоими ужасами и с ужасными людьми, что к тебе постоянно приходят. Мерзкие потные уроды, у них встает только при виде трупов. Наконец-то они исчезли из моей жизни. Наконец-то я могу жить среди обычных здоровых людей. И у Трэйси будет нормальное детство.

Мало того что она трахалась направо и налево — она еще и упрекала его за Трэйси. От ненависти у Кэрролла перехватило дыхание, хотя прошло уже столько лет. Он швырнул книгу обратно на полку и поплелся на кухню чего-нибудь поесть. Беспокойного возбуждения как не бывало. Хорошо, что ему не пришлось придумывать, как бороться с бесполезной энергией, отвлекающей его от дел. Старушка Лиззи все еще помогает ему, даже с расстояния в сорок миль и из постели другого мужчины.

В тот же день он послал Гарольду Нунану письмо по электронной почте, спрашивая, как можно связаться с Кубрю. Ответ пришел почти сразу же. Нунан явно был очень доволен тем, что Кэрролл заинтересовался «Пуговичным мальчиком». Электронного адреса Питера Кубрю у него не было, зато был обычный адрес и номер телефона.

Однако письмо, посланное Кэрроллом по этому адресу, вернулось обратно со штампом «Адресат выбыл», а когда он позвонил Питеру по телефону, то слышал только повторяющееся: «Данный номер отключен». Тогда Кэрролл набрал номер Гарольда Нунана.

— Не могу сказать, что сильно удивлен, — быстро и чуть заикаясь от смущения заговорил Нунан. — У меня сложилось впечатление, что Питер склонен к частой перемене мест. Думаю, он подрабатывает то здесь, то там, чтобы хватало на оплату счетов. Могу посоветовать обратиться к Мортону Войду из отдела кадров университетской технической службы. Там наверняка должна быть какая-то информация о Кубрю.

— А когда вы видели его в последний раз?

— Заходил к нему весной, кажется, в марте. Я случайно проезжал мимо его квартиры. Как раз вышел номер с «Пуговичным мальчиком» и поднялся весь этот шум. Говорили, что рассказ — гимн женоненавистничеству, что издателю и автору необходимо публично извиниться, и прочую чушь. Я хотел поговорить с ним о том, что происходит. Наверное, в душе я надеялся, что он захочет как-то ответить, написать в студенческой газете статью в защиту своего произведения или... или что-нибудь еще. Но он не стал ничего предпринимать. Сказал, что такой поступок станет проявлением слабости. А вообще, это был весьма странный визит. Он очень необычный человек. У него не только истории странные. Он и сам такой.

— Что вы имеете в виду?

Нунан засмеялся.

— Даже не знаю. Что я имею в виду? Знаете, как бывает, когда у человека высокая температура, и он взглянет на самый обыкновенный предмет, например на настольную лампу у кровати, и она покажется ему чем-то диким? Или ему привидится, будто она тает или вот-вот исчезнет. Мои встречи с Питером Кубрю были именно такими. Не знаю почему.

Кэрролл пока не имел возможности сказать Кубрю и двух слов, но этот необычный человек ему уже понравился.

— Все равно не понимаю. Объясните, — попросил он.

— Когда я позвонил в дверь, открыл мне его старший брат. Полураздетый. Должно быть, он гостил у Питера. И этот парень был — не считите меня бестактным, но иначе не скажешь — неприятно толстый. Весь покрытый татуировками. Неприятными татуировками. На животе — мельница, увешанная трупами. На спине — эмбрион с... с вымаранными черными глазами. На одном из кулаков скальпель. И клыки.

Кэрролл рассмеялся, хотя ничего смешного в том, что он услышал, не было. Нунан продолжал:

— Но сам он неплохой парень, дружелюбный такой. Провел меня в гостиную, принес банку содовой, мы все уселись на диван перед телевизором. И — мне это показалось удивительным — пока мы разговаривали и я информировал их о том, как восприняли рассказ Питера читатели, старший брат сидел на полу, а Питер прокалывал ему уши.

— Питер что?..

— Вот именно. Прямо посреди разговора он втыкает раскаленную иглу в ушную раковину брата. Крови было море. Когда толстяк поднялся, он выглядел так, будто ему прострелили голову. Кровь текла ручьем, словно он искупался в кровавой ванне. А потом он спросил, не хочу ли я еще колы.

На этот раз они оба засмеялись и потом недолго помолчали.

— И еще: по телевизору они смотрели фильм про Джонстаун,¹ — внезапно сказал Нунан. Даже не сказал, а выпалил.

— Что?

— Смотрели на видео. С выключенным звуком. Все время, пока мы говорили, а Питер делал брату пирсинг. Наверное, это стало последней странной деталью, сделавшей для меня происходящее абсолютно нереальным. Съемки мертвых тел во Французской Гайане. После того, как люди выпили отравленного лимонаду. Улицы, заваленные трупами, и все эти птицы, которые... клюют их. — Нунан сглотнул. — По-моему, магнитофон у них стоял на повторе — мне показалось, что одни и те же кадры я видел дважды. А они смотрели как... как в трансе.

И снова они помолчали. Для Нунана эта пауза была неловкой.

— Вы согласны, что рассказ Кубрю — весьма неординарное произведение? — заговорил он.

— Согласен.

— Не знаю, как Питер отнесется к тому, что вы хотите напечатать его, но лично я в восторге. Надеюсь, не напугал вас лишними подробностями...

Кэрролл улыбнулся:

— Меня нелегко напугать.

Бойд из отдела кадров не мог точно сказать, где сейчас находится Питер Кубрю.

— Он сказал, что его брат получил какую-то муниципальную работу в Пекипси. В Пекипси или Ньюбурге. И обещал пристроить там Питера. Город платит хорошо, а главное — если ты туда попал, тебя уже не уволят, даже если ты маньяк-убийца.

Упоминание о Пекипси заинтересовало Кэрролла. В конце месяца там намечался небольшой конвент любителей фэнтези — «Темная тайна», или «Темные мечты», или что-то в этом роде. Уж назвали бы «Темная мастурбация». Кэрролла приглашали участвовать, но он

¹ Джонстаун — община примерно из тысячи человек, созданная в джунглях Гайаны Джимом Джонсом, лидером созданного им культа «Народный храм». В 1978 году он заставил всех членов общины совершить коллективное самоубийство, выпив яд. В США впоследствии был снят фильм об этой трагедии.

не отвечал на письма организаторов. Его больше не прельщали подобные мелкие сборища, да и время проведения было неудобным — как раз перед сдачей номера в печать.

Кэрролл ежегодно ездил на церемонию вручения Всемирной премии фэнтези и на несколько других представительных мероприятий. Конвенты представляли собой ту часть его работы, которая еще не вызывала отвращения: там Кэрролл встречался с друзьями. В глубине души он все еще любил ужастики, и конвенты порой будили в нем приятные воспоминания.

Например, на одном из таких сборищ он наткнулся на первое издание «Я люблю Гейлсбург в весеннее время».¹ Много лет он не видел и не вспоминал про «Гейлсбург», но стоило перевернуть несколько коричневых хрупких страниц, восхитительно пахнущих пылью и чердаком, как на Кэрролла головокружительным потоком обрушились воспоминания. Впервые он прочитал эти рассказы в тринадцать лет, а потом две недели не мог прийти в себя. Читал он на крыше, куда залезал через окно своей комнаты: только там он не слышал непрерывных ссор родителей. Он вспомнил шершавую на ощупь кровельную плитку — раскалившись на солнце, она источала запах резины; вспомнил далекое жужжание газонокосилки; а главное — вспомнил ту блаженную зачарованность, с какой читал о невозможном десятицентовике с Вудро Вильсоном.²

Кэрролл позвонил в муниципальную службу Пекипси, и его соединили с отделом кадров.

— Кубрю? Арнольд Кубрю? Его уволили шесть месяцев назад, — сообщил мужчина с высоким сиплым голосом — Вы знаете, как трудно вылететь с муниципальной работы? Я про такое давненько не слышал. Кубрю скрывал свое уголовное прошлое.

— Нет, меня интересует не Арнольд, а Питер Кубрю. Арнольд, наверное, его брат. Он такой толстый, весь в татуировках?

— Ничего подобного. Худой. Жилистый. Однорукий. Сказал, что левую руку ему оторвало прессом.

— Да? — неуверенно протянул Кэрролл, чувствуя, что этот странный Арнольд вполне мог быть родственником Питера. — А что за проблемы у него возникли?

— Он нарушил запретительный приказ.

— О! — воскликнул Кэрролл. — Супружеские разногласия?

Он сочувствовал всем мужчинам, пострадавшим от рук адвокатов бывших жен.

— Если бы, — ответил сиплый кадровик. — Ему запретили приближаться к собственной матери. Как вам такое, а?

— А вы не знаете, не родственник ли он Питеру Кубрю и как мне с ним связаться?

— Приятель, я ему не нянька. Все, вопросов больше нет?

Вопросов больше не было.

Кэрролл дозвонился до справочной, разузнал телефоны всех Кубрю в Пекипси и близлежащих районах, но никто из тех, с кем он сумел поговорить, не признался в родственных отношениях с Питером. В конце концов Кэрролл сдался. В раздражении он стал прибираться в кабинете, без разбора бросая в урну бумаги и переставляя стопки книг с одного места на другое. У него кончились идеи. Кончилось терпение.

Ближе к вечеру он прилег на диван, чтобы подумать, и провалился в беспокойную дремоту. Даже во сне Кэрролл продолжал сердиться: он преследовал в пустом темном кинозале маленького мальчика, укравшего у него ключи от машины. Мальчик был черно-белым и мелькал, как призрак или персонаж старого фильма Непослушное дитя ужасно веселилось, потряхивая ключами и заливаясь истерическим смехом. Кэрролл бросился за ним и проснулся. Виски горели лихорадочным жаром, в мозгу билось слово «Пекипси».

1 Я люблю Гейлсбург весной» (1963) — сборник рассказов американского писателя-фантаста Уолтера Брейдена Финнея (1911–1995). Публиковался под псевдонимом Джек Финней.

2 Имеется в виду роман Джека Финнея «Десятицентовик с Вудро Вильсоном».

Питер Кубрю жил именно в той части штата Нью-Йорк, а значит, в субботу он обязательно будет на конвенте, как же он называется... «Темное будущее», кажется. Пропустить такое событие он наверняка не захочет. Или, по крайней мере, среди участников конвента найдется кто-нибудь, кто слышал о Питере и подскажет Кэрроллу, как его найти. Значит, надо ехать в Пекипси.

Ночевать в Пекипси Кэрролл не собирался — езды туда не больше четырех часов, можно обернуться за один день. В шесть утра он уже мчался по левой полосе трассы I-90 со скоростью восемьдесят миль в час. У него за спиной поднималось солнце, заливая слепящим сиянием зеркало заднего вида. Хорошо было вжимать педаль газа в пол и чувствовать, как машина летит на запад, преследуя длинную тонкую линию собственной тени. Потом Кэрролл вспомнил, что его девочки нет рядом, и нога сразу отпустила педаль, а восторг от поездки улетучился.

Трэйси обожала конвенты, как и все дети. Только там они видят, как взрослые валяют дурака, наряжаясь в костюмы Эльвиры или Пинхеда. А какой ребенок устоит перед постоянным атрибутом конвентов — импровизированным рынком с вереницей жутких столиков и стендов, где за один доллар можно купить отрезанную руку из резины? Однажды на Всемирном конвенте фэнтези в Вашингтоне Трэйси целый час играла в пинбол с Нилом Гейманом.¹ Они, кажется, до сих пор переписываются.

Еще до полудня Кэрролл нашел местный выставочный центр, где проводился конвент, и явился туда. В концертном зале раскинулись торговые ряды. В помещении яблоку некуда было упасть, громкий смех и перекрывающие друг друга возгласы эхом отражались от бетонных стен, сплетаясь в ровный гулкий шум. Он не предупредил, что приедет, но это не имело значения. Одна из организаторов — коренастая женщина с рыжими кудряшками, одетая в темный костюм, — сразу узнала его.

— Мы и понятия не имели... — воскликнула она. И тут же: — Вы не отвечали на наши письма! — И тут же: — Могу я предложить вам что-нибудь выпить?

С ромом и кока-колой в руке, в тесном кольце любопытствующих, поддерживая разговор о последних фильмах, писателях и «Лучших новых ужасах», Кэрролл недоумевал: и почему он не хотел ехать сюда? Выяснилось, что не пришел один из ораторов, собиравшийся сказать несколько слов о состоянии современного рассказа в жанре ужасов. Как было бы удачно, сказали Кэрроллу, если бы вы... Да, согласился Кэрролл.

Его провели в конференц-зал, где напротив длинного стола с кувшином воды выстроились ряды складных стульев. Он сел за стол вместе с другими ораторами: учителем, написавшим книгу о По, редактором сетевого журнала, посвященного ужасам, и местным сочинителем детских фэнтези. Рыжеволосая дама представила их двум-трем десяткам слушателей, расположившихся на стульях, а потом все приглашенные ораторы получили возможность выступить. Кэрролл говорил последним.

Начал он с того, что любое художественное произведение является плодом фантазии, и когда автор добавляет в сюжет угрозу или конфликт, тем самым создаются предпосылки для ужаса. Его самого, говорил Кэрролл, этот жанр привлекает тем, что здесь присутствует большинство главных компонентов литературы, причем возведенных в крайнюю степень. Ведь вся художественная литература строится по принципу «верю — не верю», и в этом свете фантастика выглядит более весомо (и честно), чем реализм.

Он говорил, что большинство ужасов или фэнтези никуда не годятся: это пустые, творчески несостоятельные подражания тому, что и изначально было дерьмом. Он говорил, что месяцами читает их и не встречает ни одной свежей мысли, ни одного запоминающегося персонажа, ни одной оригинальной фразы.

Затем он сказал, что так было всегда. Вероятно, в любом начинании — не обязательно творческом — редкие удачи появляются лишь после множества неудачных попыток. Каждый может попробовать себя в этом деле, не преуспеть, сделать выводы из своих ошибок и

¹ Нил Гейман (1960) — английский писатель.

попробовать снова. Чтобы получить грамм золота, порой надо намыть горы песка. Он говорил о Клайве Баркере,¹ о Келли Линк² и о Стивене Галлахере,³ и он рассказал им о «Пуговичном мальчике». Для него, закончил он, ничто не сравнится с восторгом от встречи с чем-то поистине волнующим и пробирающим до мозга костей, и он всегда будет любить эту сладкую дрожь ужаса. Произнеся это вслух, Кэрролл понял, что говорит истинную правду.

Когда он замолчал, в заднем ряду захлопали. Редкие хлопки подхватили остальные ряды, вскоре аплодисменты волной захлестнули зал, и публика встала.

По окончании заседания Кэрролл вышел из-за стола, чтобы поздороваться со знакомыми. Ему было жарко, он вспотел. Между рукопожатиями он снял очки и вытер пот подолом рубашки. В этот момент у него в ладони оказались чьи-то тонкие пальцы. Перед ним стояла невысокая фигура какого-то человека. Вернув очки на нос, Кэрролл обнаружил, что трясет руку не самому приятному из своих знакомых — худощавому коротышке с кривыми и темными от табака зубами и такими тонкими и аккуратными усиками, что они казались нарисованными.

Его звали Мэтью Грэм, он редактировал одиозный фэнзин «Гнилые фантазии». Ходили слухи, что Грэма обвиняли в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней приемной дочери, хотя до суда дело вроде бы так и не дошло. Кэрролл старался не распространять свое отношение к Грэму на авторов, которых тот печатал, однако до сих пор не встречал в «Гнилых фантазиях» ничего достойного публикации в «Лучших новых ужасах». Грэм отдавал предпочтение историям о наркоманах, которые работают смотрителями в моргах и занимаются сексом с трупами, и слабоумных девицах, которые едут в Индию, чтобы на древних могильниках разродиться демонами. Рассказы пестрели опечатками и грубыми грамматическими ошибками.

— Питер Кубрю — это что-то! — воскликнул Грэм — Его первый рассказ вышел у меня. Ты разве не читал? А я посылал тебе экземпляр.

— Должно быть, пропустил, — ответил Кэрролл. Он не утруждал себя чтением «Гнилых фантазий» уже больше года, хотя один из последних номеров пригодился в качестве подстилки для его кошки.

— Он тебе понравится, — продолжал Грэм, снова обнажив в улыбке редкие зубы. — Он наш человек.

Кэрролла передернуло, хотя он постарался скрыть это.

— Ты видел его сегодня?

— Видел? Да я обедал с ним сегодня. Мы даже выпили. Он был здесь с утра. Вы разминулись. — Грэм растянул губы в широкой ухмылке. Изо рта у него пахло. — Если надо, могу дать тебе адрес. Он живет тут неподалеку.

За поздним обедом Кэрролл прочитал первый рассказ Питера Кубрю (Мэтью Грэм сумел раздобыть тот номер «Гнилых фантазий»). Рассказ назывался «Свинки», и героиней его была психически неуравновешенная женщина, однажды родившая целый помет поросят. Свинки учатся говорить, ходить на задних ногах и носить одежду — что-то в духе «Скотного двора».⁴ Однако в итоге они возвращаются к дикости и разрывают свою мать на части. Рассказ заканчивается сценой смертельной схватки между поросятами за самые вкусные кусочки трупа.

Это было жесткое, злое произведение. Тщательно выписанное, психологически точное, оно несомненно намного превосходило все, что когда-либо появлялось на страницах «Фантазий». Но Кэрроллу рассказ не понравился. Эпизод, где поросята борются за право первыми пососать грудь матери, читался как гротескная порнография.

1 Клайв Баркер (1952) — английский писатель, один из ведущих мастеров, работающих в жанре литературы ужасов.

2 Келли Линк (1969) — американская писательница, в чьих произведениях сливаются научная фантастика, фэнтези, ужасы, мистика и реализм.

3 Стивен Галлахер (1954) — английский писатель, один из авторов сериала «Доктор Кто».

4 «Скотный двор» — сатирическое произведение английского писателя Джорджа Оруэлла (1903–1950).

Грэм вложил между страниц журнала листок бумаги. На нем он набросал схему проезда к дому Питера Кубрю — в двадцати милях на север от Пекипси, в городке под названием Пайклиф. Кэрроллу это было почти по дороге: ведущее в Пайклиф живописное шоссе Таконик дальше выходило на трассу I-90. Телефонного номера к адресу не прилагалось. Грэм пояснил, что у Кубрю проблемы с деньгами и его телефон отключили.

Когда Кэрролл выехал на шоссе, уже начало темнеть. Под мощными дубами и высокими елями, тесно обступившими шоссе, сгущались тени. Не было ни попутных, ни встречных машин. Кэрролл оказался в одиночестве на пустынном шоссе, которое взбиралось все выше и выше в холмы, все глубже в лес. Несколько раз свет фар выхватывал семейство лосей. Они стояли у обочины и провожали машину взглядами, в которых смешались страх и звериное любопытство. В темноте их глаза казались розовыми.

Кэрролл въехал в Пайклиф — универсам, церковь, кладбище, заправка, единственный светофор, мигающий желтым. И вот уже городок остался позади, узкая полоска асфальта углубилась в сосновый бор. Стало совсем темно и похолодало, так что Кэрроллу пришлось включить печку. Он свернул по указателю на Тархил-роуд, и ею «сивик», натужно гудя, на пониженной передаче преодолел пару крутых подъемов. Кэрролл на миг прикрыл глаза и чуть не пропустил поворот. Он еле успел вывернуть руль, долей секунды отделенный от падения через кусты в черноту, вниз по склону.

Через полмили асфальт сменился гравием, и позади автомобиля образовалось люминесцентное облако меловой пыли из-под колес. Свет фар упал на толстого парня в ярко-оранжевой вязаной шапочке, достававшего из почтового ящика корреспонденцию. На ящике высветились несколько букв из блестящего пластика: «УБ Ю». Кэрролл притормозил.

Прикрываясь от света фар ладонью, толстяк взгляделся в сидящего за рулем Кэрролла. Потом он ухмыльнулся, мотнул головой в направлении дома — неожиданно гостеприимный жест, словно Кэрролла ждали. Парень зашагал по подъездной дорожке, Кэрролл покатил следом. С обеих сторон к узкой грунтовке подступали туи, царапали ветками лобовое стекло «сивика» и скребли по его бортам.

Дорога вывела их на пыльный двор перед большой желтой фермой с башенкой и просевшей верандой. Одно из окон было разбито и заколочено листом фанеры. В зарослях травы валялся ночной горшок. При виде этого дома у Кэрролла неприятно засосало под ложечкой: какое-то заброшенное жилище на опустошенной страшным вирусом земле, совсем как в фильме ужасов. Он попытался обуздать некстати разыгравшееся воображение и припарковал автомобиль возле древнего трактора, сквозь растерзанные внутренности которого пробивались высокие стебли дикой кукурузы.

Сунув ключи от машины в карман пальто, Кэрролл пошел к крыльцу, где его поджидал толстяк. Ему пришлось пройти мимо ярко освещенного гаража. Из-за плотно закрытых дверей доносился визг ленточной пилы. Кэрролл перевел взгляд на дом: в окне второго этажа горел свет, и на желтом фоне угрожающе чернел неподвижный силуэт человека.

Эдди Кэрролл сказал, что разыскивает Питера Кубрю. Толстый мужчина кивнул головой, приглашая гостя в дом (так же гостеприимно, как он позвал Кэрролла ехать к дому), и распахнул перед ним дверь.

В прихожей было сумрачно. На стенах вкривь и вкось висели пустые рамы. Узкая лестница вела во мрак второго этажа. В воздухе стоял странный запах, влажный и явно мужской... смесь пота и теста для блинов. Кэрролл быстро понял, что это за запах, и так же быстро решил притвориться, будто ничего не заметил.

— Сколько же дерьма у нас в прихожей, — сказал толстяк — Дайте-ка мне ваше пальто. — У него был бодрый, немного визгливый голос. Когда Кэрролл вручил ему пальто, он повернулся к лестнице и без всякого предупреждения заорал как резаный: — Пит! К тебе пришли!

Столь неожиданный переход от вежливого разговора к дикому крику потряс Кэрролла.

Над головами у них заскрипели половицы, и через несколько мгновений на верхней площадке появился худой мужчина в вельветовой куртке и в прямоугольных очках с оправой

из черного пластика

— Чем могу быть полезен? — спросил он.

— Меня зовут Эдвард Кэрролл, я редактор ежегодного альманаха «Лучшие новые ужасы Америки». — Он подождал какой-то реакции со стороны худого человека, но лицо Кубрю сохраняло бесстрастное выражение. — Я прочитал ваш рассказ, напечатанный в «Северном обозрении», — «Пуговичный мальчик». Мне он очень понравился. Я надеюсь, что смогу включить его в ближайший номер альманаха. — Помолчав секунду, Кэрролл добавил: — Найти вас было непросто.

— Поднимайтесь, — сказал Кубрю, сделал шаг в сторону и скрылся в темноте.

Кэрролл двинулся по лестнице вверх. Толстый брат Питера тем временем направился куда-то, неся в одной руке пальто Кэрролла, в другой — свежую почту. Вдруг он остановился и, выхватив какой-то конверт, оглянулся на площадку второго этажа.

— Эй, Пит! Мамина страховка пришла! — Его голос радостно подрагивал.

Когда Кэрролл достиг верхней ступени, Питер Кубрю уже шел по коридору к распахнутой двери в глубине. Коридор был весь какой-то кривой. Пол под ногами прогибался, и один раз Кэрроллу пришлось даже схватиться за стену, чтобы не упасть. Некоторых половиц не хватало. Над лестничным пролетом висел старинный канделябр со стеклянными подвесками, мохнатыми от пыли и паутины. В дальнем закоулке мозга Кэрролла горбун заиграл на металлофоне музыку из фильма «Семейка Адамсов».

Кубрю обитал в крохотной комнатке, втиснутой под скат крыши. У одной стены приткнулся картонный столик с потрескавшейся деревянной столешницей. На нем стояла древняя электрическая пишущая машинка с листом бумаги, заправленным в валик.

— Вы работали? — спросил Кэрролл.

— Не могу остановиться, — ответил Кубрю.

— Хорошо.

Кубрю присел на край койки. Кэрролл сделал шаг внутрь комнаты и остановился: чтобы идти дальше, ему пришлось бы нагибаться. У Питера Кубрю были почти бесцветные глаза и красные, будто воспаленные, веки. Не мигая, он смотрел на Кэрролла.

Кэрролл рассказал ему о своем издании. Потом он сказал, что может заплатить Питеру двести долларов и процент от общих с другими авторами роялти. Кубрю кивнул, не выказав ни удивления, ни любопытства. Высоким сиплым голосом он коротко поблагодарил Кэрролла.

— Что вы думаете о концовке? — спросил он вдруг.

— В «Пуговичном мальчике»? Мне понравилось. Очень. Иначе я не захотел бы печатать рассказ в альманахе.

— А вот Катадинский университет она не устроила. Эти редакторши с короткими юбками и богатыми папочками возненавидели мой рассказ, а особенно — финал.

Кэрролл кивнул:

— Потому что они не ожидали его. Вероятно, он их шокировал, а шок сейчас не в моде.

Кубрю сказал:

— Сначала у меня было другое окончание. Там великан душил ее, и, когда она уже теряла сознание, она чувствовала, что второй похититель пришивает пуговицу к ее дырке. Но мне не хватило духу, и я его уничтожил. Подумал, что Нунан не возьмет рассказ с таким финалом.

— В нашем жанре сила произведения зачастую заключается именно в том, что осталось несказанным, — сказал Кэрролл лишь для того, чтобы что-то сказать. Он почувствовал на лбу прохладную щекотку пота. — Наверное, я схожу в машину за бланком договора.

Он не знал, зачем произнес это. Никаких бланков в машине не было. Его буквально толкало к выходу внезапное острое желание вдохнуть холодного свежего воздуха.

Кэрролл вынырнул из комнаты обратно в коридор. Только усилием воли он заставил себя не перейти на бег. Спустившись с лестницы, он замешкался в прихожей, гадая, куда толстый брат Питера подевал его пальто, и рискнул отправиться на поиски. Он двинулся

вперед по коридору. Чем дальше он шел, тем становилось темнее.

Первой ему попала маленькая дверка с медной ручкой. Он нажал на ручку, но дверь не поддавалась. Кэрролл пошел дальше, ища гардероб или стенной шкаф. Где-то неподалеку шипел на раскаленной сковороде жир, стучал по деревянной доске нож. Пахло жареным луком. Он толкнул дверь справа от себя и оказался в гостиной. Со стен на него смотрели головы животных. Тусклый луч света вытянутым прямоугольником падал через обеденный стол. На столе лежала скатерть красного цвета с большой свастикой по центру.

Кэрролл закрыл эту дверь. Следующая с левой стороны была распахнута и вела в кухню. Скрытый до пояса кухонным столом, там стоял толстяк с голым торсом, покрытым татуировками. Мясницким ножом он резал что-то похожее на печень. В его соски были вдеты железные кольца. Кэрролл хотел окликнуть его. Но в тот же миг толстый Кубрю вышел из-за стола и направился к газовой плите, чтобы помешать что-то в кастрюле, и Кэрролл увидел, что парень одет лишь в узкие плавки. Белые ягодицы, удивительно маленькие для его толстого тела, подрагивали при каждом шаге. Кэрролл быстро скользнул обратно в полумрак коридора и пошел дальше, стараясь ступать как можно тише.

Коридор первого этажа казался еще более кривым, чем на втором этаже. Как будто дом перекошило в результате некоего сейсмического явления, и в нем не осталось ни одной ровной стены и поверхности. Кэрролл не знал, почему он не повернул обратно — ведь смысла бродить по этому странному дому не было. Тем не менее ноги сами несли его вперед.

Почти в самом конце коридора обнаружилась еще одна дверь. Кэрролл заглянул в нее и сморщился от ужасной вони. В воздухе деловито жужжали мухи, и Кэрролла окутало неприятное человеческое тепло. Это была самая темная комната из всех, похоже — спальня для гостей. Он уже собирался закрыть дверь, как вдруг заметил, что в изножье кровати что-то шевельнулось. Прикрыв ладонью рот и нос, Кэрролл заставил себя сделать шаг вперед. Через несколько секунд его глаза привыкли к темноте.

На кровати лежала истощенная старая женщина. Одежда сбилась, открывая взору верхнюю половину нагого тела. Кэрроллу сначала показалось, будто женщина потягивается, закинув тощие, как у скелета, руки за голову.

— Извините, — пробормотал он и отвел глаза в сторону. — Извините.

Второй раз он стал закрывать дверь, потом замер, что-то вспомнил и снова заглянул в комнату. Старуха опять шевельнулась. Ее руки по-прежнему были закинута за голову.

Кэрролла заставил вернуться запах — ужасный смрад гниющего человеческого тела, исходивший от нее. Внимательнее приглядевшись, он понял, что запястья женщины привязаны проволокой к спинке кровати. Глаза заплыли, изо рта вырывается еле слышный хрип. Под сморщенными мешочками грудей выпирают ребра. Над телом кружат мухи. Старуха высунула язык, провела им по сухим губам. Она молчала.

В следующий миг Кэрролл уже быстро шел по коридору — так быстро, насколько позволяли внезапно онемевшие ноги. Когда он проходил мимо кухни, ему показалось, что толстый брат Кубрю увидел его и окликнул, но он не стал останавливаться, даже не замедлил шаг. Краем глаза Кэрролл заметил, что наверху лестницы стоит Питер Кубрю и смотрит на него, вопросительно наклонив голову.

— Сейчас вернусь, только возьму договор, — крикнул на ходу Кэрролл.

Голос его был удивительно спокоен.

Он толкнул входную дверь, выскочил на улицу. С крыльца он спустился осторожно, внимательно глядя под ноги. Когда за тобой гонятся, ни в коем случае нельзя перепрыгивать через ступеньки — так можно запросто подвернуть ногу. Сотни раз он видел это в фильмах ужасов. Морозный воздух обжег его легкие холодом.

Теперь двери гаража были приоткрыты. Пробегаючи мимо, Кэрролл успел заглянуть внутрь. Он увидел земляной пол, ржавые цепи и крючья, свисающие с балок, бензопилу на полке. В центре стоял какой-то станок, за ним работал высокий угловатый человек с одной рукой. Вместо второй руки у него был некрасиво зарубцевавшийся бледный обрубок, матово поблескивавший в свете лампы. Человек молча поднял на Кэрролла бесцветные глаза

Оценивающий недружелюбный взгляд погнал Кэрролла дальше. Он успел лишь кивнуть и попытаться изобразить улыбку.

Наконец он открыл дверь своего «сивика» и уселся за руль... и тут его грудь пронзило иглой паники. Ключи лежали в кармане пальто. Пальто осталось в доме. Он чуть не закричал от отчаяния, но вместо крика с губ сорвался испуганный полувсхлип-полусмех. И это он видел в сотнях фильмов, читал в трехстах рассказах. Там тоже или не было ключей, или не заводился двигатель, или...

В дверях гаража возник однорукий брат и через двор уставился на Кэрролла. Кэрролл помахал ему рукой. Второй рукой он отключал от зарядного устройства свой мобильный телефон. Улучив момент, он глянул на дисплей телефона. Ну конечно. Связи в этой глуши не было. Кэрролл не удивился. Он еще раз засмеялся — если можно назвать смехом сдавленный нервный клекот.

Когда он снова поднял глаза, то увидел: на крыльце фермы стоят два других брата и смотрят на него. Теперь на него уставились все трое Кубрю. Он выкарабкался из машины и быстро зашагал по подъездной дорожке прочь от дома. Побежал он только тогда, когда один из Кубрю что-то крикнул ему вслед.

Выбравшись на дорогу, Кэрролл не свернул на нее, а пошел напролом через кусты, растущие вдоль обочины, прямо в лес. Тонкие хлысты ветвей били его по лицу. Он споткнулся и упал, порвал брючину, поднялся, пошел дальше.

Ночь стояла ясная, безоблачная, безгранично глубокое небо заполнили звезды. Кэрролл остановился на крутом склоне и скорчился за большим валуном, пытаясь отдышаться и успокоить резь в боку. Выше по холму слышались голоса затрещали ветки. Потом кто-то дернул стартер небольшого механизма — один раз, другой, и тишину затопил вой и рев бензопилы.

Он поднялся и побежал, понесся с холма вниз, полетел сквозь еловые лапы, перепрыгивая через камни и корни, даже не видя их. Склон становился все круче, и вскоре Кэрролл не столько бежал, сколько падал. Он двигался слишком быстро и знал: теперь он остановится, только когда врежется во что-нибудь, и это будет сопровождаться ужасной болью.

Продолжая этот сумасшедший бег, непрестанно набирая скорость, с каждым шагом пролетая ярды и ярды темноты, Кэрролл ощутил мощный прилив эмоций. Это чувство можно было бы назвать паникой, но одновременно оно очень напоминало восторг. Кэрроллу казалось, что его ноги вот-вот оторвутся от земли и никогда больше не ступят на нее. Он знал этот лес, эту тьму, эту ночь. Он знал свои шансы: почти нулевые. Он знал то, что гонится за ним. Оно гналось за ним всю жизнь. Он знал, где находится — в рассказе, что приближается к концу. Он лучше других знал, чем заканчиваются подобные истории, и если кто-то и способен выбраться из леса, то только он сам.

ПРИЗРАК ДВАДЦАТОГО ВЕКА

Чаще всего ее видят, когда зрительный зал практически полон.

Есть история о человеке, который пришел на последний сеанс и обнаружил, что публики вокруг почти нет. Где-то посреди фильма он заметил: она сидит рядом с ним, хотя секунду назад кресло было свободно. Он посмотрел на нее. Она повернула голову и тоже взглянула на него. Из носа у нее текла кровь. Глаза большие, испуганные.

— У меня болит голова, — прошептала она. — Я выйду на минутку. Вы расскажете мне, что я пропущу?

И в этот момент человек осознал, что она бесплотна, как подвижный синий луч света, испускаемый кинопроектором.

Другая история о том, как в четверг вечером в «Роузбад» забрела компания молодых людей. Один из них сел рядом с одинокой женщиной, одетой в синее. Перед сеансом молодой человек решил завести разговор.

— Не знаете, что будут показывать завтра? — спросил он ее.

— Завтра в кинотеатре будет темно, — отвечает она. — Это последний сеанс.

Начался фильм, и она исчезла. А по дороге домой молодой человек попал в автокатастрофу и погиб.

Эти и многие другие легенды о «Роузбаде» — неправда... Такие сказки о привидениях придумывают люди, посмотревшие слишком много фильмов ужасов. Они уверены, что знают, какой должна быть настоящая история о призраках.

Алек Шелдон, одним из первых видевший Имоджен Гилкрист, владеет кинотеатром «Роузбад» и в свои семьдесят три нередко сам стоит за кинопроектором. После нескольких минут разговора с человеком Алек может точно определить, видел ее этот человек или нет. Но то, что он знает, он держит при себе и никогда никого публично не опровергает... Это повредило бы бизнесу.

Тем не менее Алек знает: если кто-то утверждает, будто она прозрачна, то на самом деле он ее не видел. Люди придумывают, что у нее из носа, ушей, глаз кровь лилась ручьем; что она умоляюще смотрела на них, просила их позвать кого-нибудь, просила помочь ей. Но она вовсе не истекает кровью, и если заговаривает с кем-то, то не для того, чтобы попросить позвать врача. Большинство выдумщиков начинают свои рассказы словами: «Вы не поверите, но я сейчас видел ее». Так и есть — Алек не верит им, хотя выслушает их с терпеливой, даже подбадривающей улыбкой.

Те, кто действительно встретил ее, не бросаются искать Алека, чтобы поделиться с ним. Обычно он сам их находит, когда они потерянно бродят на ослабевших ногах по пустому фойе кинотеатра. Они перенесли шок, они неважно себя чувствуют. Им хочется присесть. Они никогда не скажут: «Вы не поверите, что я сейчас видел». Событие еще слишком свежо в их памяти. Мысли о том, поверят им или нет, придут гораздо позднее. Зачастую они подавлены и безропотны. Когда Алек думает о том впечатлении, которое она производит на собеседников, он обычно вспоминает Стивена Гринберга, прохладным летним днем тысяча девятьсот шестьдесят третьего года вышедшего из кинозала посреди фильма «Птицы». Стивену было двенадцать лет, и пройдет еще двенадцать лет, прежде чем он станет знаменитым. В тот день он был не «золотым мальчиком», а просто мальчиком.

Алек прогуливался в переулке за «Роузбадом» с сигаретой во рту, когда услышал, как у него за спиной с лязгом распахнулась дверь пожарного выхода из кинозала. Он обернулся и увидел в дверном проеме долговязого парнишку — он просто стоял там, не выходя на улицу и не возвращаясь в зал. Мальчик шурился в резком белом свете солнца с растерянным и удивленным видом ребенка, только что пробудившегося от глубокого сна. Темноту за его спиной наполняло пронзительное чириканье тысяч воробьев. На фоне птичьего гомона Алек различил недовольные возгласы потревоженных зрителей.

— Эй, парень! Давай или туда, или сюда, — сказал он. — Ты выпускаешь в зал свет.

Мальчик — Алек еще не знал его имени — повернул голову назад, в темноту зала. Спустя долгий миг он шагнул на крыльцо, и дверь за его спиной мягко закрылась на пневматических пружинах. Но дальше он не пошел и по-прежнему молчал. «Птицы» шли в «Роузбаде» уже две недели, и хотя с фильма порой уходили зрители, среди них никогда не бывало двенадцатилетних мальчишек. Это один из тех фильмов, каких мальчишки ждут годами, но... кто знает? Может, у парня слабый желудок.

— Я забыл в зале свою колу, — произнес мальчик отстраненным, ничего не выражающим голосом. — В бутылке еще много осталось.

— Хочешь вернуться за ней?

— Нет.

И когда мальчик обратил на него яркие от испуга глаза, Алек понял. Он докурил сигарету, выбросил окурок.

— Со мной сидела мертвая дама, — выпалил паренек.

Алек кивнул.

— Она говорила со мной.

— Что она сказала? — спросил Алек и снова взглянул на мальчика.

У того глаза стали круглыми от неверия в случившееся.

— Она сказала, что ей нужно с кем-то поговорить. Что если фильм ей нравится, она просто не может молчать.

Алек знает: она заговаривает с людьми, когда хочет поделиться впечатлением о фильмах. Обычно она обращается к мужчинам, но иногда заводит беседу и с женщинами, самая известная из которых — Луиз Вайзель. Алек давно уже разработал теорию о том, почему она является людям. Много лет он ведет записи в желтом блокноте. У него составлен список всех, кому она являлась, с пометкой о фильме и о дате: Лиланд Кинг, «Гарольд и Мод»,¹ 1972; Джоэл Харлоу, «Голова-ластик»,² 1977; Хэл Лэш, «Просто кровь»,³ 1984, и многие другие. С годами у Алека сформировалось довольно четкое представление о том, при каких условиях ее появление наиболее вероятно, однако детали теории постоянно пересматриваются.

В молодости он постоянно думал о ней, осознанно или подспудно. Она была его первым и самым сильным наваждением. Затем Алек ненадолго отвлекся — когда кинотеатр начал пользоваться популярностью, а его владелец стал уважаемым бизнесменом, приобрел вес в обществе, в торговой палате и в городском совете. В те дни он неделями не вспоминал о ней, и только если кто-нибудь видел ее — или притворялся, что видел, — старое наваждение накатывало с новой силой.

Но после развода (дом он оставил жене, а сам переехал в маленькую квартирку под кинозалом), почти совпавшего с открытием на окраине города восьмиэкранного киноцентра, Алека снова стали преследовать навязчивые мысли. Правда, не столько о ней, сколько о самом кинотеатре. (Но какая разница? Никакой, считал Алек: мысли о кино всегда приводят его к мыслям о ней.) Он никогда не предполагал, что когда-нибудь станет таким старым и заработает столько денег. Теперь он плохо спит, потому что в голове бурлят идеи — сумасшедшие, отчаянные идеи — о том, как удержать кинотеатр на плаву. По ночам он не может отвлечься от мыслей о доходах, расходах, персонале, ликвидном имуществе. А когда он устает думать о деньгах, он начинает думать о том, что его ждет, если кинотеатр закроется. Воображение рисует ему дом престарелых: матрасы, воняющие мазью от боли в суставах, и сотня чудаковатых беззубых стариков, днями напролет сидящих перед телевизором в душной общей комнате. Он представляет себе место, где он поблекнет постепенно и безвольно, как линяют обои на ярком свете.

Ужасная картина. Но еще страшнее вообразить, что станет с ней, когда «Роузбад» закроется. Он видит кинозал без кресел — пустое гулкое помещение, горки пыли в углах, окаменевшие комки жевательной резинки, намертво приставшие к бетонному полу. По ночам сюда проникают местные подростки, чтобы выпить и заняться сексом. Он видит разбросанные бутылки, безграмотные граффити на стенах и одинокий использованный презерватив перед сценой. Он видит заброшенное и испоганенное пространство, где ей суждено выцвести в ничто.

Или не суждено... и это худшее из его опасений.

Алек впервые увидел ее и говорил с ней, когда ему было шестнадцать. Через шесть дней после того, как узнал о гибели старшего брата где-то на юге Тихого океана. Президент Трумэн прислал семье письмо с соболезнованиями. Это было стандартное письмо, но внизу страницы Трумэн расписался собственноручно. Алек тогда не плакал. Неделью он провел в состоянии шока, как понял много лет спустя. Он потерял самого дорогого человека в мире, что глубоко травмировало его, но в тысяча девятьсот сорок пятом году никто не использовал слово «травма» применительно к чувствам. Единственный шок, о котором тогда говорили, — это контузия.

1 «Гарольд и Мод» (1971) — культовый фильм режиссера Хэла Эшби.

2 «Голова-ластик» (1977) — культовый фильм режиссера Дэвида Линча.

3 «Просто кровь» (1984) — фильм братьев Коэнов в жанре нео-нуар.

По утрам он говорил матери, будто идет на занятия. Но в школу он в те дни не ходил. Он бродил по центру города в поисках неприятностей. Он воровал в закусочных шоколадки и ел их на заброшенной обувной фабрике — ее закрыли, потому что все мужчины сражались или во Франции, или на Тихом океане. Перевозбужденный поступлением сахара в кровь, он швырял в окна камни, отрабатывая технику броска.

Однажды он забрел в переулок позади «Роузбада» и заметил, что вход в кинозал закрыт неплотно. Створка двери, выходящая в переулок, представляла собой гладкий лист металла без ручки или единого выступа, но Алек сумел подцепить край ногтями, и дверь подалась. Время было дневное, и зал заполняли дети до десяти лет и их мамы. Пожарный выход, сквозь который он проник внутрь, располагался в середине зала — там небольшое углубление в стене скрывала тень. Никто не видел, как он вошел. Алек прошмыгнул вдоль прохода к задним рядам, где разглядел несколько свободных мест.

— Джимми Стюарт¹ отправился на Тихий океан, — сказал ему брат Рэй, когда приезжал в отпуск в последний раз. Они перекидывались мячом на заднем дворе. — И сейчас, наверное, мистер Смит выколачивает из Токио красное дерьмо ковровой бомбежкой. Как тебе такая сумасшедшая идея?

Рэй называл себя фанатом кино. Вместе с Алеком они сходили на все фильмы, что крутили во время его месячного отпуска: «Батаан»,² «Армия Донована»,³ «Идти своим путем».⁴

Теперь в зале «Роузбад» Алек смотрел киножурнал: очередную серию походов поющего ковбоя с длинными ресницами и темными, почти черными губами. Это было неинтересно, Алек ковырял в носу и размышлял о том, как бы раздобыть кока-колы без денег. Наконец начался фильм.

В первые секунды Алек не мог понять, что это за дурацкое кино, а потом пришел в уныние: судя по началу, он попал на мюзикл. На синем экране появилась сцена, куда один за другим вышли оркестранты. Перед музыкантами встал человек в накрахмаленной рубашке и стал вещать о том, какое небывалое доселе развлечение предстоит зрителям. Когда речь зашла о киностудии Уолта Диснея и художниках, Алек втянул голову в плечи и стал потихоньку сползать вниз по сиденью. Оркестр грянул всеми своими струнными и духовыми что-то драматическое. В следующее мгновение явью стали самые страшные опасения Алека: это был не просто мюзикл — это был *мультипликационный* мюзикл. Ну разумеется, как же он сразу не догадался: зал набит детворой, время три часа пополудни, середина недели, а в качестве журнала показывают сериал о напoмаженном ковбое, распеваящем сладенькие песенки про высокогорные равнины. Само собой, за этим мог следовать только мультфильм.

Через некоторое время он все же приподнял голову и украдкой глянул на экран, а потом уже не отрывал глаз от странной абстрактной анимации: серебряные капли дождя на фоне клубов дыма, лучи расплавленного света, пересекающие пепельное небо. Он выпрямился и уселся поудобнее. В своих чувствах он пока не мог разобраться: ему скучно, но в то же время он увлечен, почти очарован. Трудно оторваться от экрана. Видеоряд лился на него непрерывным гипнотическим потоком: сполохи красного света, кружение звезд, царство облаков, окрашенных алым сиянием закатного солнца.

Вокруг Алека ерзали на складных сиденьях малыши. Девочка спросила громким шепотом: «Мама, а когда начнется про Микки?» Для детей такой необычный мультфильм был чем-то вроде урока в школе. А Алек тем временем вытянулся в струнку и даже наклонился немного вперед, положив руки на колени. Началась вторая часть мультфильма, оркестр от Баха перешел к Чайковскому. Перед завороченным взором порхали с ветки на ветку хрупкие феи в темном лесу. Они касались волшебными палочками цветов и нитей

1 Джеймс (Джимми) Стюарт (1908–1977) — популярный американский киноартист, в том числе снялся в главной роли в фильме «Мистер Смит едет в Вашингтон» (1939).

2 «Батаан» (1943) — фильм американского режиссера Тэя Гарнетта.

3 «Армия Донована» (1944) — фильм американского режиссера Эдварда Людвига с участием Джона Уэйна.

4 «Идти своим путем» (1944) — фильм американского режиссера Лео Маккэри, получил премию «Оскар» в семи номинациях.

паутины, набрасывая на них сверкающее покрывало росы. Озадаченный и потрясенный Алек следил за их беззаботным полетом с каким-то странным томлением. Неожиданно для себя он понял, что готов сидеть и смотреть этот фильм вечно.

— Я могла бы сидеть здесь вечно, — прошептала кто-то рядом с ним. Голос был девичьим. — Сидела бы, смотрела и никуда бы не уходила.

Он понятия не имел, что рядом кто-то есть, и вздрогнул, услышав голос так близко. Когда Алек сел, ему казалось — нет, он был уверен, — что кресла по обе стороны от него пусты. Он повернул голову.

Она была немного старше его — всего на несколько лет. Алек не дал бы ей больше двадцати. Его с первого взгляда поразило, какая она хорошенькая. Сердце Алека забилось быстрее при мысли о том, что с ним заговорила такая девушка. Он мысленно пригрозил себе: «Попробуй только все испортить!» Но она на него не смотрела, увлеченная фильмом. На губах ее плавала улыбка — восхищенная и по-детски удивленная. Алек отчаянно хотел сказать что-нибудь умное, но все слова и мысли куда-то улетучились.

Она склонилась в его сторону, не отрывая глаз от экрана, и левой ладонью слегка прикоснулась к его руке, лежащей на подлокотнике.

— Извини, что мешаю тебе смотреть, — шепнула она — Когда фильм мне нравится, я просто не могу молчать. Ничего не могу с собой поделать.

В следующий миг, почти одновременно, до сознания Алека дошли две вещи. Во-первых, ее ладонь была ледяной: даже через свитер он почувствовал могильный холод ее пальцев и немного испугался. Во-вторых, на ее верхней губе, под левой ноздрей, он заметил каплю крови.

— У тебя из носа кровь идет, — сказал он слишком громко, как ему показалось.

И тут же пожалел о своих словах. Человеку дается один шанс произвести впечатление на такую красотку, как эта. Надо было предложить ей платок или салфетку, чтобы она вытерла кровь. Небрежно пробормотать в манере Синатры: «Ты в крови, держи». Он сунул руки в карманы, нащупывая что-нибудь подходящее, но ничего не нашлось.

Но она как будто не слышала его — во всяком случае, никак не отреагировала. С рассеянным видом девушка провела под носом тыльной стороной ладони, размазав пятно крови... и Алек замер, как сидел, с руками в карманах, глядя на нее. Только сейчас до него дошло: с девушкой, сидящей рядом, что-то не так, и во всей этой сцене есть нечто *неправильное*. Он инстинктивно отодвинулся, даже не давая себе в этом отчета.

Она рассмеялась происходящему на экране. Голос у нее был тихий, с придыханием. Потом она наклонилась к Алеку и прошептала

— Этот фильм совершенно не для детей. Гарри Парселлс обожает кинотеатр, но он крутит не те фильмы. Гарри Парселлс — владелец «Роузбада».

Под ее левой ноздрей появился свежий потек крови. Красная дорожка быстро добежала до губы, но внимание Алека уже привлекло кое-что другое. Они сидели прямо под лучом проектора, и в синем столбе света у них над головами кружились мотыльки и другие насекомые. Одна мушка присела на щеку девушки. Та не заметила, и Алек не стал говорить ей об этом. Ему не хватало воздуха, чтобы вымолвить хотя бы одно слово. Девушка продолжала:

— Он думает, что мультик детям обязательно понравится. Забавно — он так любит кино и так мало о нем знает. Но ему недолго осталось управлять кинотеатром

Девушка взглянула на собеседника и улыбнулась. У нее уже зубы запачкались кровью. Алек не мог подняться. Вторая мушка, цвета слоновой кости, приземлилась около изящной ушной раковины девушки.

— Твоему брату Рэю этот фильм тоже понравился бы, — сказала она.

— Уходи, — хриплым шепотом выдавил Алек.

— Твое место здесь, Алек, — сказала она. — Здесь, рядом со мной.

Он наконец обрел способность двигаться и оторвал свое тело от кресла. Первая моль заползла ей в волосы. Ему показалось, что он слышит слабый стон — свой? Пока он пятился

от нее, она не отрываясь следила за ним. Через несколько футов он споткнулся о чьи-то ноги и услышал, как возмущенно вскрикнул ребенок. На миг он перевел взгляд от девушки на полноватого мальчишку в футболке, воззрившегося на него с весьма красноречивым выражением лица: «Смотри, куда прешь, тупица».

Алек снова посмотрел на девушку: теперь она полулежала, откинувшись на спинку, положив голову на левое плечо. Ее ноги непристойно раскинулись. Из носа тянулись широкие высохшие полоски крови, охватывая тонкогубый рот двумя скобками. Глаза закатились, обнажив белки. Рядом валялась опрокинутая картонка попкорна.

Алек подумал, что сейчас закричит. Но он не закричал. Девушка была абсолютно неподвижна. Он снова посмотрел на толстого мальчика, о ноги которого споткнулся. Тот бросил взгляд на сиденья за спиной, где сидела мертвая девушка, и вопросительно уставился на Алека, изогнув уголок рта в насмешливой ухмылке.

— Сэр, — сказала женщина. — по-видимому, мать толстого парнишки. — Проходите быстрее, пожалуйста! Мы хотели бы посмотреть фильм.

Алек бросил еще один взгляд в сторону мертвой девушки. Ее кресло оказалось пустым, сиденье сложено. Он стал пробираться к выходу, утыкаясь в колени, чуть не падая, хватаясь за руки чужих людей, чтобы удержать равновесие. Внезапно весь зал взорвался радостными возгласами и аплодисментами. У него чуть сердце не выскочило из груди. Он вскрикнул и вскинул глаза на экран. Там появился Микки в просторном красном одеянии, долгожданный Микки.

Он оказался в проходе, доковылял до обитых толстой кожей дверей, вышел в фойе. Яркий полуденный свет заставил его зажмуриться. Он чувствовал, что его вот-вот вырвет. Затем на плечо легла чья-то ладонь. Алека повернули и провели через коридор к лестнице, ведущей на балкон. Он сел на нижнюю ступеньку — скорее упал, а не сел.

— Посиди немного, — сказали ему. — Не вставай. Дыши глубже. Тебя не стошнит, как ты думаешь?

Алек покачал головой.

— Если все-таки тошнит, прошу тебя потерпеть немного, а я принесу пакет. Этот ковер плохо чистится. А если зрители учуют запах рвоты, покупать попкорн им вряд ли захочется. — Тот, кто говорил это, постоял рядом с Алеком, потом без слов развернулся и ушел. Появился он через минуту или около того. — Вот, держи. За счет заведения. Пей медленными глотками. Содовая хорошо действует на желудок.

Алек сжал в пальцах вощенный стаканчик, усыпанный бисером холодного конденсата, нащупал губами соломинку, втянул в себя глоток ледяной колы, колючей от пузырьков. Потом открыл глаза. Он увидел перед собой высокого и сутулого мужчину с обвислым валиком сала на талии. Темные волосы пострижены ежиком, а глаза за чрезмерно толстыми стеклами очков казались маленькими, бледными и тревожными. Брюки этот человек подтянул слишком высоко, почти до пупка.

Алек сказал:

— Там мертвая девушка.

Своего голоса он не узнал.

Лицо крупного мужчины разом побелело, и он горестно поглядел на дверь, ведущую в зал.

— Раньше она никогда не приходила на дневные сеансы. Я надеялся, что только вечерами, надеялся... Боже праведный, это же детский фильм! Что же она делает со мной?..

Алек открыл рот, не зная еще, что хочет сказать — наверное, что-нибудь о девушке, — но вместо этого изо рта его вырвались другие слова:

— Фильм совсем не детский.

Мужчина посмотрел на него со сдержанным негодованием:

— Разумеется, детский. Это же Уолт Дисней.

Алек смерил его задумчивым взглядом, потом спросил:

— Вы, должно быть, Гарри Парселлс?

— Да. Откуда ты знаешь?

— Догадался, — ответил Алек. — Спасибо за колу.

Следуя за Гарри Парселлсом, Алек обогнул торговый прилавок, вошел в дверь и оказался перед лестничным пролетом, ведущим куда-то вверх. Гарри открыл еще одну дверь и провел Алека в маленький кабинет, заставленный мебелью. На полу стояли стопки металлических коробок с пленками. Все стены сплошным ковром покрывали блеклые афиши, местами налезавшие одна на другую: «Город мальчиков»,¹ «Дэвид Копперфилд»,² «Унесенные ветром».

— Мне очень жаль, что она напугала тебя, — сказал Гарри, рухнув в кресло позади письменного стола. — Ты точно в порядке? Выглядишь, честно говоря, неважно.

— Кто она такая?

— У нее в мозгу что-то взорвалось, — ответил Гарри и приставил к левому виску палец, словно дуло пистолета. — Четыре года назад. На «Волшебнике страны Оз». На премьере. Это ужасно. Она все время приходила сюда. Была моим самым постоянным клиентом. Мы разговаривали с ней, подшучивали друг над другом... — Он смолк, растерянный и огорченный, потом сжал свои пухлые ладони, положил их на стол перед собой и закончил: — А теперь она пытается меня разорить.

— Вы видели ее, — сказал Алек.

Это был не вопрос.

Гарри кивнул.

— Через несколько месяцев после того, как она умерла. Она тогда сказала мне, что я не на своем месте. Не знаю, почему она хочет заставить меня покинуть «Роузбад», ведь при жизни мы с ней отлично ладили. Она и тебе сказала, чтобы ты уходил?

— Зачем она здесь? — вместо ответа спросил Алек.

Голос его оставался по-прежнему хриплым, а вопрос прозвучал странно.

Гарри воззрился на него сквозь толстые стекла очков с выражением полного непонимания. Потом он покачал головой и ответил:

— Она несчастна. Она умерла, так и не досмотрев «Волшебника страны Оз», и никак не может забыть об этом. Я понимаю. Это хороший фильм. Я бы тоже чувствовал себя обделенным.

— Эй! — крикнул кто-то в фойе. — Есть кто-нибудь?

— Сейчас иду! — отозвался Гарри. Со страдальческим видом он пояснил Алеку: — Девушка, что работала у меня продавщицей, вчера сказала, что уходит. И не предупредила заранее.

— Из-за привидения?

— Господи, нет! Просто однажды один из ее накладных ногтей попал в попкорн, и я запретил ей носить их. Кому понравится найти в своем попкорне ноготь? А она сказала, что в кино приходит много ее знакомых парней, и если ей нельзя носить накладные ногти, то она отказывается работать. Так что теперь я все делаю сам — Гарри говорил это, уже выходя из-за стола. В одной руке он держал газетную вырезку. Он протянул ее юноше: — Почитай, тебе все станет понятно. — Потом он посмотрел на Алека странным взглядом — не то чтобы с угрозой, но с неким предостережением: — Только не вздумай сбежать! Нам еще надо кое-что обсудить.

Гарри вышел, а Алек еще некоторое время раздумывал, что означал его непонятный взгляд. Потом он вспомнил про газетную вырезку. Там оказался некролог — ее некролог. Бумага была мятой, края истерлись, чернила выцвели. Похоже, эту вырезку частенько брали в руки и перечитывали. Девушку звали Имоджен Гилкрест, умерла она в девятнадцать лет, работала в магазине канцелярских товаров. Ее родители Кольм и Мэри, а также другие члены семьи рассказывали о ее веселом смехе и заразительном чувстве юмора. О том, как сильно

1 «Город мальчиков» (1938) — фильм американского режиссера Нормана Таурога.

2 «Дэвид Копперфилд» (1935) — экранизация романа Чарльза Диккенса, режиссер Джордж Кьюкор.

она любила кино. Она могла назвать каждого из актеров, снимавшихся в любой виденной ею картине, — это стало игрой среди ее друзей. Она знала даже тех, что произносили одну фразу за целый фильм. В старших классах ее выбрали президентом театрального клуба, она играла почти во всех пьесах, делала декорации, управлялась с освещением сцены. «Я всегда верил, что из нее получится настоящая кинозвезда, — говорил ее преподаватель актерского мастерства. — С таким смехом и такой внешностью достаточно было бы навести на нее камеру, и она сразу стала бы знаменитой».

Алек закончил читать и оглянулся вокруг. Гарри еще не возвратился. Тогда юноша снова перечитал некролог. Потер между большим и указательным пальцами уголок газетной бумаги. От несправедливости такой смерти у него перехватило дыхание, глаза вдруг защипало. Недоверчиво прислушиваясь к себе, Алек понял: как это ни смешно, он вот-вот заплачет. Страшно осознавать, что живешь в мире, где девятнадцатилетняя девушка, полная жизни и веселья, может погибнуть вот так, без причины. Сильное чувство, охватившее его, было не совсем оправдано — ведь он не знал Имоджен при жизни. Но все стало на свои места, едва он вспомнил Рэя, письмо Трумэна и слова «храбро сражался», «защищал свободу», «Америка гордится им».

Он вспомнил о том, как Рэй водил его на «Армию Донована» в этот самый кинотеатр, и они сидели рядом, закинув ноги на спинки кресел перед собой и касаясь друг друга плечами.

«Только глянь на Джона Уэйна, — говорил Рэй. — Ему понадобится два бомбардировщика: один, чтобы везти его самого, а второй — чтобы везти его яйца».

Жжение в глазах стало невыносимым, каждый вдох причинял боль. Оставалось лишь утирать мокрый нос и изо всех сил стараться плакать беззвучно.

Наконец он промокнул слезы рукавом рубашки, положил некролог на стол Гарри Парселлса и внимательнее оглядел кабинет. Афиши, стопки круглых коробок... В самом углу он заметил обрывок пленки — кадров восемь, не больше.

«Интересно, из какого это фильма?» — подумал он и поднял обрывок с пола, чтобы рассмотреть поближе.

Он различил на кадрах девушку, которая закрывала глаза и поднимала лицо — каждый кадр едва отличается от следующего, — чтобы поцеловать мужчину, крепко сжимающего ее в объятиях. Она отдавала себя ему. Алек захотел, чтобы и его когда-нибудь вот так поцеловали. Тот факт, что у него в руках находился кусок настоящего фильма, глубоко взволновал его. Не думая, он сунул обрывок в карман.

Он еще немного побродил по кабинету и вышел в коридор, на лестничную площадку. Он выглянул в фойе, ожидая увидеть Гарри за прилавком, занятого обслуживанием клиентов. Но там никого не было. Алек постоял, раздумывая, где искать владельца кинотеатра. Пока он колебался в нерешительности, с верхней площадки лестницы донесся тихий стрекот. Закинув голову вверх, он прислушался, и тут до него дошло — кинопроектор. Гарри менял ленту.

Алек поднялся по ступенькам и вошел в проекционную кабину — темное маленькое помещение с низким потолком. Через два квадратных окна открывался вид сверху на весь кинозал. В одном из окон был установлен проектор — большая машина из полированной нержавеющей стали с надписью «Витафон»¹ на боку. С правой стороны от механизма стоял сам Гарри, склонившись вперед и глядя в то же самое окно, куда направлял свой луч проектор. Он услышал, как вошел Алек, и бросил в его сторону короткий взгляд. Алек ожидал, что сейчас ему велят выйти, но Гарри ничего не сказал, только кивнул и вернулся к молчаливому наблюдению за залом.

Осторожно, нащупывая в полумраке каждый шаг, Алек приблизился к «Витафону». Слева от проектора находилось второе окно. Алек постоял перед ним, набираясь смелости, а потом придвинул лицо к стеклу и заглянул в разверстое под ним темное пространство зала.

Изображение на экране заливало зрительный зал полуночной синевой: снова дирижер и силуэты музыкантов за его спиной. Ведущий объявлял следующий номер. Алек посмотрел

¹ «Витафон» — технология компании Bell, позволившая впервые синхронизировать звукозапись с кинопленкой в процессе съемок фильма, монтажа и воспроизведения в кинотеатре.

вниз и пробежал глазами по рядам кресел. Найти место, где он недавно сидел, было нетрудно: несколько пустых сидений в правом дальнем углу. Он смутно надеялся снова увидеть ее: наполовину сползшую с кресла, с поднятой к потолку головой, с лицом в крови. Может быть, глаза ее обращены в его сторону? Мысль о том, что он увидит ее, наполняла Алека и ужасом, и странным нервным возбуждением. Убедившись, что в зале ее нет, он удивился охватившему его разочарованию.

Зазвучала музыка: сначала пронзительные вибрации скрипок, то взмывающие на невероятную высоту, то падающие вниз, затем со стороны духовых инструментов раздалась серия грозных взрывов, почти военных. Внимание Алека вновь привлёк фильм, он отвёл взгляд от кресел — и больше не сводил глаз с экрана. Его пробрала ледяная дрожь. По рукам побежали мурашки. На экране из могил восставали мертвые, армия белых водянистых призраков вытекала из земли в ночь. С вершины горы их призывал демон с квадратными плечами. Они шли к нему, и обрывки белых одежд на изможденных телах трепетали на ветру, а лица искажались тревогой и болью. Алек не дыша следил за ними, а внутри него росло и ширилось ощущение потрясения и изумления.

Демон расщепил гору надвое — открылся ад. Заплясали языки пламени, запрыгали в танце проклятые, и Алек понял, что это про войну. Этот эпизод — о его брате, ни за что погибшем на юге Тихого океана («Америка гордится им»), о телах солдат, истерзанных и обезображенных, что качаются в прибрежном прибое где-то далеко на востоке, разбухая и пропитываясь водой. Это об Иможден Гилкрист, что любила смотреть кино и умерла, раскинув ноги, с переполненным кровью мозгом — а ведь ей было всего девятнадцать и ее родителей зовут Кольм и Мэри. Это о молодых людях, о молодых здоровых телах, в которых проделывают дыры и откуда толчками выливается жизнь, хотя не осуществлена ни одна их мечта и не покорена ни одна вершина.

О тех молодых людях, любящих и любимых, что уходят и не возвращаются, а после них остаются лишь жалкие памятки вроде этих: «Я молюсь сегодня вместе с вами. Гарри Трумэн» или «Я всегда верил, что из нее выйдет настоящая кинозвезда».

Где-то вдалеке прозвонил церковный колокол. Алек очнулся от мыслей. Оказалось, колокольный звон был частью фильма. Мертвые таяли. Мрачный плечистый демон закрылся своими широкими черными крыльями, спрятал лицо от наступающего рассвета. Под горой потянулась цепочка людей с неяркими фонарями в руках. Музыка нежно пульсировала. Небо окрасилось холодным голубым блеском, налилось светом — сиянием восхода, пробивающегося сквозь ветви берез и сосен. Алек следил за этими образами с чувством, близким к религиозному экстазу, пока фильм не закончился.

— «Дамбо»¹ мне понравился больше, — заметил Гарри.

Он щелкнул выключателем, и под потолком загорелась лампочка без абажура, заливая проекционную резким белым светом. Последние метры пленки проскочили через нутро «Витафона» и появились с другой стороны, намотанные на одну из бобин. Освободившийся конец пленки еще некоторое время мотался по кругу: шлеп, шлеп, шлеп. Потом Гарри выключил проектор и взглянул поверх корпуса на Алека.

— Вижу, тебе лучше. Уже не такой бледный.

— О чем вы хотели поговорить?

Алек припомнил непонятный взгляд-предостережение, которым сопровождалась просьба Гарри подождать его возвращения, и испугался: а вдруг Гарри каким-то образом узнал, что он проник в зал без билета. Не грозят ли ему теперь неприятности? Но Гарри заговорил о другом:

— Я готов вернуть стоимость билета или дать два бесплатных приглашения на любой фильм по твоему выбору. Это максимум, что я могу предложить.

Алек не сразу понял, о чем речь. Озадаченно помолчав, он спросил:

— За что?

— За что? За то, чтобы ты молчал. Ты представляешь, что станет с кинотеатром, если

1 «Дамбо» (1941) — знаменитый мультфильм о слоненке Дамбо, снятый на киностудии Уолта Диснея.

про нее узнают? У меня есть основания полагать, что люди не захотят платить деньги, если в темноте им станет являться болтливая мертвая девушка.

Алек недоуменно покачал головой. Как странно! Гарри думает, будто зрителей напугает весть о призраках в «Роузбаде». Лично он рассчитывал бы на обратный эффект. Люди охотно заплатят за возможность немного испугаться — иначе фильмы ужасов не имели бы такой популярности.

И тут Алек вспомнил, что Иможен Гилкрест сказала ему про Гарри Парселлса: «Ему недолго осталось владеть кинотеатром».

— Так что тебе больше нравится, — спросил Гарри, — бесплатные приглашения?

Алек мотнул головой.

— Ну, держи деньги за билет.

— Не надо.

Гарри застыл с раскрытым бумажником в руках и бросил на Алека удивленный, подозрительный взгляд.

— Тогда что же?

— Как насчет работы? Вам вроде нужен человек, чтобы продавать попкорн, — предложил Алек. — Обещаю накладные ногти на работу не носить.

Гарри долго смотрел на него, не отвечая, потом медленно убрал бумажник в задний карман брюк.

— А по выходным ты согласен работать? — спросил он.

В октябре Алек узнаёт, что Стивен Гринберг снова в Нью-Гэмпшире. Он приехал, чтобы снять на территории академии «Филлипс Эксетер» несколько сцен для своего нового фильма с Томом Хэнксом и Хэйли Джоэлом Осментом¹ — про непонятого учителя, вдохновляющего своих гениальных, но беспокойных учеников. Больше никакой информации не требовалось, Алек и так с большой долей уверенности мог предполагать, что Стивен на пути к очередной статуэтке «Оскара». Но в душе Алек предпочитал ранние фильмы Стивена — фантастику и триллеры.

Он думает, не съездить ли в академию. Может, удастся пробраться и посмотреть на съемки? Он мог бы сказать: «Ну да, разумеется, я знал Стивена, когда он был еще мальчишкой». Может, ему даже позволят поговорить с самим Стивеном. Хотя в этой части Новой Англии сотни людей вправе утверждать, что в свое время знавали Гринберга, а Алек знаком с ним весьма поверхностно. Они лишь однажды разговаривали — в тот день, когда Стивен увидел ее. Раньше — ничего; потом — почти ничего.

Поэтому звонок от персонального ассистента Стивена в пятницу после обеда, уже в конце месяца, становится сюрпризом для Алека. Женщина с бодрым жизнерадостным голосом называет себя Марсией. Она хочет сообщить Алеку, что Стивен пожелал встретиться с ним, и не мог бы Алек заехать — в воскресенье утром, если удобно, — в главное здание академии. Для него будет приготовлен пропуск. Они надеются увидеть его в десять ноль-ноль на территории академии. Соединение прерывается. И только после окончания разговора Алек понимает, что получил не столько приглашение, сколько приказ.

В главном здании Алека встречает один из ассистентов — парень с козлиной бородкой — и проводит туда, где ведутся съемки. Алек присоединяется к группе из двух-трех десятков человек и с небольшого расстояния наблюдает, как Хэнкс и Осмент идут по зеленой лужайке, усыпанной опавшими листьями. Хэнкс задумчиво кивает, а Осмент говорит что-то и жестикулирует. Перед ними едет тележка, на ней два человека и съемочное оборудование, саму тележку катят еще двое мужчин. Стивен в окружении нескольких человек стоит чуть в стороне и просматривает на мониторе отснятый материал. Алеку никогда раньше не доводилось бывать на съемочной площадке, и он с огромным удовольствием следит за

¹ В академии «Филлипс Эксетер» снимались сцены из фильма Рона Ховарда «Код да Винчи», где главную роль играл Том Хэнкс. Том Хэнкс снялся вместе с Хэйли Джоэлом Осментом в фильме режиссера Земекиса «Форрест Гамп». Оба актера снимались и у Стивена Спилберга, но в разных фильмах.

работой профессиональных выдумщиков и притворщиков.

Добившись желаемого результата и поговорив несколько минут с Хэнксом, Стивен шагает к группе людей, где находится Алек. На лице Стивена застенчивое, просительное выражение. Он видит Алека, и его губы растягиваются в улыбке, открывая редкие зубы; он взмахивает рукой и на миг становится очень похожим на прежнего долговязого мальчугана. Он спрашивает, не хочет ли Алек прогуляться с ним до кафетерия, перекусить хот-догом и выпить содовой.

По пути в кафетерий Стивен ведет себя нервно, играет мелочью в кармане и молча поглядывает на Алека. Алек догадывается, что режиссер хочет побеседовать об Имоджен, но не знает, с чего начать. Когда Стивен наконец начинает речь, он сначала говорит о «Роузбаде»: о том, как любил этот кинотеатр, о великих фильмах, которые он там видел. Алек улыбается и кивает, но на самом деле он поражен тем, до какой степени Стивен обманывает себя. Ведь после «Птиц» он так и не вернулся в зал. Он не смотрел в «Роузбаде» ни одного из тех фильмов, что сейчас перечисляет.

В конце концов Стивен решается:

— А что будет с кинотеатром, когда ты уйдешь на пенсию? Я, конечно, не имею в виду, что тебе пора на пенсию! Просто я хочу сказать... как ты считаешь, надолго ли еще он останется в твоей власти?

— Недолго, — отвечает Алек, — это правда.

Но больше ничего не добавляет. Он озабочен тем, чтобы не уронить достоинства просьбой о помощи — хотя подозревает, что именно за этим и пришел сюда. После того телефонного разговора с Марсией он мечтал о встрече со Стивеном о том, что они поговорят о «Роузбаде» и Стивен, такой богатый и любящий кино, согласится бросить Алеку спасательный круг.

— Старые кинотеатры — это национальное достояние, — говорит Стивен. — В это трудно поверить, но я купил парочку почти разорившихся кинозалов. И возвращаю их к жизни. Я бы хотел сделать что-то подобное и с «Роузбадом», знаешь ли. Есть у меня такая мечта.

Вот шанс, вот возможность, на которую так надеялся — хотя и не признавался в этом даже себе — Алек. Но вместо того, чтобы рассказать о плачевном состоянии «Роузбада», Алек меняет тему... Ему не хватает духу совершить необходимое.

— Какие у тебя планы на будущее? — спрашивает Алек.

— После этого фильма? Подумываю над одним римейком, — отвечает Стивен и снова искоса бросает на Алека неуверенный взгляд. — Ни за что не угадаешь, какой. — Потом он внезапно притрагивается к руке Алека. — Этот приезд в Нью-Гэмпшир всколыхнул во мне кое-какие воспоминания. Мне приснилась наша старая знакомая, представляешь?

— Наша старая... — начинает Алек, а потом понимает, о ком говорит Стивен.

— Мне приснилось, будто кинотеатр закрыт. На главном входе висит цепь, окна заколочены. Мне приснилось, что я слышу, как внутри кто-то плачет. — Стивен смущенно улыбается. — Забавно, правда?

Домой Алек едет в холодном поту, растревоженный. Он не понимает, почему он ничего не сказал, почему не смог ничего сказать. Гринберг явно хотел помочь с деньгами, чуть ли не просил разрешения. С горечью Алек приходит к выводу, что он превратился в глупого и бесполезного старика.

В кинотеатре его ожидают девять сообщений на автоответчике. Первое — от Луиз Вайзель. От нее Алек не получал вестей уже много лет. В ее голосе напряженность:

— Привет, Алек, это Луиз Вайзель из Бостонского университета.

Как будто он мог забыть, кто она такая. Луиз видела Имоджен Гилкрист на сеансе «Полуночного ковбоя»,¹ а сейчас преподает документальное кино. Алек знает, что две эти вещи связаны — как и Стивен Гринберг не случайно стал тем, кем стал.

¹ «Полуночный ковбой» (1969) — трижды «оскароносный» фильм американского режиссера Джона Шлезингера.

— Перезвони мне, ладно? Я хотела поговорить с тобой о... ну... Короче, позвони. — Потом она смеется, но как-то странно, почти испуганно, и говорит: — Это невероятно. — Тяжело вздыхает. — В общем, я хотела узнать, как дела в «Роузбаде». Мне кажется — плохо. Жду звонка.

Следующий звонок — от Даны Луэллин, что видела Имоджен на сеансе «Дикой банды».¹ Третий — от Майка Леонарда — ему Имоджен явилась во время «Американских граффити».² Потом позвонил Дарен Кэмпбелл, встретивший ее на «Бешеных псах».³ Кто-то из них говорит, будто видел сон, похожий на тот, что пересказывал Стивен Гринберг: заколоченные окна, цепь на дверях, плачущая девушка. Другие просто просят перезвонить.

К тому моменту, когда сообщения на автоответчике закончились, Алек сидит на полу кабинета, сжав кулаки: беспомощно рыдающий старик.

За четверть века Имоджен видели около двадцати человек, и почти половина из них оставили сообщения для Алека с просьбой связаться с ними. Остальные звонят в течение ближайших нескольких дней, расспрашивают о «Роузбаде», говорят о своей мечте. Алек побеседует почти с каждым, кто видел ее, со всеми, с кем Имоджен захотелось в свое время заговорить: с преподавателем актерского мастерства, с менеджером видеопроката, с финансистом на пенсии, в молодости писавшим сердитые и смешные рецензии на фильмы. Со всеми теми, кто по воскресеньям ходил не в церковь, а в «Роузбад», чьи молитвы были написаны Пэдди Чаефски,⁴ чьи гимны сочинял Джон Уильямс⁵ и чья вера — призыв, перед которым не в силах устоять Имоджен. Как и сам Алек.

Финансовой стороной благотворительного фонда по спасению «Роузбада» занимается бухгалтер Стивена. Сам кинотеатр закрыт на три месяца для проведения ремонтных работ. Новые кресла, новейшее звуковое оборудование. Дюжина рабочих возвели леса и маленькими кисточками восстанавливают гипсовую лепнину на потолке. Стивен предоставляет персонал для ведения бумажной работы. Он выкупил контрольный пакет акций, и теперь кинотеатр, в сущности, принадлежит ему, хотя Алек согласился еще некоторое время побыть управляющим.

Трижды в неделю сюда приезжает Луиз Вайзель для съемок документального фильма о восстановлении кинотеатра. С собой она привозит своих студентов и использует их в самых разных ипостасях: как электриков, звукорежиссеров и подсобных рабочих. Стивен хочет отметить открытие обновленного «Роузбада» гала-представлением. Услышав о его намерении начать со сдвоенного показа «Волшебника страны Оз» и «Птиц», Алек чувствует, что покрывается гусиной кожей. Но не возражает.

В день открытия кинотеатр заполнен так же, как в день премьеры «Титаника». Корреспонденты местного телевидения снимают поток зрителей, исчезающий в дверях кинозала. Разумеется, здесь Стивен, потому и столько шума... Хотя Алек не сомневается, что аншлаг был бы и без Стивена — люди пришли бы посмотреть на результаты ремонта. Алек и Стивен позируют для фотографов: вот они стоят рядом перед главным входом, оба во фраках, жмут друг другу руки. Фрак Стивена — от Армани, специально купленный для церемонии открытия. Алек надел фрак, в котором был на собственной свадьбе.

Стивен наклоняется к нему, прижимается плечом к его груди:

— Что будешь делать?

Без денег Стивена Алек сидел бы в окошке кассы и продавал билеты, а потом поднялся бы в проекционную, чтобы поставить ленту. Но теперь Стивен нанял для этого специальных людей. Алек говорит:

1 «Дикая банда» (1969) — вестерн американского режиссера Сэма Пекинпа.

2 «Американские граффити» (1973) — один из первых фильмов режиссера Джорджа Лукаса, где снялись начинающие Пол Дрейфус и Харрисон Форд.

3 «Бешеные псы» (1992) — фильм режиссера Квентина Тарантино.

4 Пэдди Чаефски (1923–1981) — известный американский драматург и сценарист (настоящее имя Сидни Аарон Чаефски).

5 Джон Уильямс (1932) — американский композитор и дирижер, автор музыки к кинофильмам, в том числе к «Супермену», «Один дома», «Звездным войнам», «Спасти рядового Райана» и многим другим.

— Наверное, пойду в зал, посмотрю кино.

— Займи мне место, — просит Стивен. — Правда, я освобожусь не раньше чем к началу «Птиц». Мне надо пообщаться с прессой.

Луиз Вайзель установила в зале камеру, направленную на зрителей и заряженную особой светочувствительной пленкой для съемок в темноте. Она снимает публику в разные моменты, отрывками, чтобы запечатлеть их реакцию на те или иные эпизоды «Волшебника страны Оз». Это станет заключительным эпизодом ее документального фильма — полный зал зрителей наслаждается классической кинокартиной двадцатого века в любовно отреставрированном кинотеатре. Но ее фильм закончится не так, как она планировала.

В первом фрагменте съемкой видно, что Алек сидит в одном из задних рядов, его лицо повернуто к экрану, очки поблескивают в темноте синими сполохами. Кресло слева от него свободно — единственное пустое место в зале. Он жует попкорн или просто сидит и смотрит, слегка приоткрыв рот, почти с благоговением.

На следующих кадрах он повернулся к креслу слева от него. К нему подседа девушка в синем. Он наклоняется к ней. Нет сомнений в том, что они целуются. Никто не обращает на них внимания. «Волшебник страны Оз» заканчивается. Мы знаем это, потому что слышим, как Джуди Гарланд снова и снова повторяет одни и те же слова тихим, полным чувства голосом. Она говорит, что...

Но все мы и так знаем, что она говорит.¹ Это самые милые слова во всем фильме.

А в последнем фрагменте, снятом в тот день, мы видим: свет зажжен, и вокруг тела Алека, наполовину съехавшего с кресла, собралась толпа. Стивен Гринберг стоит в проходе и отчаянно требует позвать врача. Плачет ребенок. Остальные возбужденно переговариваются, создавая ровный жужжащий шум. Но оставим этот фрагмент. Тот, что предшествует ему, представляет куда больший интерес.

Они длятся всего несколько секунд. Эти кадры запечатлели Алека и его неизвестную соседку. Их не больше ста, но именно они сотворят карьеру Луиз Вайзель — не говоря о том, сколько денег они принесут. Их будут показывать в телепередачах о необъяснимых явлениях, их будут пересматривать люди, увлеченные сверхъестественными явлениями. Их будут изучать, о них будут писать, их назовут подделкой, потом докажут их подлинность, и они станут знаменитыми. Давайте взглянем на них еще раз.

Алек склоняется над ней. Она поворачивает к нему лицо, закрывает глаза. Она очень молода, и она полностью отдается ему. Алек снял очки. Он нежно обнимает ее за талию. Люди мечтают о таком поцелуе: это поцелуй кинозвезд. Глядя на него, зрители хотят, чтобы он длился вечно. И на протяжении всего эпизода темноту кинозала заполняет высокий и смелый голосок Дороти. Она говорит что-то о доме. Она говорит то, что знают все.

ХЛОП АРТ

В двенадцать лет у меня был надувной лучший друг. Его звали Артур Рот, что делало его к тому же надувным евреем, хотя я не помню, чтобы в наших беседах о загробной жизни Артур высказывал какие-то особенные еврейские мысли. Подвижные игры с ним, надувным, исключались, поэтому мы по большей части именно беседовали — и тема смерти и того, что последует за ней, в наших разговорах поднималась не раз. Думаю, Артур знал, что вряд ли доживет до окончания школы, разве что при удачном стечении обстоятельств. Когда я познакомился с ним, он уже с десятков раз чудом избежал гибели — по разу на каждый прожитый им год. Он много думал о жизни после смерти, а также о том, что ее может не быть.

Когда я говорю, что мы беседовали, я имею в виду, что мы общались, спорили, дразнили и подначивали друг друга. Если точно придерживаться фактов, то произносил слова

¹ Джуди Гарланд, исполнявшая в фильме «Волшебник страны Оз» роль главной героини, девочки Дороти, несколько раз произносит в конце фильма фразу: «Нет ничего лучше родного дома» («There is no place like home»).

я — Арт разговаривать не умел. У него не было рта. Если он хотел сказать что-нибудь, он писал. У него на шее висел шнурок, к которому прикреплялся блокнотик, а в кармане всегда лежали цветные мелки. Этими мелками он делал домашнюю работу, писал ими контрольные и диктанты. Можно себе представить, какую опасность представлял остро заточенный карандаш для мальчика весом в четыре унции, сделанного из пластика и наполненного воздухом.

Думаю, мы подружились по той причине, что Арт отлично умел слушать. Кроме него, слушать меня было некому. Рос я без матери, а с отцом говорить не мог. Моя мать ушла от нас, когда мне было три года. Она прислала отцу бестолковое и бессвязное письмо из Флориды: что-то о пятнах на солнце, о гамма-лучах, о радиации, которую излучают линии электропередачи, о том, что родимое пятно на ее левой руке передвинулось на плечо. Потом мы получили еще пару открыток, и больше ничего.

Отец страдал мигренями. После обеда он, больной и раздраженный, обычно сидел в полутемной гостиной и смотрел бесконечные сериалы. Он ненавидел, когда его отвлекали. Сказать ему что-нибудь не представлялось возможным. Любая робкая попытка проваливалась.

— Чепуха, — говорил он, не дослушав и первой фразы. — У меня голова раскалывается. Ты убиваешь меня своей болтовней — то одно, то другое.

А вот Арт любил слушать, и взамен я предложил ему защиту. В школе меня боялись, обо мне шла дурная слава. Иногда я приносил с собой свой перочинный нож и показывал его ребятам, чтобы держать их в страхе. Правда, я резал им только одно место — стену в своей комнате. Я ложился на кровать и бросал его в пробковую панель, и если бросок удавался, лезвие вонзалось в пробку с приятным звуком: «Фанк!»

Арт однажды зашел ко мне и увидел отметины на стене. Я объяснил, откуда они взялись, он спросил еще что-то, я ответил — и как-то незаметно оказалось, что он уже умоляет меня разрешить и ему бросить разочек.

— Ты что, с ума сошел? — спросил я. — В голове совсем пусто, что ли? Даже не думай. Ни за что.

Арт достал из кармана оранжевый мелок.

«Ну можно мне хотя бы взглянуть».

Я раскрыл ножик. Арт уставился на него, широко раскрыв глаза. Вообще-то он на все смотрел широко раскрытыми глазами. Его глаза были сделаны из двух кусочков блестящего пластика, приклеенных на лицо. Он не мог ни мигать, ни моргать, ничего. Но сейчас он смотрел иначе, чем обычно. Я видел, что он буквально заворужен.

Он написал:

«Я буду очень осторожен, клянусь, *пожалуйста!*»

И я дал ему ножик. Он вдавил кнопку, и лезвие скрылось в рукоятке. Потом он снова нажал на кнопку, и лезвие выскочило наружу. Арт, подрагивая, взирал на это чудо в своей руке. Потом, без всякого предупреждения, он бросил нож в стену. Конечно, нож не вошел в пробку острием. Для этого требуется практика, которой у Арта не было, и координация, которой, если говорить честно, у него никогда не будет. Ножик ударился о стену и полетел обратно, прямо в Арта. Он подпрыгнул в воздух так быстро, что я подумал: это из его тела вылетела душа. Нож приземлился в точке, где только что стоял Арт, и отскочил куда-то под кровать.

Я сдернул Арта с потолка. Он написал:

«Ты был прав, я вел себя по-дурацки. Я неудачник — ничтожество».

— Кто бы сомневался, — сказал я.

Но он не был ни неудачником, ни ничтожеством. Вот мой отец — он неудачник. Одноклассники — ничтожества. Арт же совсем другой. Он душевный. Просто ему хотелось, чтобы его любили.

А еще — и это абсолютная правда — он был самым безвредным человеком на свете из всех, кого я знал. Он не только «и мухи не обидел», как говорится, — он попросту *не мог* ее

обидеть. Если бы он прихлопнул муху, а потом поднял бы ладонь, то муха полетела бы дальше, живая и невредимая. Он был как святой из библейской истории — один из тех, что исцеляли покалеченных и больных людей наложением рук. Ну, сами знаете, как там в библейских историях. Люди, подобные ему, долго не живут. Неудачники и ничтожества вбивают в них гвозди и смотрят, как выходит воздух.

В Арте было нечто особенное, что-то невидимое и особенное, и за это, разумеется, другим детям очень хотелось пнуть его под зад. В нашей школе он появился недавно. Его родители только что переехали. Они были нормальные, наполненные кровью, а не воздухом. Заболевание Арта было одной из тех генетических штучек, что играют в «классики» с поколениями в семье, вроде болезни Тэя-Сакса.¹ (Арт написал мне однажды, что у него был двоюродный дед, тоже надувной. Он однажды упал на кучу опавших листьев и лопнул, наткнувшись на зубья грабеля.) В тот день, когда Арт появился у нас впервые, миссис Гэннон поставила его у доски и все о нем рассказала, пока он стоял, смущенно свесив голову.

Он был белым. Именно *белый*, как зефир или Каспер. Вокруг его головы и дальше по бокам бежал выпуклый шов. А под мышкой был пластиковый ниппель, и через него можно было подкачать воздух.

Миссис Гэннон предупредила класс, что нам ни в коем случае нельзя бегать с ножницами или ручками в руках. Любой прокол способен убить Арта. И он не умеет говорить. Поэтому все должны вести себя с ним очень деликатно. Среди его интересов были астронавтика, фотография и романы Бернарда Маламуда.²

Закончив свою речь, миссис Гэннон легонько сжала плечо нового ученика, чтобы подбодрить его, и послышалось нежное посвистывание. Это был единственный способ, каким Арт производил звуки. Сгибая тело или конечности, он поскрипывал. Когда его сжимали другие люди, раздавался негромкий музыкальный свист.

Неуклюжими прыжками он проковылял между партами и сел на свободное место рядом со мной. Билли Спирс, сидящий прямо за ним, весь урок бросал в голову Арта кнопки. Сначала Арт делал вид, будто ничего не замечает. Потом, когда миссис Гэннон отвернулась, он послал Билли записку. Там говорилось:

«Пожалуйста, перестань! Я ничего не хочу говорить миссис Гэннон, но кнопки опасны для меня. И это *не* шутка».

В ответ Билли написал:

«Только попробуй нажаловаться. Того, что от тебя останется, не хватит даже на заплатку для велосипедной шины. Запомни».

В дальнейшем жизнь Арта не стала легче. В кабинете биологии Арта посадили к Кассиусу Деламитри. Кассиус, толстый парень с пухлым насупленным лицом и неприятной порослью черных волосков над недовольно поджатыми губами, остался в шестом классе на второй год.

Темой лабораторных занятий была дистилляция древесины, что связано с открытым пламенем. Работу делал Кассиус, а Арт наблюдал и подбадривал напарника записками: «Неужели в прошлом году тебе за этот эксперимент поставили «Д»? Не могу поверить. У тебя здорово получается!» и «Родители купили мне набор химика на день рождения. Хочешь, заходи, поиграем в сумасшедших ученых или во что-нибудь еще?»

Три-четыре подобные записки навели Кассиуса на мысль, что Арт, по-видимому, гомик... особенно приглашение зайти в гости и поиграть в доктора или что-то в этом роде. Когда учитель отвлекся, помогая другим ребятам, Кассиус засунул Арта под стол и обмотал его вокруг ножки стола, завязав в один скрипучий узел голову, руки, ноги и все тело. Когда мистер Мильтон спросил, куда подевался Арт, Кассиус сказал: кажется, пошел в туалет.

¹ Болезнь Тэя-Сакса — заболевание центральной нервной системы, обусловленное генетической мутацией.

² Бернард Маламуд (1914–1986) — американский писатель, автор психологических романов, нередко с трагикомическими интонациями.

— В туалет? — переспросил мистер Мильтон. — Какая радость. Я даже не знал, что бедняга *может* ходить в туалет.

В другой раз Джон Эриксон во время перемены прижал Арта к полу и несмываемым фломастером написал на его животе «КАЛАПРЕЕМНИК». Надпись стерлась только к весне.

«Хуже всего, что эту надпись увидела моя мама. Она узнала, что в школе надо мной каждый день издеваются. Но больше всего ее расстраивают ошибки».

Он добавил:

«Не знаю, чего она ожидала — это же шестой класс. Разве она не помнит своего шестого класса? И если быть реалистом — много ли шансов, что тебя побьет школьный чемпион по правописанию?»

— Если судить по тому, как идут дела, — ответил я, — то шансов немало.

Вот как мы с Артом подружились.

На переменах я всегда в одиночестве сидел на турнике в конце игровой площадки за школой и читал спортивные журналы. В те годы я старательно создавал себе репутацию нарушителя дисциплины и, возможно, продавца наркотиков. Чтобы поддерживать этот имидж, я носил черную джинсовую куртку, ни с кем не разговаривал и ни с кем не дружил.

Сидя на верхней перекладине (турник имел форму полусферы), я возвышался над асфальтом на добрые девять футов и хорошо видел весь школьный двор. Однажды я следил за тем, как Билли Спирс вместе с Кассиусом Деламитри и Джоном Эриксоном валяют дурака. У Билли был пластиковый мяч и бита, и они пытались попасть мячиком в открытое окно на втором этаже. Через пятнадцать минут безнадежных промахов Джону Эриксону наконец повезло, и мячик залетел в пустой класс.

Кассиус сказал:

— Черт, что же делать? Нам нужен другой мяч.

— Эй, — заорал Билли, — смотрите! Арт!

Они поймали Арта, обычно державшегося в сторонке, и Билли начал подбрасывать его в воздух и ударять по нему битой, чтобы понять, как далеко он полетит. При каждом ударе биты тело Арта издавало глухой звук: «Бум!» Он взлетал в воздух и некоторое время парил, плавно опускаясь вниз. Как только его ноги касались земли, он бросался наутек, но бежать никогда не был сильной стороной Арта. Джон и Кассиус присоединились к веселью: они стали поддавать надувное тело ногами, как футбольный мяч, соревнуясь, кто забросит его выше.

Подбрасывая Арта, они постепенно переместились в конец площадки, к турникам. Арт на какой-то миг вырвался из их рук и втиснулся между перекладинами внутрь того самого турника, где сидел я. Билли догнал его и наподдал ему под зад битой.

Арт поднялся в воздух и долетел до вершины полусферы. Когда его пластиковое тело коснулось стальных перекладин, оно пристало к ним, лицом кверху. Статическое электричество.

— Эй! — крикнул Билли. — Столкни-ка его!

До этого момента я никогда не оказывался лицом к лицу с Артом. Хотя мы были в одном классе и на уроках миссис Гэммон даже сидели за одной партой, мы еще не обменялись и парой фраз. Он смотрел на меня большими глазами на печальном гладком лице, а я смотрел на него. Он нащупал блокнотик, висящий на шнурке, нацарапал светло-зеленым мелком записку, вырвал лист и протянул мне:

«Мне все равно, что они делают, но не мог бы ты уйти? Мне неприятно, когда меня бьют на виду у других».

— Чего он там пишет? — крикнул снизу Билли.

Я перевел взгляд с записки мимо Арта на собравшихся внизу мальчишек. И вдруг я ощутил их запах — влажный, *человеческий* запах, кислую вонь пота. Меня чуть не стошнило прямо на них.

— Чего пристали к человеку? — спросил я.

Билли ответил:

— Да так, мозги ему вправляем.

— Хотим посмотреть, высоко ли он может летать, — сказал Кассиус. — Давай слезай. Можешь тоже попробовать. Мы его сейчас на самую крышу зафигачим!

— Я придумал кое-что покрутее, — сказал я. «Покрутее» — отличное слово, если хочешь внушить другим ребятам, что ты умственно отсталый психопат. — Давай посмотрим, высоко ли ты полетишь, если пнуть твою жирную задницу!

— Ты че? — спросил Билли. — Обкурился, что ли?

Я схватил Арта и прыгнул вниз. Кассиус побледнел. Джон Эриксон попятился. Я держал Арта под мышкой, ногами вперед, головой назад.

— Вы полные придурки, — сказал я.

Бывают моменты, когда не до острот.

И я отвернулся от них. У меня на шее волоски встали дыбом при мысли о том, что бита Билли вот-вот впечатается мне в затылок. Но он ничего не сделал, позволив мне уйти.

Мы вышли на бейсбольное поле, уселись на горку питчера. Арт написал мне одну записку «Спасибо». И вторую, где говорил, что я не должен был делать того, что сделал, но он рад, что я сделал это. В третьей он сообщил, что с него причитается. Прочитав, я сунул все записки в карман, не знаю зачем. В тот вечер, один в своей комнате, я вытащил из кармана комочек мятой бумаги размером с лимон, осторожно развернул записки, расправил их и положил на кровать, чтобы перечитать. У меня не было никаких причин хранить их, но я так и не выбросил эти листки. Так началась моя коллекция. Словно в глубине души я уже знал, что мне захочется иметь какую-то память об Арте, когда его не станет. За год я собрал сотни его записок, некоторые — в несколько слов, но было и несколько манифестов по пять-шесть страниц. Они все до сих пор целы: от той первой, начинавшейся словами: «Мне все равно, что они делают», — и до самой последней. Она заканчивается вот так: «Я хочу узнать, правда ли это. Правда ли, что небо на самом верху открывается».

Отцу Арт сначала не понравился. Потом, узнав его получше, отец возненавидел моего нового друга.

— И чего он все время так семенит? — спрашивал отец. — Он голубой, что ли?

— Нет, пап. Он надувной.

— А ведет себя как гомик, — сказал он. — Ты поосторожнее, лучше не тереться об него в твоей комнате.

Арт пытался понравиться, он старался установить дружеские отношения с моим отцом. Но все, что он делал, воспринималось искаженно; все, что он говорил, толковалось превратно. Как-то раз отец сказал, что ему нравится какой-то фильм. Арт написал ему записку о том, что книга, по которой этот фильм поставлен, еще лучше.

— Он считает меня неграмотным, — заявил отец, как только Арт ушел.

В другой раз Арт заметил кучу старых шин за нашим гаражом и сообщил моему отцу о том, что в местном гипермаркете сейчас идет акция: принимают старые шины и дают за них двадцатипроцентную скидку на новые.

— Он думает, будто мы нищие побирušки, — пожаловался отец, даже не дождавшись, когда Арт выйдет из комнаты.

Однажды мы с Артом после уроков пришли ко мне и увидели: отец, как всегда, сидел перед телевизором, а у его ног расположился питбуль. Пес взвился с места, зашелся истеричным лаем и бросился на Арта. Собачьи когти с противным скрипом скользнули по пластиковой груди. Арт оперся о мое плечо и оказался в воздухе. Он умел прыгать — если было нужно. Он схватился за вентилятор под потолком — выключенный — и так и висел на одной из лопастей, а под ним скакал и лаял обезумевший питбуль.

— Что это, черт возьми? — спросил я.

— Наша новая собака, — ответил отец. — Ты же всегда хотел завести собаку.

— Но не такую, которая ест моих друзей.

— Слезь с вентилятора, Арти. Он не приспособлен для того, чтобы на нем висели.

— Это не собака, — сказал я. — Это блендер с зубами.

— Слушай, придумаешь ему имя? — предложил отец. — Или я сам?

Мы с Артом спрятались в моей комнате и стали придумывать клички.

— Снежинка, — говорил я. — Пирожок. Солнышко.

«А как тебе Счастливчик? В этом что-то есть, а?»

Мы шутили, но Счастливчик был настроен весьма серьезно. Всего за одну неделю у Арта случились три смертельно опасных столкновения с кошмарной отцовской собакой.

«Если он доберется до меня, мне конец. Он продырявит меня, как сито».

Но оказалось, что Счастливчика невозможно приучить ходить в туалет в положенном месте. Он предпочитал гадить в гостиной, где его дерьмо было трудно заметить на зеленовато-коричневом ковре. Однажды отец вляпался босой ногой в свежую кучку, и у него слегка поехала крыша. С молотком для крокета он по всему дому гонялся за Счастливчиком, пробил в стене дыру и разбил пару тарелок на кухне.

Буквально на следующий день во дворе появились загон и цепь. Туда отправился Счастливчик, и там он и остался.

Но Арт все равно боялся приходить ко мне и предпочитал, чтобы мы встречались у него. Мне это казалось глупым. От школы до его дома было очень далеко, а мой дом — вот он, за углом.

— Чего ты боишься? — спрашивал я его. — Пес в загоне. Уж не думаешь ли ты, что у него хватит ума самому открыть калитку?

Арт так не думал... и все-таки с тех пор он крайне редко бывал у меня, а если и приходил, то всегда имел при себе на всякий пожарный случай пару резиновых заплаток для велосипедных шин.

Потом мы начали ходить домой к Арту, и это быстро вошло в привычку. Я уже удивлялся, почему раньше так звал друга к себе. Путь до его дома оказался не таким уж долгим — я проделал его столько раз, что перестал замечать длину дороги. Я уже ждал минуты, чтобы отправиться в ежедневный поход по кривым пригородным улочкам, мимо домов, выкрашенных в пастельные тона диснеевских мультфильмов — лимонные, апельсиновые, пепельные. Преодолевая расстояние между нашими домами, я как будто двигался в сторону все более стройного порядка и все более глубокой тишины. Сердцем этого покоя был дом Арта.

Арт не мог бегать, разговаривать и приближаться к предметам с острыми краями, но в его доме мы всегда находили чем заняться. Мы смотрели телевизор. В отличие от других детей я не очень много знал про телепередачи. Мой отец, как я уже упоминал, страдал от сильных мигреней. Он жил на пособие по нетрудоспособности, проводил все свое время дома в гостиной, целыми днями глядя на экран. Порой он следил за развитием событий в пяти разных сериалах. Я старался по возможности не мешать ему и очень редко садился рядом с ним посмотреть телевизор — я чувствовал, что он хочет сосредоточиться, а мое присутствие отвлекает его.

Арт согласился бы смотреть что угодно по моему выбору, но я не умел обращаться с пультом дистанционного управления. Я не мог ничего выбрать — не знал как Арт же увлекался космическими полетами, и поэтому мы смотрели все передачи, имеющие отношение к космосу, и не пропустили ни одного запуска ракеты. Он писал:

«Хочу стать астронавтом Мне будет очень легко адаптироваться к невесомости. Я ведь *уже* почти невесомый».

Тогда на орбите как раз строили международную станцию. Мы слушали о том, как тяжело обходится человеку длительное пребывание вне Земли. Мышцы атрофируются. Размер сердца уменьшается в три раза.

«Все больше доводов в пользу того, чтобы отправить в космос именно меня. У меня нет мышц, поэтому они не атрофируются. У меня нет сердца, поэтому оно не уменьшится в

размерах. Говорю тебе, я — идеальный астронавт. Я *создан* для орбиты».

— Я знаю парня, который с радостью тебе поможет. Дай мне пару секунд, я звякну Билли Спирсу. У него есть ракета, которую он просто мечтает засунуть тебе в зад. Я слышал, как он это говорил.

Арт угрюмо взглянул на меня и ответил запиской в три слова.

Но мы не всегда могли в свое удовольствие валяться на полу перед телевизором. Отец Арта был преподавателем музыки, он учил малышей играть на пианино, а инструмент стоял в гостиной, где и телевизор. Если у мистера Рота был урок, нам приходилось занимать себя чем-то другим. Обычно мы уходили в комнату Арта поиграть на компьютере, но через двадцать минут неуверенных, сбивчивых «до-до, ре-ре, ми-ми», доносящихся сквозь стену, мы не выдерживали и, обменявшись красноречивыми взглядами, без лишних слов вылезали через окно на улицу.

Родители Арта были музыкантами. Его мать играла на виолончели. Они мечтали, чтобы Арт тоже занялся музыкой, но их старания с самого начала были обречены на неудачу. Арт однажды написал мне про это.

Пианино отпало сразу: у Арта не было пальцев, кроме одного большого, и мягкая подушка-ладонь. С такими руками годы упорных занятий ушли бы только на то, чтобы научиться разборчиво писать. Духовые инструменты также исключались — легких у Арта тоже не было, он не дышал. Он пытался научиться играть на барабанах, но он не обладал достаточной силой, чтобы как следует бить палочками.

Тогда мать купила ему цифровую фотокамеру.

— Создавай музыку из света, — сказала она. — Твори мелодии из цветов.

Миссис Рот в любой момент могла сказать что-нибудь в этом духе. Она говорила о единстве мира, о врожденной порядочности деревьев или о том, что слишком немногие люди ценят запах свежескошенной травы. Арт рассказывал мне, что, когда меня не было, она расспрашивала про меня. Ее беспокоило отсутствие у меня здорового выхода для творческой энергии. Она считала, что я нуждаюсь в питании для внутреннего «я». Она подарила мне книгу об изготовлении оригами, хотя до дня моего рождения было далеко.

— Я и не знал, что мое внутреннее «я» хочет есть, — сказал я Арту.

«Потому что оно давно умерло от голода», — написал в ответ Арт.

Она встревожилась, узнав, что я далек от какой бы то ни было религии. Отец не водил меня в церковь, не посылал в воскресную школу. Он считал религию жульничеством. Правила вежливости не позволяли миссис Рот говорить при мне то, что она думает о моем отце, но с Артом она делилась своим мнением, а он потом передавал ее слова. Так вот, Арту она сказала, что если бы мой отец пренебрегал моим физическим здоровьем так же, как он пренебрегает состоянием моей души, то его давно посадили бы в тюрьму, а меня отдали бы на воспитание в другую семью. И еще она сказала, что в таком случае она усыновила бы меня, и я мог бы жить в их комнате для гостей. Я любил ее, меня переполняло счастье каждый раз, когда она спрашивала, не хочу ли я стакан лимонада. Я бы все для нее сделал, стоило ей только пожелать.

— Твоя мать — тупица, — говорил я Арту. — Полная идиотка. Надеюсь, ты это знаешь. Не существует никакого единства. Каждый сам за себя. А тот, кто думает, что все мы братья по духу, на перемене оказывается под жирной задницей Кассиуса Деламитри и нюхает его вонючее хозяйство.

Миссис Рот хотела сводить меня в синагогу — не с целью обратить в иудейство, а просто для общего образования, познакомить с другими культурами и все такое. Но отец Арта остановил ее. Он сказал:

— Так нельзя, это не наше дело. Ты что, с ума сошла?

На заднем стекле ее автомобиля был наклеен спикер со звездой Давида и словом «Гордость!» с большим восклицательным знаком.

— Послушай, Арт, — сказал я в другой раз. — У меня к тебе еврейский вопрос. Если я правильно понимаю, ты и твои предки — закоренелые евреи, верно?

«Вряд ли нас можно назвать «закоренелыми» евреями. В целом мы довольно спокойно относимся к религии. Но в синагогу ходим и отмечаем некоторые праздники».

— Я слышал, что все евреи обязаны подрезать концы, — сказал я, ухватив себя за пах. — Ради веры. А вот ты...

Но Арт уже писал:

«Нет, мне не обязательно. Мои родители дружили с одним прогрессивным раввином. Они спросили его об этом сразу, как только я родился. Чтобы узнать, какова официальная позиция церкви на этот счет».

— И что он сказал?

«Сказал, что официальная позиция делает исключение для всех, кто во время процедуры обрезания может взорваться. Сначала родители решили, что он шутит, но потом мама исследовала эту тему и выяснила, что с точки зрения талмуда я действительно чист. Мама говорит: чтобы обрезать крайнюю плоть, нужно как минимум иметь *плоть*. А если ее нет, то и обрезать не надо».

— Надо же, — заметил я. — Я-то думал, твоя мать и не знает, что такое член. А теперь оказывается, что она отлично в них разбирается. Она, можно сказать, эксперт в этом вопросе. Все-таки я ни черта не разбираюсь в людях. Кстати, если у нее возникнет желание провести еще какое-нибудь исследование, у меня есть для нее весьма необычный образец.

Арт ответил, что в данном случае понадобится микроскоп, а я сказал, что ей придется отойти ярда на три-четыре, когда я расстегну штаны, и прочее в том же духе. Вы сами знаете, какие разговоры ведут двенадцатилетние мальчишки. Я издевался над матерью Арта при любой возможности, не в силах справиться с собой. Как только за ней закрывалась дверь, я принимался острить, шептал вслед, что для такой старой шлюхи корма у нее совсем неплоха, или спрашивал, что сказал бы Арт, если бы я женился на ней после смерти его отца. Арт же никогда не шутил над моим отцом. Если у него возникало желание поддеть меня, то он смеялся над моей привычкой облизывать пальцы после еды или над тем, что иногда я носил непарные носки. Несложно понять, почему Арт не упражнялся в остроумии по поводу моего отца в ответ на мои нападки. Если ваш лучший друг некрасив — я имею в виду, по-настоящему некрасив, если он *урод*, — вы не станете шутить на тему содрогающихся от ужаса зеркал. В дружбе, особенно в дружбе мальчишек, вам позволено причинять друг другу некоторую боль. Этого от вас даже ожидают. Но наносить серьезные раны нельзя. Ни при каких обстоятельствах не наносите ударов, после которых остаются шрамы.

Уроки мы тоже теперь делали в доме Артура. С наступлением вечера мы шли к нему в комнату. Ученики его отца к тому времени уже расходились по домам, так что треньканье в гостиной нам больше не мешало. Я с удовольствием занимался у Арта: в тишине мне хорошо думалось, и очень приятно было сидеть в окружении книг (у Арта было множество книг, полки тянулись вдоль всех стен). Точнее было бы сказать, что мне нравились наши совместные занятия, но в то же время я опасался их. Именно в эти часы — в атмосфере сосредоточенного покоя — Арт чаще всего заговаривал о смерти.

Когда мы беседовали, я всегда старался контролировать ход разговора, но Арт был скользким и мог приплести смерть к чему угодно.

— Представляешь, какой-то араб *изобрел* ноль, — сказал я в один из таких вечеров. — Странно, правда? Ноль пришлось придумывать.

«Потому что это неочевидно — что ничто может быть чем-то. И это что-то невозможно измерить или хотя бы увидеть, но при этом оно существует и имеет значение. То же самое и с душой, если задуматься».

— Верно ли, — спросил я в другой раз, когда мы готовились к контрольной работе по естествознанию, — что энергия не исчезает, а просто переходит из одного состояния в другое?

«Надеюсь, это верно — это может быть хорошим доводом в пользу того, что мы продолжаем существовать и после смерти, даже если превращаемся в нечто абсолютно иное,

чем были при жизни».

Он часто говорил о смерти и о том, что может последовать за ней, но лучше всего я запомнил его слова про Марс. Нам задали подготовить проект для научной выставки, и Арт выбрал Марс в качестве темы для нашей совместной работы. Мы исследовали, возможна ли его колонизация землянами. Арт всей душой был за колонизацию, он с энтузиазмом описывал города под пластмассовыми тентами и добычу воды из льда на полюсах. Он и сам хотел участвовать во всем этом.

— Фантазии — это хорошо, — возражал я. — Придумывать и мечтать легко. Но в реальности твой Марс — сущий ад. Пыль. Дикий мороз. Все красное. Да ты ослепнешь, если будешь смотреть на эту красноту. На самом деле тебе не захочется лететь туда — пришлось бы навсегда оставить этот мир и никогда сюда не возвращаться.

Арт долго смотрел на меня, потом склонил голову и мелком лазурного цвета написал короткую записку:

«Но, так или иначе, мне придется это сделать. И не только мне — всем».

Потом он добавил:

«Мы все станем астронавтами, хотим мы этого или нет. Мы все оставим нашу жизнь ради мира, о котором ничего не знаем. Таковы правила игры».

Весной Арт придумал игру под названием «Спутник в небе». В центре города был магазин, где продавались наполненные гелием воздушные шары — бушель за четвертак. Я покупал целую связку, а потом встречался с Артом в условленном месте. Он приносил фотоаппарат.

Я передавал ему шары, и он тут же отрывался от земли и медленно взмывал в воздух. Когда он набирал достаточную высоту, его подхватывал ветер и нес вверх и вдаль. Чтобы остановиться на нужной высоте, Арт отпускал несколько шаров и начинал фотографировать. А когда решал, что пора на землю, отпускал еще несколько шариков. Я встречался с ним в месте посадки, и мы отправлялись к нему, чтобы смотреть на компьютере полученные фотографии. На этих снимках люди купались в своих бассейнах, чинили крыши, я стоял на пустых улицах, задрав голову к небу (на коричневом пятне лица мои черты были неразличимы). И почти всегда в кадр попадали болтающиеся ноги Арта.

Самые интересные снимки получались, когда Арт делал их с небольшой высоты, в нескольких футах от земли. Однажды он на трех шарах проплыл мимо моего дома, прямо над загоном Счастливого. Счастливчик целыми днями сидел там и иступленно лаял на проходивших мимо забора женщин с колясками, на грузовичок мороженщика, на белок. Все пространство внутри загона он вытоптал, превратив газон в глинистое месиво, и усеял кучками дерьма. В этом жутком коричневом ландшафте он и пребывал, и на каждой фотографии Арта пес стоял на задних лапах, разинув розовую пасть и устремив взгляд на кроссовки Арта.

«Бедняга. В каких условиях ему приходится жить».

— Да высунь же свою башку из задницы! — сказал я. — Если бы существа вроде Счастливого вырвались на свободу, они бы изгадили все, а не только свой загон. Он не хочет жить по-другому. Дерьмо и грязь — для него это воплощение райского сада.

«Я КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен».

Так написал Арт, но моя точка зрения по данному вопросу не смягчилась и по прошествии времени. Я твердо уверен: как правило, существа вроде Счастливого — я говорю и о собаках, и о людях — слишком часто оказываются на воле, а их идеал — мир грязи и фекалий. Там нет места Арту и подобным ему людям, нет места разговорам о книгах, о Боге или о вселенных за пределами нашей вселенной, а единственное средство общения — истерический лай голодных и обозленных псов.

Как-то в апреле, в субботу утром отец распахнул дверь моей комнаты и швырнул в меня

кроссовками, чтобы я просыпался.

— Через полчаса ты должен быть у зубного. Шевелись.

Я пошел туда пешком — это всего в нескольких кварталах — и просидел в приемной уже минут двадцать, изнемогая от скуки, как вдруг меня пронзило: я же обещал Арту, что прямо с утра приду к нему! Медсестра в приемной разрешила мне позвонить со служебного телефона.

Трубку сняла его мама.

— Он только что ушел к тебе, — сказала она мне.

Я позвонил отцу.

— Никто не приходил, — буркнул он. — Во всяком случае, я не видел.

— Поглядывай, ладно?

— Еще чего. У меня болит голова. Арт, надеюсь, догадается позвонить в дверь.

Я сидел в зубо врачебном кресле, широко разинув рот, весь в слюне и крови, и старался совладать с тревогой и нетерпением. Я не очень-то рассчитывал на то, что отец в мое отсутствие вежливо обойдется с Артом. Ассистентка врача все время гладила меня по плечу и просила расслабиться.

Когда меня наконец отпустили и я выскочил на улицу, меня поначалу ошеломила глубина и яркость неба. Солнечный свет резал глаза. Я встал два часа назад, но чувствовал себя вялым и не вполне проснувшимся, словно голова набита ватой. Я побежал.

Первое, что я заметил еще с тротуара, — Счастливчик выбрался из загона. Я подошел, и он даже не тявкнул. Он лежал на брюхе, положив голову между вытянутыми лапами. Приподняв тяжелые веки, он взглянул на меня, потом снова сомкнул их. Калитка загона была распахнута.

Я пытался разглядеть, не лежит ли он на куче измочаленного пластика, и вдруг различил слабый стук. Повернув голову, я увидел, что на заднем сиденье отцовского микроавтобуса сидит Арт и стучит ладошками по стеклу. Я подошел и открыл дверцу. В тот же момент раздался бешеный лай, и с газона к нам бросился Счастливчик. Обеими руками я схватил Арта, развернулся и помчался со двора. Клыки пса сомкнулись на моей штанине. Я услышал звук рвущейся ткани, споткнулся, но сумел не упасть и побежал дальше.

Я не останавливался до тех пор, пока в боку не закололо. Оглянувшись — никакая собака за нами не гналась, по крайней мере, в зоне видимости никого не было. Увидев подходящий забор, я перемахнул через него, даже не думая о том, что лезу в чужой двор. Одна из штанин оказалась разорванной от колена до щиколотки. Потом я взглянул наконец на Арта. Его вид чуть не разорвал мне сердце. Задышавшись после бега, я смог только тоненько и жалобно скрипнуть пересохшим горлом — такой звук обычно производит Арт.

Его тело потеряло зефирную белизну и приобрело золотисто-коричневый оттенок — цвет поджаренного тоста. Арт сдулся примерно до половины своего обычного объема. Подбородок его лежал на груди. Он не мог поднять голову.

Арт пересекал лужайку перед нашим домом, когда Счастливчик выскочил из своего укрытия в зарослях кустов. В тот критический момент Арт понял, что он не в силах убежать от нашей собаки. Побег приведет только к одному: его задницу быстро раздерут в клочья. Поэтому он не бросился наутек, а вскочил в микроавтобус моего отца и захлопнул дверь.

Окна управлялись электрическим приводом, поднять стекла вручную было невозможно. Какую бы дверь Арт ни приоткрывал, Счастливчик тут же пытался просунуть в щель свою морду. Снаружи машины было двадцать градусов, а внутри — за сорок. Арт с тяжелым сердцем смотрел, как Счастливчик плюхнулся на траву перед автомобилем.

Арт сидел внутри. Счастливчик не двигался. Где-то неподалеку гудели газонокосилки. Время шло. От перегрева Арт начал сдуваться. Он чувствовал себя плохо. Пластик его кожи стал прилипать к сиденью.

«Потом появился ты. Вовремя. Ты спас мне жизнь».

Я читал, а буквы перед глазами расплывались. На записку капали слезы. Я не успел — я пришел слишком поздно.

Арт так и не поправился. Его кожа навсегда осталась желтоватой, он все время сдувался. Родители надували его, и некоторое время он был в порядке, пухлый от кислорода внутри, но быстро становился мягким и вялым. Врач, лишь взглянув на Арта, посоветовал родителям не откладывать поездку в Диснейленд на следующий год.

Я тоже изменился. У меня пропал аппетит и начали мучить частые неожиданные боли в животе. Я стал мрачным и несчастным.

— Хватит кукситься, — сказал мне как-то за ужином отец. — Жизнь продолжается. Надо справляться с неприятностями.

Я и справлялся. Я знал, что калитка в загоне Счастливики открылась не сама. Я продырявил шины микроавтобуса своим складным ножом и оставил нож торчать в резине, чтобы отец не сомневался насчет того, кто это сделал. Он вызвал полицейских, и они сделали вид, будто арестовывают меня. Мы поехали в патрульной машине по нашему району, и полицейские говорили со мной «по-мужски». Потом они сказали, что отвезут меня домой, если я обещаю «держать себя в рамках».

На следующий день я запер Счастливику в микроавтобусе, и он обгадил водительское сиденье. Тогда отец собрал все книги, что я читал с подачи Арта, — Бернард Маламуд, Рэй Брэдбери, Исаак Башевис Зингер — и сжег их на садовом гриле.

— Ну и как тебе это нравится, умник? — спросил он меня, поливая книги жидкостью для розжига.

— Мне-то что, — сказал я. — Они записаны на твой абонемент.

В то лето я часто оставался у Арта на ночь. «Не злись. В этом никто не виноват». Так писал Арт.

— Вынь свою башку из задницы, — отвечал я, но продолжать не мог, потому что при одном только взгляде на него у меня на глаза наворачивались слезы.

В конце августа он позвонил мне. Скарсвел-коув, где он назначил мне встречу, был в четырех милях ходьбы через холмы, но за месяцы прогулок от школы до дома Арта я перестал бояться расстояний. По его просьбе я нес с собой воздушные шары.

Скарсвел-коув — это уединенный галечный пляж на море, куда люди приходят постоять в прибое и порыбачить. В тот день там не было никого, кроме двух престарелых рыбаков. Арт сидел на берегу. Его тело обмякло и поникло, голова упала вперед и слабо покачивалась на несуществующей шее. Я сел рядом с ним. В полумиле от нас взбивались в ледяную пену темно-синие волны.

— Что-то случилось? — спросил я.

Арт наклонил голову еще ниже. Подумал немного. Потом начал писать:

«Ты знаешь, что люди сумели добраться до ближнего космоса без ракет? Чак Йигер¹ улетел на скоростном самолете так высоко, что начал падать — падать *вверх*, а не вниз. На той высоте гравитация не действовала на самолет, и он начал вылетать из стратосферы. А небо стало бесцветным. Как будто голубое небо — это лист бумаги, в центре которого выжгли дыру, а за той дырой — сплошная чернота. И все в звездах. Только вообрази себе, каково это — падать ВВЕРХ».

Я прочитал записку и поднял взгляд на Арта. Он уже писал новую. Вторая записка была попроще:

«С меня хватит. Серьезно — больше не могу. Я сдуваюсь пятнадцать-шестнадцать раз за день. Каждый час меня нужно подкачивать. Я все время плохо себя чувствую, и мне это ужасно надоело. Это не жизнь».

— Нет, — пробормотал я. В глазах у меня защипало. Набухли и покатались по щекам слезы. — Ты поправишься.

«Я так не думаю. И вопрос не в том, умру ли я. Вопрос в том — где. И я решил. Хочу проверить, высоко ли я смогу взлететь. Хочу узнать, правда ли это. Правда ли, что небо на

¹ Чак Йигер — американский военный летчик-испытатель, в 1947 году впервые превысивший скорость звука в горизонтальном полете.

самом верху открывается».

Не помню, что еще я ему говорил. Много всякого, наверное. Я просил его не делать этого, просил не бросать меня. Говорил, что это несправедливо, что у меня нет друзей, кроме него. Говорил, что я навсегда останусь одиноким. Я говорил и говорил, пока мои просьбы не переросли в невнятные беспомощные всхлипы. Он обнял меня своими мягкими пластиковыми руками и держал, пока я плакал, уткнувшись лицом ему в грудь.

Потом он забрал у меня шары и обвязал нитки вокруг одного запястья. Я взял его за другую руку, и мы дошли до края воды. Прибой замочил мои кроссовки. Море было таким холодным, что у меня заныли кости ног. Я приподнял Арта и крепко сжимал его обеими руками, пока он не пискнул печально. Мы застыли в прощальном объятии. И затем я развел руки. Я отпустил его. Надеюсь, что в ином мире, если он существует, нас не будут судить слишком строго за поступки, совершенные на этой земле, — по крайней мере, простят нам ошибки, сделанные из любви. Я не сомневаюсь, что это грех — позволить такому человеку уйти.

Он поднялся, и воздушный поток развернул его так, что он смотрел на меня, взлетая все выше и выше над волнами, с левой рукой, вытянутой вверх привязанными к запястью шариками. Его голова свисала под таким углом, что казалось, будто он изучает меня.

Я сидел на берегу и смотрел, как он улетает. Я смотрел до тех пор, пока не перестал отличать его от чаек, круживших над водой в нескольких милях от берега. Он стал еще одной черной точкой в небе. Я не двигался. Я не знал даже, смогу ли я встать. В конце концов горизонт окрасился розовым, а голубизна над моей головой потемнела. Я откинулся на спину. На черное безбрежье неба высыпали звезды. Я наблюдал за ними так долго, что у меня закружилась голова, и я вообразил, как отрываюсь от земли и падаю вверх, прямо в ночь.

Я стал нервным. В школе снова начались занятия, и вид пустого места за партой вызывал у меня слезы. Я не в состоянии был отвечать на вопросы учителей, перестал, делать домашние задания. Меня оставили на второй год.

Еще хуже было другое: никто уже не верил, что я опасен. Оно и понятно — человека, рыдающего у всех на глазах, невозможно бояться. Складного ножа у меня больше не было, его забрал отец.

Однажды после уроков Билли Спирс избил меня — расквасил нос, чуть не выбил зуб. Потом Джон Эриксон прижал меня к полу и несмываемым фломастером написал у меня на лбу: «КАЛАПРЕЕМНИК». Он так и не научился писать это слово правильно. В другой раз Кассиус Деламитри спрятался в кустах и набросился на меня, когда я проходил мимо, сбил с ног своим весом и уселся сверху. Он так меня сплющил, что выдавил из моих легких весь кислород. Я был побежден путем травли воздуха; Арт понял бы это.

Родителей Арта я избегал. Больше всего на свете мне хотелось повидать его мать, но я не мог. Я боялся, что если заговорю с ней, то все расскажу: что я был с ним, что я держал его и отпустил. Я боялся увидеть ее глаза. Боялся ее боли и гнева.

Через шесть месяцев после того, как сдувшееся тело Арта нашли в полосе прибоя на пляже Норт-Скарсвелл, перед домом Ротов появилась табличка «ПРОДАЕТСЯ». Больше родителей Арта я никогда не видел. Миссис Рот иногда писала мне, спрашивала, как мои дела, но я ни разу не ответил. Свои письма она заканчивала словами: «С любовью».

В старших классах я занялся легкой атлетикой и очень преуспел в прыжках с шестом. Мой тренер говорил, что законы гравитации на меня не действуют. Он ни хрена не знал о законах гравитации. Как бы высоко я ни взлетал на миг или два, в конце концов я всегда падал вниз, как и все остальные.

Прыжки с шестом принесли мне место в государственном колледже. Там я держался особняком. В колледже меня никто не знал, и я смог восстановить давно утерянный имидж социопата. Я не ходил на вечеринки. Я никому не назначал свидания. Я не желал ни с кем знакомиться.

Как-то утром я шел по студенческому городку. Навстречу мне попала юная девушка с волосами такими черными, что они отливали синевой, как густая нефть. Она была одета в

широкий толстый свитер и длинную юбку, и этот совершенно асексуальный наряд не мог скрыть ее изумительную фигуру, стройные бедра, упругую высокую грудь. Глаза у девушки были из голубого стекла, а кожа белая, как у Арта С тех пор как Арт улетел в небо на связке воздушных шаров, я впервые встретил надувного человека Парень, шагавший позади меня, издал восхищенный свист. Я отступил на шаг и, когда он поравнялся со мной, подставил ему подножку. Его книги разлетелись во все стороны.

— Ты что, псих? — завопил он.

— Ага, — сказал я. — В точку.

Ее звали Рут Голдман. На одной пятке у нее была заплатка из черной резины — в детстве Рут наступила на осколок стекла. Еще одна заплатка покрупнее сидела на ее левом плече, куда воткнулась однажды ветка, сорванная порывом ветра. Домашнее образование и неусыпная забота родителей уберегли девушку от других повреждений. Она, как и я, училась на факультете английского языка и литературы. Ее любимым писателем был Кафка, потому что он понимал абсурдное. Моим любимым писателем был Маламуд, потому что он понимал одиночество.

Когда я окончил колледж, мы поженились. Хотя и по сей день вечная жизнь представляется мне сомнительной, в иудаизм я перешел без разговоров, получив наконец возможность беседовать о духовном. Можно ли назвать это переходом в другую веру? По правде говоря, раньше у меня вообще не было веры. В любом случае, свадьба у нас была еврейская, и я разбивал каблуком стекло под белой тканью.

Однажды я решился рассказать Рут про Арта. Она написала мне цветным мелком:

«Как это грустно. Мне очень жаль».

Она накрыла мою ладонь своей.

«А что случилось? У него кончился воздух?»

— У него кончилось небо, — сказал я.

УСЛЫШАТЬ, КАК ПОЕТ САРАНЧА

1

Фрэнсис Кэй очнулся от сновидения — не столько тревожного, сколько возбуждающего — и обнаружил, что превратился в насекомое. Он не удивился, потому что предполагал, что такое может случиться. Нет, не предполагал — он надеялся и фантазировал, и если не буквально об этом, то о чем-то подобном. Например, одно время он верил, что научится управлять тараканами с помощью телепатии, соберет их в поблескивающую коричневыми спинами орду и отправит сражаться за себя. А посмотрев тот фильм с Винсентом Прайсом,¹ он тоже захотел частично трансформировать себя: так, чтобы и его голова превратилась в голову мухи, поросшую черными жирными волосами, а в его выпученных фасеточных глазах отразилась тысяча вопящих лиц.

Как пальто с чужого плеча, на нем висела его старая кожа — кожа, которую он носил, будучи человеком. Четыре из шести лап проткнули отверстия в этой сырой, бежевой, прыщеватой, покрытой родинками, страшной и зловонной накидке из плоти. При виде сброшенной кожи он испытал прилив экстатического восторга и подумал: туда ей и дорога. Он лежал на спине, и его лапы — сегментированные и сочлененные так, что сгибались назад, — беспомощно шевелились над телом. Каждую лапу покрывали изогнутые пластины с зеленоватым металлическим отливом. Они блестели, так полированный хром, и солнце, косо падавшее в узкие окна спальни, зажигало на их поверхности стремительные радужные сполохи. Конечности оканчивались крюками из черной эмали, расписанной филигранью тончайших лезвий-волосков.

¹ Винсент Прайс (1911–1993) — американский актер, снявшийся в том числе в главной роли в фильме ужасов «Муха» (1958) режиссера Курта Ноймана.

Фрэнсис еще не вполне проснулся. Его пугал тот момент, когда голова окончательно прояснится и все закончится, когда пальто из кожи вновь застегнется на его теле, насекомое на постели исчезнет и останется лишь воспоминание об очень ярком сновидении, продлившемся на несколько минут и после пробуждения. Фрэнсис боялся, что, если все окажется плодом его воображения, он не вынесет этого, умрет от разочарования. Как минимум не сможет пойти в школу.

Потом он вспомнил, что сегодня и без того собирался прогулять. Вчера в раздевалке после физкультуры, когда все переодевались, Хьюи Честер решил, что Фрэнсис смотрит на него как гомик. Вооружившись клюшкой для лакросса, Хьюи выудил из унитаза кусок дерьма и бросил его на Фрэнсиса, чтобы отучить того пялиться на парней. Забава так понравилась Хьюи и его друзьям, что они провозгласили ее новым видом спорта и стали придумывать для нее название. Большинство голосов утвердило «говнобол», но и у «метания дерьма» сторонников нашлось немало. Фрэнсис сразу же решил, что денек-другой ему лучше держаться подальше от Хьюи Честера и спортивного зала — да и вообще от школы.

Когда-то Хьюи дружил с Фрэнсисом. Вернее, не дружил, а хвастался им перед другими: ему нравилось демонстрировать своим друзьям, как Фрэнсис ест насекомых. Это было в четвертом классе. Тогда Фрэнсис вернулся с летних каникул, проведенных в городке Туба-Сити¹ у двоюродной бабушки Риган, в ее трейлере. К чаю Риган подавала карамельки из сверчков. Наблюдать за тем, как она их готовит, было любимым занятием Фрэнсиса. Он склонялся к кастрюле с нежно побулькивающей патокой, источавшей смоляной приторно-сладкий запах, и зачарованно, будто в трансе, следил за замедленными движениями тонущих сверчков. Ему нравилась карамель из сверчков — их хрустящая сладость, маслянисто-травянистый вкус, — и ему нравилась Риган. Он хотел бы остаться у нее навсегда, но, разумеется, приехал отец и увез его домой.

Так вот, однажды Фрэнсис рассказал Хьюи о том, что он ел сверчков, и Хьюи захотел посмотреть на это. Но у них не было ни патоки, ни сверчков, поэтому Фрэнсис поймал таракана и съел его живьем. Таракан был соленым и горьким, с резким металлическим привкусом, в общем — гадость. Но Хьюи радостно смеялся, и Фрэнсиса залила волна такой гордости и счастья, что некоторое время он не мог дышать. Как сверчок, тонущий в патоке, он задышался от сладости.

И с того дня Хьюи собирал после уроков приятелей на площадке за школой и устраивал шоу ужасов. Фрэнсис ел тараканов, которых мальчишки приносили с собой. Он давил во рту моль с красивыми бледно-зелеными крылышками и медленно жевал ее. Дети расспрашивали его о том, что он чувствует и какова моль на вкус.

— Есть хочется, — ответил он на первый вопрос. — Как газон, — ответил он на второй.

Он капал на землю немного меда, чтобы приманить муравьев, и вдыхал их через соломинку, приставленную к янтарному комку. Муравьи с дробным стуком летели по пластиковой трубке ему в рот. Зрители стонали от отвращения, и Фрэнсис расплывался в улыбку, опьяненный собственной славой.

Но поскольку раньше он никогда не пользовался популярностью среди сверстников, то не смог правильно рассчитать, что его поклонники вытерпят, а что — нет. Во время одного из шоу он наловил мух, кишащих над кучей собачьих экскрементов, и одним вдохом втянул в рот целую горсть. И вновь его уши уследили стоны потрясенных зрителей. Однако мухи на собачьем дерьме — это совсем не то, что муравьи в меду. Поедание последних было отвратительно, но забавно; поедание первых — патологически неправильно. После этого Фрэнсиса стали звать дерьмоедом и навозным жуком. Потом кто-то подложил в его контейнер для завтрака дохлую крысу. На уроке биологии, когда мистер Крауз вышел на минутку, Хьюи с друзьями забросали Фрэнсиса препарированными саламандрами.

Фрэнсис перевел взгляд на потолок. В углу гудел старый вентилятор, раскачивая

¹ Туба-Сити — небольшой городок в штате Аризона, США, крупнейшая резервация индейцев племени навахо.

полоски липкой бумаги от мух, свернувшиеся спиралью от жары. Фрэнсис жил вместе с отцом и его подругой в пристройке за автозаправочной станцией. Его окна выходили на заросли полыни и кустарника, а дальше начиналась огромная канава, заваленная мусором, — городская свалка. По другую сторону канавы возвышался небольшой холм, а дальше — красные равнины, где иногда все еще зажигали Бомбу. Он видел ее один раз — Бомбу. Ему тогда было лет восемь. Его разбудил ветер, налетевший на их пристройку, и стук перекачиполе о стены. Он встал на кровати, приник к одному из высоких окошек и увидел, что на западе в два часа ночи поднимается солнце — газовый шар кроваво-красного цвета Оно взмывало в небо, опираясь на тонкую струю дыма. Фрэнсис смотрел до тех пор, пока в глазных яблоках не запылала боль.

Он задумался, который сейчас час. У него не было часов — его давно уже не волновало, успеет он куда-нибудь вовремя или опоздает. Сидел ли он за партой или входил в класс, учителя редко обращали на него внимание. Он прислушался к звукам внешнего мира за стенами комнаты: работает телевизор. Значит, Элла проснулась. Элла — это слоноподобная подруга отца, женщина с толстыми ногами и варикозными венами. Она целыми днями лежит на диване в гостиной.

Хотелось есть. Все-таки придется вставать. Тут он осознал, что он по-прежнему не человек, а насекомое. Это удивило и возбудило его. Старая кожа соскользнула с его лап и резиновой массой свисала с его... как это назвать? С плеч? В общем, кожа лежала под ним, как смятая простыня из какого-то эластичного синтетического материала. Он хотел перевернуться, встать на пол и рассмотреть пришедшую в негодность, не нужную ему более оболочку. Интересно, найдет ли он в этой куче то, что когда-то было его лицом, — сморщенную маску с дырками для глаз? Фрэнсис потянулся к стене, намереваясь использовать ее как опору, чтобы перевернуть туловище. Но его движения были нескоординированными, а лапы дергались куда угодно, только не туда, куда ему хотелось.

В пылу борьбы с непослушными лапами он почувствовал, что в животе нарастает давление. Он попробовал сесть, и в этот момент давление нашло выход в нижней оконечности туловища и вырвалось наружу с резким хлопком — как будто из шины разом вышел весь воздух: «паффф». Заднюю пару лап окутало тепло, и Фрэнсис глянул вниз, успев заметить в воздухе рябь искажения, какую часто видишь над разогретой солнцем дорогой.

Вот смехота. Гигантское насекомое пукает. Или оно какает? Точно Фрэнсис сказать не мог, но почувствовал влажность. Его передернуло от смеха, и благодаря этому движению он в первый раз осознал, что между изгибом его спины и скомканной бывшей кожей находится что-то еще, какие-то невероятно тонкие и невероятно жесткие пластины. Интересно, что это? Они — часть его тела, он может ими двигать как руками, но это определенно не руки.

Потом он подумал: что будет, если кто-нибудь зайдет в спальню проверить, как он? Он представил, что Элла стучит в дверь, потом просовывает в комнату голову... как же она завопит! Разинет рот так широко, что появятся целых четыре двойных подбородка, а в близко посаженных свинячьих глазках вспыхнет ужас. Хотя нет, Элла не зайдет. Ей слишком трудно оторвать себя от дивана. Фрэнсис немного помечтал о том, как промарширует через гостиную на всех своих шести лапах, пройдет мимо Эллы, а она будет верещать и корчиться от страха. Может, у нее случится сердечный приступ и она умрет? Он вообразил: вот крики Эллы становятся сдавленными, ее кожа сереет под толстым слоем макияжа, веки дрожат, а глаза закатываются, обнажая блестящие белки.

Оказалось, что он способен передвигаться короткими рывками, подтягивая туловище вверх и в сторону, по направлению к краю кровати. Пока он добирался до цели, он развлекался тем, что продумывал свои действия *после* того, как доведет Эллу до инфаркта. Возможно, он выползет в знойное сияние аризонского утра и встанет на самую середину шоссе. Он уже мысленно видел эту картину: машины сворачивают в стороны, чтобы не врезаться в него, и оглушительно сигналият, визжат шины, водители направляют автомобили в телеграфные столбы, фермеры громогласно вопрошают: «Что за дьявольщина?» — и снимают со стойки ружья... Хм, пожалуй, лучше все-таки держаться от шоссе подальше.

Можно пробраться к дому Эрика Хикмана, скользнуть в подвал и дожидаться там самого Эрика. Эрик был тощим семнадцатилетним парнем с кожной болезнью, из-за которой все его лицо покрывали десятки бородавок, поросших пучками жестких лобковых волос. Еще у него были тонкие черные усики, особенно густые в уголках рта, отчего он походил на сома. В школе его дразнили «уссатым». Фрэнсис иногда ходил вместе с Эриком в кино. Они вместе смотрели «Муху» с Винсентом Прайсом, а фильм «Они!»¹ видели дважды. Эрик пришел в такой восторг от «Они!», что чуть не обмочился во время сеанса. Эрик был умным — он прочитал все книги Микки Спиллейна,² и вместе они придумали бы, что делать дальше. А еще, может быть, Эрик раздобудет для него еды. Фрэнсису хотелось чего-нибудь сладкого. Печенья. Шоколадных батончиков. В животе грозно заурчало.

В следующий миг Фрэнсис услышал — нет, *ощутил*, — что в гостиную вошел отец. Каждый шаг Бадди Кэя сопровождался вибрацией, которую Фрэнсис воспринимал через металлическую раму кровати, и тихим гудением в горячем сухом воздухе вокруг его головы. Оштукатуренные стены пристройки были сравнительно толстыми и хорошо поглощали звук. Раньше Фрэнсис не мог расслышать, о чем говорят в соседней комнате. Теперь же он не столько слышал, сколько *чувствовал*, что сказала Элла и что ответил отец. Их голоса ощущались как последовательность низких реверберации, возбуждавших чувствительные усики-антенны у Фрэнсиса на голове. Речь казалась искаженной, звуки были ниже, чем обычно, как будто разговор происходил под водой; но Фрэнсис четко различал каждое слово.

Элла сказала:

— Кстати, в школу он так и не пошел.

— Чего? — не понял Бадди.

— Он сегодня не пошел в школу, вот чего. Так и сидит у себя в комнате.

— Спит, что ли?

— Не знаю.

— Ты не заходила к нему?

— Ты же знаешь, мне вредно нагружать ноги.

— Коровища ленивая, — пробормотал отец и двинулся к двери в комнату Фрэнсиса.

И снова каждый шаг посылал в усики-антенны трепетный разряд наслаждения и тревоги.

К тому времени Фрэнсис подполз уже к самому краю постели. Кожа его старого тела, однако, осталась на месте и лежала неопрятной грудой в центре матраса — бескостное каное, наполненное кровью. Фрэнсис балансировал на ребре металлического каркаса, оббегающего кровать по периметру. Он попытался сдвинуться еще на дюйм-другой, не зная, как слезть с кровати и перевернуться. Его старая кожа цеплялась за лапы, тянула своим весом назад. С другой стороны двери загудели шаги отца, и Фрэнсис дернулся вперед и вверх, испугавшись, что его найдут беспомощным, на спине. Отец может не узнать его и схватиться за ружье, что висит на стене гостиной всего в нескольких шагах отсюда. Тогда этот новый сегментированный живот, полный беловато-зеленых внутренностей, разорвет выстрел.

Фрэнсис бросился через край кровати, и лохмотья старой кожи треснули со звуком рвущейся простыни; он упал, перевернулся в падении и приземлился упруго и легко на все шесть лап — с ловкостью, какой не знал в дни своего человеческого существования.

Он приземлился спиной к двери. Времени на размышление не было, и поэтому, вероятно, лапы сделали именно то, что от них требовалось. Задние побежали вправо, а передние — влево, и его невысокое узкое тело длиной в пять футов развернулось на сто восемьдесят градусов. На спине затрепетали сверхтонкие пластины, которые он ощутил совсем недавно. Фрэнсису снова стало интересно, что это за пластины. Но за дверью уже бушевал отец:

— Что ты делаешь дома, придурок? А ну, живо в школу...

Дверь распахнулась. Фрэнсис попятился, оторвав от пола две передние лапы. Его

1 «Они!» (1954) — фильм ужасов американского режиссера Гордона Дугласа.

2 Микки Спиллейн (1918–2006) — популярный американский писатель, автор множества детективов.

челюсти издали короткую клацающую дробь, как будто опытная машинистка разогревала руки перед работой. Бадди застыл в дверном проеме, забыв убрать руку с дверной ручки. Его глаза безотрывно смотрели на воинственную фигуру переродившегося сына. Краска отлила от отцовского морщинистого лица, и Бадди стал похож на собственный восковой портрет в полный рост.

Потом он закричал, и усики Фрэнсиса поймали его пронзительный вопль, как раскаленный добела шар чистого адреналина. Фрэнсис тоже закричал, хотя то, что вылетело у него изо рта, совсем не походило на крик. Такой звук получается, если потрясти тонкий лист алюминия. Ничего человеческого в этом волнообразном клекоте не было.

Он думал, как ему выбраться из комнаты. Над кроватью были окошки, но они слишком малы, чтобы пролезть в них, — несколько прорезей в стене с фут высотой. Взгляд Фрэнсиса упал на кровать, и он замер, ошеломленный. Ночью он сбил все простыни в кучу, в изножье кровати. Теперь их покрывала какая-то белая пенистая масса, и они растворялись в ней... разжижались и чернели, превращаясь в кучку шипящей органической слизи.

В центре металлическая сетка кровати сильно провисала. В углублении лежали сброшенные им одеяния плоти — костюм мальчика, разорванный посередине. Лица Фрэнсис не разглядел, зато увидел руку — сморщенную перчатку бледно-бежевого цвета, пустую, с пальцами, завернутыми внутрь. Пена, что разъела простыни, ручейком стекала к его бывшей коже, и там, где ручеек встречался с плотью, кожа покрывалась волдырями и начинала дымиться. Фрэнсис вспомнил, как испустил газы, как почувствовал сырость между задних лап. Так это сделал он.

Воздух содрогнулся от внезапного тяжелого удара. Он обернулся и увидел, что отец лежит на полу, раскинув ноги в стороны. Через распахнутую дверь открывался вид в гостиную, где барахталась на диване Элла, пытаясь сесть. При виде Фрэнсиса она не посерела и не схватила за сердце, а замерла. На ее застывшем лице не отразилось ни единого чувства. В одной руке она держала бутылку колы, хотя утро только начиналось. Она поднесла бутылку ко рту, но так и забыла про нее.

— О господи, — сказала она рассеянным, но относительно спокойным голосом. — Что это?

Кола полилась прямо ей на грудь. Она ничего не заметила.

Фрэнсису надо было уходить, а путь был только один. Он потрусил вперед, поначалу неуверенно (целясь в дверной проем, он взял слишком сильно вправо и ударился боком о косяк, правда, почти ничего не почувствовал), и перелез через тело потерявшего сознание отца. Дальше, по дороге к входной двери, ему пришлось пробираться между диваном и кофейным столиком. Элла брезгливо подняла ноги на диван, пропуская его. Она что-то шептала себе под нос, но очень тихо — так, что даже сидящий рядом с ней человек вряд ли сумел бы что-либо расслышать. Фрэнсис же не пропустил ни слова. Его усики подрагивали при каждом слове.

— И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них.¹

Он вздрогнул, хотя не мог сказать отчего. Слова Эллы и встревожили, и возбудили его. Он уперся передней парой лап в дверь, толкнул ее и выполз в ослепительно белый дневной зной.

2

Канаву на протяжении полумили заполнял мусор — отходы пяти городов. Сбор мусора

¹ Откровение 9:3–6.

был главной деятельностью в Калифорне.² Двое из каждых пяти взрослых мужчин работали в утилизации; еще один из этих пяти служил в радиологическом дивизионе армии и обитал в лагере на расстоянии мили к северу от Калифоры; остальные двое сидели дома, смотрели телевизор, проверяли лотерейные билетки и ели мороженые полуфабрикаты, купленные на продуктовые талоны. Отец Фрэнсиса являл собой редкое исключение — он вел собственное дело. Бадди называл себя предпринимателем. У него была идея, которая, как он считал, совершит революцию в бензозаправочном бизнесе. Идея эта называлась «самообслуживание». И состояла она в том, что ты позволяешь клиенту самому наполнить его проклятый бензобак и берешь с него столько же денег, сколько берут на заправке с полным обслуживанием.

Из канавы город, располагавшийся на каменной плите, был почти не виден. Когда Фрэнсис взглянул вверх по склону, он различил лишь одну узнаваемую деталь — макушку высокого флагштока перед заправкой отца. Флаг считался самым большим флагом в штате. Во всяком случае, он с легкостью покрывал кабину здоровой фуры и был слишком тяжел, чтобы шевелиться даже на самом сильном ветру. Фрэнсис только один раз видел, как колыхнулось полотнище: в том бешеном порыве воздуха, что подняла Бомба.

У его отца было множество вещей, связанных с войной. Всякий раз, когда Бадди нужно было выйти из конторы по какой-либо причине — например, взглянуть на чей-то перегретый джип, — он набрасывал поверх футболки военный китель. На левой стороне груди брэнчали и поблескивали медали. Ни одну из них он не получил — купил оптом в комиссионке. Но форма честно принадлежала ему — осталась со Второй мировой. Отцу та война понравилась.

— Ни одна дырка не сравнится с той, которую ты берешь в только что разрушенной тобой стране, — сказал он как-то вечером и поднял вверх банку с пивом, будто говорил тост. Его слезящиеся глаза блестели от приятных воспоминаний.

Фрэнсис спрятался на свалке, вжавшись в мягкое углубление между набитыми пластиковыми пакетами с мусором, и стал испуганно ждать: не появятся ли полицейские патрульные машины, не зарокочут ли над его головой вертолеты. Его усики напряженно подергивались. Но ни машин, ни вертолетов не было. Раз или два по дороге, выходящей между горами отходов, громыхали грузовички. Они загоняли Фрэнсиса еще глубже в укрытие, так что торчали одни усики. Больше никто не появился. В этом конце свалки деятельности почти не велось. До заводика по переработке было полмили, а работа кипела именно там.

Чуть позднее Фрэнсис взобрался на один из мусорных холмов — посмотреть, не окружают ли его потихоньку. В кольцо его не брали, и он не стал долго оставаться на открытом месте. Ему не понравились прямые лучи солнца. Всего пару секунд он провел на свету, а по телу разлилась такая вялость, будто его накачали новокаином. В самом дальнем и узком конце канавы Фрэнсис заметил старый трейлер с цементными блоками вместо колес. Он проковылял туда, надеясь, что трейлер пустует. Так оно и оказалось. Под трейлером царила восхитительно прохладная тень. Фрэнсис вполз под днище, окунулся в сырую свежесть, и это было сродни купанию в озере.

Он отдыхал. Разбудил его не кто иной, как Эрик Хикман. Правда, нельзя сказать, что Фрэнсис спал в буквальном смысле этого слова. Он не спал, а находился в состоянии абсолютного, глубоко прочувствованного покоя, позволявшего забыть обо всем, ни на миг не теряя бдительности. Шарканье ног Эрика Фрэнсис услышал за сорок футов и поднял голову. Послеполуденное солнце заставляло Эрика щуриться за очками. Вообще-то он всегда щурился — когда читал или когда о чем-то задумывался — и при этом строил такую гримасу, что становился похожим на злобную обезьяну. Вполне естественно, что при виде этой недовольной гримасы у людей возникало желание дать Эрику повод для недовольства.

— Фрэнсис, — громко прошептал Эрик.

В руках он держал бумажный пакет с пятнами проступившего жира. Наверное, там лежал его обед. От этой мысли голод набросился на Фрэнсиса с новой силой, но он не вылез

² Вымышленный населенный пункт. По-латыни Calli phora — мясная муха.

из-под трейлера.

— Фрэнсис, ты здесь? — крикнул шепотом Эрик и затем скрылся из виду.

Фрэнсис хотел показать себя, но не смог. Его остановило подозрение, что Эрик пришел сюда с целью выманить его из укрытия. Фрэнсис вообразил, что позади холмов мусора притаились снайперы. Они следят за дорогой через прицелы своих винтовок и ждут, когда покажется гигантский сверчок-убийца. И он не двинулся с места; припав к земле, он напряженно выискивал в завалах мусора движение. Он затаил дыхание. Звонко стукнулась о камень пустая банка. Уф, это всего лишь ворона.

В конце концов он вынужден был признать, что напрасно поддался тревоге. Эрик приходил один. Вслед за этой мыслью пришла другая: его не ищет полиция, потому что Бадди никто не поверит. Если он попытается убедить кого-нибудь, что обнаружил в спальне сына огромное насекомое рядом с изувеченным телом мальчика, он сам рискует оказаться в психиатрической клинике в Тусоне.¹ Не поверят даже тому, что его сын мертв. Ведь уже нет ни тела, ни сброшенной кожи. Субстанция молочного цвета, которую исторгло новое тело Фрэнсиса, наверняка уже все растворила.

Совсем недавно, на прошлый Хэллоуин, отец загремел в тюрьму в приступе белой горячки, и он вряд ли вызовет у полиции доверие в качестве свидетеля. Его показания могла бы подтвердить Элла, но ее слово весит не больше слова Бадди, если не меньше. Она любила звонить в редакцию «Происшествий в Калифорне» и рассказывать об облаке, похожем на Иисуса. У нее был целый альбом, где она хранила фотографии всех облаков, которые, как ей казалось, несли в себе ее Спасителя. Фрэнсис однажды перелистал его, но не разглядел ни одного религиозного объекта, хотя одно облако, он готов это признать, отдаленно напоминало толстого человека в феске.

Местная полиция вскоре начнет искать самого Фрэнсиса, но вряд ли они будут стараться. Ему исполнилось восемнадцать — он волен поступать, как вздумается, а школу он частенько пропускал и раньше без объяснения причин. В Калифорне было четыре служителя закона: шериф Джордж Уокер и три временных работника. То есть поисковая партия в любом случае будет немногочисленная, а кроме того, у полиции имеются и другие дела в такой славный безветренный денек: например, погонять нелегалов, потеющих на полях местных фермеров, или устроить засаду на нарушителей скоростного режима, в основном — юнцов, летящих погулять в Феникс.²

И вообще, довольно беспокоиться о том, ищут его или нет. В голове у Фрэнсиса вертелась одна мысль — печенье. Никогда он, кажется, не был так голоден.

Небо все еще оставалось ярким и жестким, словно покрытое синей эмалью, но свалку уже перерезали предвечерние тени — солнце постепенно соскальзывало за гряды красного камня на западе. Фрэнсис выбрался из-под трейлера и стал копаться в мусоре. Ему на глаза попался лопнувший пакет, чье содержимое вываливалось наружу. Он раздвигал усиками мятую бумагу, сплюснутые пластиковые стаканчики, свернутые мячиком памперсы, пока наконец не обнаружил грязный леденец на палочке. Он склонился над конфетой и неуклюже взял ее в рот целиком, вместе с палочкой и грязью; впился в нее челюстями, капая на землю слюной.

На мгновение его рот наполнился всепоглощающей сахарной сладостью, и он почувствовал, как к сердцу рванулась кровь. Но в следующий миг в груди возникла ужасная щекотка, и горло словно сжалось. Живот свело. С отвращением он выплюнул леденец. Ничуть не лучше, чем обеды куриных крылышек, что он нашел до этого. Тощие волокна мяса и жир прогоркли, и Фрэнсиса рефлекторно стошнило.

Над кучей гнилых отходов жадно кружили мясные мухи. Фрэнсис смерил мух презрительным взглядом и подумал, не поймать ли их. Ведь насекомые иногда едят других насекомых. Но он не знал, как поймать мух без рук (хотя догадывался, что сможет действовать очень и очень быстро). К тому же полдюжины мух не спасут от мучительного

¹ Тусон — город в штате Аризона, США.

² Феникс — столица штата Аризона, США.

голода. С головной болью и раздраженный, он вспомнил о сверчках в карамели и всех других насекомых, которых он съел. Это из-за них со мной случилось такое, решил он. Затем его мысли перескочили на солнце, встающее в два часа ночи, и на ветер, налетавший на заправку горячими порывами такой силы, что с потолка сыпалась побелка.

Берн, отец Хьюи Честера, как-то раз сбил на дороге кролика. Он вышел из машины и обнаружил, что у кролика розовые глаза — четыре розовых глаза. Он повез кролика в город, чтобы показать знакомым, но довольно скоро Верна разыскал некий биолог в сопровождении одного военного и двух штатских с автоматами в руках. Они забрали животное и заплатили Верну пятьсот долларов за то, чтобы он письменно пообещал молчать о своей находке. А в другой раз, через неделю после очередных военных испытаний в пустыне, весь город накрыл плотный влажный туман, воняющий горелым беконом. Туман был таким густым, что отменили занятия в школе, закрыли супермаркет и почту. Совы стали летать днем, и в любое время суток сквозь влажную мглу слышались низкие громовые раскаты. Ученые в пустыне делали дырки в небе, в земле, а может быть — и в ткани самой вселенной. Они поджигали облака. Впервые Фрэнсис понял, что он — зараженный, он — отклонение. Его нужно сбить машиной, а память о нем немедленно стереть с помощью биолога и людей в штатском с чековой книжкой на имя государства и с портфелем, полным законов и юридических документов. Он не сразу понял это — вероятно, потому, что всегда чувствовал себя зараженным. А другие предпочитали этого не замечать.

В отчаянии он бросился прочь от разорванного пакета с отходами. Он двигался бездумно. Его пружинистые задние лапы подкинули его над землей, а на спине яростно забились затвердевшие лепестки-пластины. Желудок сжался. Под ним лихо накренилась иссушенная, усыпанная мусором почва. Он ожидал, что сейчас упадет, но не упал, а прорезал воздух по кривой и приземлился на одном из холмов мусора, на участке, куда еще падали лучи закатного солнца. Из его рта с шумом вырвался воздух. Он и не заметил, что задержал дыхание.

Пару мгновений он так и стоял там, испытывая шок, воспринимавшийся как болезненное покалывание в усах. Он прополз, прошел, проплыл — ни в коем случае не пролетел, боже упаси! — больше тридцати футов аризонского воздуха. Он недолго размышлял над тем, что случилось, — он боялся задумываться слишком сильно. Вместо этого он снова поднялся в воздух. Его крылья двигались с ровным, почти механическим жужжанием, и он, совершенно опьянев от ощущений, обнаружил, что парит в небе, над морем разлагающихся отходов. На время он позабыл о том, что хочет есть. Он позабыл, что всего несколько секунд назад был близок к отчаянию. Его лапы сами поджались к армированным бокам, в морду ему бил воздух, а он смотрел вниз, на свалку в сотне футов под ним, зачарованный видом собственной тени, скользящей по горам мусора.

3

Когда солнце село, но в небе еще оставалось немного света, Фрэнсис вернулся домой. Больше идти было некуда, и он чувствовал сильный голод. Конечно, есть Эрик, но чтобы долететь до него, надо пересечь несколько улиц. Крылья Фрэнсиса не поднимут его на такую высоту, чтобы люди ничего не заметили.

Он долго прятался в кустах за асфальтовой площадкой, окружавшей заправочную станцию. Колонки были отключены, свет над ними погашен, окна конторы затянуты жалюзи. Отец никогда не закрывал заправку так рано. В этом конце Эстрелла-авеню стояла тишина. За исключением редких грузовиков, не было ни движения, ни признаков жизни. Фрэнсиса волновало, дома ли отец, однако он не мог придумать, где бы еще находился сейчас Бадди. Ведь у отца, как и у сына, не было иного прибежища.

Спотыкаясь, преодолевая голодное головокружение, он подобрался к затянутой металлической сеткой входной двери и привстал на задних лапах, чтобы заглянуть в гостиную. Открывшееся его глазам зрелище так отличалось от всего, к чему он привык

ранее, что он потерял равновесие и покачнулся в неожиданном приступе слабости. Элла и Бадди вдвоем лежали на диване. Отец вытянулся на боку и уткнулся лицом в грудь Эллы. Они, судя по всему, спали. Элла обнимала Бадди за плечи; ее пухлые, униженные кольцами пальцы сплелись у него на спине. Бадди не хватало места — он едва касался дивана, чуть не висел над полом и прижимался к Элле; казалось, он вот-вот задохнется между ее грудей. Фрэнсис не помнил, когда в последний раз видел, чтобы Бадди и Элла обнимались. Он забыл, каким маленьким был его отец в сравнении с мощной Эллой. Бадди спрятал лицо на ее груди и походил на ребенка, наплакавшегося и уснувшего в материнских объятиях. Эта картина — два человека, ищущие в объятиях друг друга защиту от внешнего мира, — вызвала у Фрэнсиса чувство острой жалости. Но потом он вспомнил, что его жизнь с ними кончилась. Если они проснутся и увидят его, снова начнутся крики и обмороки, а может быть — и ружья, и полиция.

Он сник, стал отодвигаться от двери, чтобы вернуться на свалку, как вдруг заметил на столе справа от входа большую миску. Элла готовила салат с соусом «тако». С его места за дверью содержимого миски не было видно, но Фрэнсис догадался по запаху. Он теперь мог учуять все: и резкий запах ржавчины на сетке двери, и плесень в потрепанном ковре. Он различил аромат солоноватых кукурузных чипсов, мяса, обжаренного в соусе «тако», и перечную жгучесть сальсы. В его мозгу возникли широкие листья латука, пропитанные соусом, и его рот наполнился слюной.

Фрэнсис вытянулся, изогнул шею, надеясь заглянуть внутрь миски. Зазубренные крючки на концах его передних лап уже упирались в сетчатую дверь, и не успел он сообразить, что происходит, как под весом его тела дверь приоткрылась. Он протиснулся внутрь, поглядывая на фигуры отца и Эллы. Они не шевелились.

Пружина на двери была старой и растянутой. Когда Фрэнсис отпустил дверь, она не захлопнулась за ним, а медленно встала на место с сухим скрипом, едва слышно стукнувшись о косяк. Но и этого стука было достаточно, чтобы сердце Фрэнсиса рванулось вскачь. Однако отец лишь глубже зарылся в ямку меж грудей Эллы. Фрэнсис прокрался к столу и навис над миской. В ней почти ничего не оставалось, лишь жирный соус и несколько мокрых ошметков зелени, приставшие к стенкам. Он попробовал вытащить один листик, но у него больше не было рук. Похожие на совок лезвия, которыми оканчивались передние лапы, царапнули по фаянсу. Миска опрокинулась набок и покатила к краю стола. Фрэнсис попытался поймать ее, но она только отклонилась в сторону, упала на пол и звонко разбилась на несколько осколков.

Фрэнсис припал к полу и замер. У него за спиной сонно зевнула Элла. И тут же щелкнула сталь. Он оглянулся. Отец стоял всего в ярде от него. Бадди не спал, когда миска упала на пол, — Фрэнсис сразу понял это. Должно быть, он с самого начала притворялся, что спит. В одной руке отец держал дробовик, уже переломленный для зарядки; приклад упирался ему в подмышку. В другой руке была коробка с патронами. Значит, он заранее готовился к встрече и лежал на диване, спрятав ружье между собой и Эллой.

Бадди раздвинул губы в гримасе отвращения и удивления. Несколько зубов у него не хватало, а те, что остались, были темными и гнилыми.

— Мерзкая тварь, — сказал он. Большим пальцем он открыл коробку с патронами. — Теперь-то им придется поверить мне.

Элла с криком приподнялась на диване, посмотрела на пол и издала сдавленный вскрик:

— О господи. О боже праведный.

Фрэнсис попытался заговорить. Он хотел сказать: не надо, не надо убивать, он ничего плохого им не сделает. Но изо рта опять вырвался тот же нечеловеческий звук — словно кто-то трясет лист металла.

— Почему оно так верещит? — воскликнула Элла. Она старалась встать на ноги, но слишком глубоко увязла в диване и не могла справиться со своим весом. — Отойди от него, Бадди!

Бадди бросил на нее короткий взгляд:

— Что значит — отойди? Да я сейчас разнесу это чудовище в клочья. Я покажу этому умнику Джорджу Уокеру... Будет знать, как смеяться надо мной. — Отец сам засмеялся так, что у него затряслись руки, и патроны с веселым перестуком посыпались на пол. — Уже завтра утром моя фотография появится на первой странице всех газет.

Наконец он достал патрон и сунул его в ствол. Фрэнсис прекратил все попытки заговорить и выставил перед собой поднятые передние лапы в знак того, что сдается.

— Посмотри, что оно делает! — завопила Элла.

— Да заткнись ты, сучка безмозглая, — сказал Бадди. — Это всего лишь жук. Мне плевать, какого он размера. И он не имеет ни малейшего понятия, что делаю я.

Коротким движением он выпрямил ствол.

Фрэнсис рванулся вперед, намереваясь оттолкнуть Бадди в сторону и двигаться дальше к двери. Его правая передняя лапа опустилась отцу на голову, и изумрудный ятаган на ее конце прочертил через его лицо красный разрез. Рана начиналась от правого виска, шла через правую глазницу на переносицу, потом перескакивала через вторую глазницу и на левой щеке тянулась еще дюйма четыре. Нижняя челюсть Бадди упала, придав ему выражение крайнего удивления — как будто его обвинили в чем-то неслыханном и он, шокированный, не знает, что ответить. С оглушительным «бум!» разрядился дробовик, и в усиках Фрэнсиса белыми пульсирующими шарами взорвалась боль. Часть заряда обожгла его плечо, но большинство дробинок угодили в стену. От боли и страха Фрэнсис закричал — тем же резким звуком, словно поющий лист металла, но более пронзительно и громко. Вторая его лапа с размаху опустилась на грудь Бадди, как тесак. Она вошла в плоть с такой силой, что отдача от удара пронзила все суставы лапы до туловища.

Фрэнсис попытался выдернуть застрявшую в теле отца лапу. Он потянул ее и приподнял отца в воздух. Элла непрерывно визжала, закрыв лицо обеими руками. Фрэнсис махал лапой вверх и вниз, стряхивая отца с серповидной оконечности. Бадди вдруг стал бескостным, его руки и ноги мотались бесполезным грузом. Визг Эллы причинял Фрэнсису такую боль, что он чуть не терял сознание. Он швырнул отца на стену, и заправочная станция задрожала. На этот раз лапа высвободилась, и освободившееся тело Бадди скользнуло на пол, сложив ладони на продырявленной груди. На штукатурке остался темный кровавый след. Куда подевался дробовик, Фрэнсис не заметил. Элла сидела на диване, раскачиваясь вперед-назад, визжа и царапая себе лицо. Она явно не осознавала, что делает. Фрэнсис налетел на нее, и в воздухе замелькали его лапы-лезвия. Звук был такой, словно бригада рабочих энергично врубалась лопатами в жидкую грязь. Через несколько минут в комнате все смолкло, кроме этого чавканья.

4

Еще долго Фрэнсис прятался под столом и ждал, что сейчас кто-нибудь придет и покончит с ним. Раненое плечо горело. В горле часто и сильно бился пульс. Но никто не появился.

Потом он решил вылезти и присел возле отца. Бадди съехал по стене на пол почти полностью, и только его голова опиралась на окровавленную штукатурку. Отец всегда был тощим и костлявым, но в такой позе — с подбородком, упертым в грудь, с отвислыми щеками — он вдруг показался толстым и незнакомым. Фрэнсис обнаружил, что изогнутые острые конечности, служившие ему вместо рук — и ставшие орудием убийства, — могли обхватить лицо отца. Смотреть на то, что осталось от Эллы, Фрэнсис был не в силах.

У него расстроился желудок. Как и утром, Фрэнсис почувствовал нарастающее давление в животе. Он хотел бы сказать кому-нибудь, что ему очень жаль, что все это ужасно, что он хотел бы повернуть время вспять, но рядом никого не было, да никто бы и не понял его новый голос кузнечика. Ему захотелось плакать. Вместо этого он пустил газы, и из нижней части его тела несколькими толчками вырвалась белая пенистая карболка. Брызги

пены упали на тело отца и немедленно, с шипением, прожгли футболку насквозь. Фрэнсис поворачивал лицо Бадди то в одну сторону, то в другую, подбирая угол, при котором отец снова станет похож на себя. Но что бы он ни делал, отец выглядел совершенно незнакомым человеком

Внимание Фрэнсиса привлек запах, похожий на запах горелого бекона. Он глянул на его источник — живот отца — и увидел, что на месте брюшины Бадди образовалась чаша, до краев наполненная густой розовой похлебкой. По краям поблескивали красные кости ребер с жилистыми узлами плоти, еще не успевшими раствориться в едкой жиже. Желудок Фрэнсиса терзали голодные судороги. Он наклонился, чтобы исследовать жижу с помощью усиков, и не сдержался. Он больше не мог ждать. Жадными глотками он втягивал в себя внутренности отца, разъеденные белой пеной. Клацали челюсти. Он пожирал отца изнутри, пока не отвалился в сторону, ослотившийся. В ушах звенело, живот ломился от тяжести пищи. Фрэнсис забрался под стол и устроился отдохнуть.

Через металлическую сетку двери он видел кусок шоссе. В сытом дурмане он следил за редкими грузовиками, проезжавшими мимо по направлению куда-то в пустыню. Свет фар падал на черный асфальт, преодолевал небольшой подъем и беззаботно исчезал из виду. Это легкое скольжение света через мрак ночи напомнило Фрэнсису о том, как он парил, взмывая в небо единым порывистым усилием.

Воспоминания о полете в теплом свежем воздухе навеяли ему желание подышать. Он нажал телом на дверь и протиснулся наружу. С переполненным желудком летать он не мог. Живот по-прежнему болел. Фрэнсис доковылял до парковки, задрал голову вверх и устался в ночь. По небу текла блестящая пенистая река Млечного Пути. Отчетливо слышалось пение сверчков в траве, словно фантастическая музыка терменвокса,¹ — волна монотонного стрекота то поднималась, то опускалась, то поднималась, то опускалась. Должно быть, они всегда звали его; теперь Фрэнсис понял это.

Он безбоязненно вышел на середину шоссе и стал ждать появления грузовика. Он ждал, когда его зальет свет фар... взвизгнут тормоза, хрипло и испуганно вскрикнет водитель. Но дорога была пуста. Насытившийся Фрэнсис передвигался очень медленно. Его не волновало, что с ним случится дальше. Он не знал, куда идет, и не желал этого знать. Раненое плечо уже почти не болело. Дробь не пробила его броню — разумеется, ведь это невозможно. Заряд лишь слегка повредил плоть.

Однажды они вместе с отцом взяли дробовик и пошли на свалку. Там они по очереди стреляли, целясь в банки, крыс, чаек.

«Представь, что это ползут проклятые фрицы», — бормотал отец.

Фрэнсис понятия не имел, как выглядели немецкие солдаты, поэтому он воображал, что стреляет в одноклассников. Воспоминание о том дне заставило его немного взгрустнуть. Порой они с отцом неплохо ладили, к тому же из Бадди вышла отличная еда. В сущности, что еще нужно от родителей?

Когда на востоке засочился кровью первый проблеск рассвета, Фрэнсис с удивлением понял, что добрался до заднего двора школы. Он вовсе не планировал этого; наверное, его привели сюда воспоминания о дне, проведенном с отцом на свалке. Он окинул взглядом длинное кирпичное здание с частыми рядами окошек и подумал: «Какой уродливый улей». Но осам повезло больше: они устраивали свои жилища высоко на ветвях деревьев, весной их окружали источающие сладкий аромат бутоны, и ничто, кроме прохладных струй ветра, не мешало им наслаждаться жизнью.

К школе подъехал автомобиль. Фрэнсис торопливо засеменил к стене, затем завернул за угол, где его никто не увидит. Хлопнула дверца машины. Фрэнсис огляделся и заметил, что одно из узких окошек подвального этажа закрыто неплотно. Он ткнулся в него головой, сорокалетняя рама скрипнула в ржавых петлях, и Фрэнсис упал внутрь.

За трубами, покрытыми бисером ледяной воды, он в полной неподвижности дожидался,

¹ Терменвокс — первый в истории электронный музыкальный инструмент, изобретен в России в 1919–1920 годах, назван по имени изобретателя Льва Сергеевича Термена.

когда в окна под потолком подвала упадут первые лучи солнца. Сначала свет был слабым и серым, затем приобрел лимонный оттенок и постепенно высветил перед Фрэнсисом все пространство подвала, газонокосилку, ряды складных стульев, банки с краской. Он долго отдыхал: не спал, не думал, но был настороже, как вчера днем на свалке, пока прятался под днищем трейлера. Солнце уже заливало выходящие на восток окна расплавленным серебром, когда у него над головой захлопали дверцы шкафчиков, затопали по полу ноги, зазвучали громкие жизнерадостные голоса.

Он перебрался к лестнице и стал карабкаться по ступеням навстречу голосам. Как ни парадоксально, звуки при этом удалялись от него, словно он поднимался в коконе тишины. Он подумал о Бомбе, и о красном солнце, что вскипает на помосте пустыни в два часа ночи, и о ветре, сдувающим заправку, а потом — о саранче, вышедшей из дыма. Он взбирался по лестнице, а внутри него нарастала буйная радость. Им овладела неожиданная, мощная, восторженная целеустремленность. Дверь в конце лестницы оказалась заперта, и он не знал, как ее открыть. Он забарабанил по ней одним из своих крюков. Дверь в раме задрожала. Он стал ждать.

Наконец дверь распахнулась. С той стороны стоял Эрик Хикман. За его спиной гудел вестибюль, школьники убирали в свои шкафчики вещи и громко переговаривались, но для Фрэнсиса все было как немое кино. Несколько человек случайно поглядели в его сторону и тут же застыли в неестественных позах у раскрытых шкафчиков. Рыжеволосая девочка открыла рот в крике; она держала под мышкой стопку книг, и они друг за другом выскользнули из ее рук и бесшумно упали на пол.

Сквозь нечистые толстые линзы очков Эрик всматривался в гигантское насекомое. От ужаса его передернуло, он отскочил на шаг, но потом его рот растянулся в недоверчивой ухмылке.

— Круто, — сказал Эрик.

Его Фрэнсис слышал отчетливо.

Фрэнсис ринулся вперед и, действуя челюстями как парой садовых ножниц, перекусил Эрику шею. Он убил его первым — потому что любил его. Эрик упал, дрыгая ногами в бессмысленной предсмертной пляске. Его кровь брызнула прямо на рыжую девочку, которая не сдвинулась с места, а просто стояла и кричала. И вдруг на Фрэнсиса разом нахлынули звуки — и стук дверец, и топот бегущих ног, и мольбы. Он пополз, подталкивая себя мощными пружинами задних лап, с легкостью расталкивая детей в стороны или сбивая их с ног. Хьюи Честера он догнал в другом конце вестибюля. Тот бежал к выходу, но Фрэнсис воткнул в затылок Хьюи свой кинжалоподобный коготь и поднял его вверх. Коготь проткнул череп насквозь и вышел с другой стороны. Хьюи скользнул вниз по зеленой бронированной лапе, захлебываясь кровью. Он комично бил в воздухе пятками, будто все еще надеялся убежать.

Обратно Фрэнсис возвращался той же дорогой, кромсая и кусая всех, кто попадался ему на пути. Рыжеволосая девочка упала на колени и молилась, сложив ладони; он ее не тронул. В вестибюле Фрэнсис убил четырех человек, потом двинулся на второй этаж. Там он нашел еще шестерых — они думали, что от него можно спрятаться под столами в кабинете биологии. Их он тоже убил. Потом решил, что убьет и рыжую девочку, спустился вниз, но ее там уже не было.

Фрэнсис отрывал и поедал куски Хьюи Честера, когда с улицы донесся искаженный мегафоном голос. Он взобрался по стене на потолок и пополз вверх ногами к пыльному окошку. На противоположной стороне улицы выстроились военные грузовики, солдаты сбрасывали на землю мешки с песком. Он услышал громкое лязганье металла и рык мощного двигателя: со стороны Эстрелла-авеню полз танк. Что ж, подумал он. Танк им понадобится.

Фрэнсис вонзил коготь-саблю в оконное стекло, и в воздух взметнулись осколки. В ярком свете дня, припорошенном пылью, закричали люди. Танк со скрежетом остановился и стал разворачивать башню. Из мегафона неслись лающие приказы. Солдаты повалились на землю. Фрэнсис изготовился и устремился в небо. Его крылья зажужжали с тем же

механическим звуком, с каким циркулярная пила пожирает древесину. Пролетая над школой, он запел.

СЫНОВЬЯ АБРАХАМА¹

Максимилиан искал в сарае, в хлеву, заглянул даже в ледник, хотя точно знал, что там их быть не может. Руди никогда не стал бы прятаться в таком месте — сыром и холодном, без окон, без света, где пахнет летучими мышами. Слишком похоже на подвал. Даже дома Руди старался не спускаться в подвал, он боялся, что дверь захлопнется и он останется один в удушающей темноте.

В последнюю очередь Макс проверил амбар, но там их тоже не было. Когда он вышел на двор, то с удивлением увидел, что уже наступили сумерки. Он не подозревал, что уже так поздно.

— Я больше не играю! — крикнул он. — Рудольф! Нам пора домой, уже поздно.

Он сказал «поздно», а вышло у него «позно», будто лошадь фыркнула. Он ненавидел звук собственного голоса и завидовал уверенному американскому произношению младшего брата. Рудольф родился здесь и никогда не видел Амстердама. А Макс первые пять лет жизни прожил в Голландии — в полутемной квартире, где пахло заплесневелыми бархатными шторами и затхлой водой канала под окнами.

Макс звал, пока не заболело горло, но все его крики ни к чему не привели, а лишь потревожили миссис Кучнер. Она медленно вышла на крыльцо, зябко закутавшись, хотя было тепло. Подойдя к перилам, она ухватилась за них двумя руками и почти повисла, не в силах держаться на ногах самостоятельно.

Всего год назад, еще прошлой осенью, миссис Кучнер была милой толстушкой с ямочками на круглых щеках и румянцем от вечного кухонного жара. Сейчас ее лицо осунулось, кожа туго обтянула череп, в костяных глазницах лихорадочно и по-птичьи ярко горели глаза. Ее дочь Арлин, которая в данный момент где-то пряталась вместе с Руди, однажды поведала Максу шепотом, что мать держит рядом с кроватью жестяное ведро и, когда отец по утрам выносит его в уборную во дворе, на дне плещется дурно пахнущая кровь.

— Ты иди, милый, раз надо, — сказала миссис Кучнер. — А твоему брату, как только он появится, я скажу, чтобы он бежал за тобой.

— Я разбудил вас, миссис Кучнер? — спросил Макс. Она покачала головой, но Макс все равно чувствовал себя виноватым. — Извините, что поднял вас с постели своими криками. — Потом добавил неуверенно: — Разве вам можно вставать?

— Никак ты пытаешься лечить меня, Макс Ван Хельсинг? Думаешь, мне мало указаний твоего отца? — спросила она, чуть приподняв уголок рта в слабой усмешке.

— Да, мэм. То есть нет, мэм.

Руди на его месте сказал бы что-нибудь остроумное, и она залилась бы смехом и захлопала в ладоши. Руди надо выступать на радио в передаче о детях-вундеркиндах. Макс же никогда не знал, что сказать, и совершенно не умел шутить. И дело не только в акценте, хотя произношение являлось источником постоянного дискомфорта и одной из причин, по которым он старался говорить как можно реже. Это был еще и вопрос темперамента. Макс все время приходилось бороться со своей мучительной робостью.

— Я вижу, ваш отец строго следит за тем, чтобы вы оба приходили дома засветло.

— Да, мэм.

— Таких, как он, много, — продолжала миссис Кучнер. — Они привезли с собой свою страну и ее обычаи. Но он же доктор, он образованный, и все такое. Вот уж не думала, что ему пристало быть таким суеверным.

Макс сглотнул подступивший к горлу ком. Утверждение, будто его отец суеверен, было

¹ Упомянутые в рассказе Мина, Джонатан Харкер и доктор Ван Хельсинг — персонажи романа Брэма Стокера «Дракула».

гротескным преуменьшением.

— И странно, что он переживает за такого послушного мальчика, как ты, — говорила миссис Кучнер. — Ты, должно быть, ни разу не огорчил его.

— Спасибо, мэм, — кивнул Макс.

На самом деле он хотел сказать, что ей пора вернуться в дом и прилечь. Макс подозревал, что у него какая-то аллергия на выражение собственных мыслей: порой он чувствовал, как его горло сжимается и не дает говорить. Он собирался предложить миссис Кучнер свою помощь, он воображал, как берет ее под руку и склоняется к ней так близко, что вдыхает запах ее волос. Он хотел бы сказать, что молится за нее по вечерам, хотя его молитвы, конечно, не имеют большого значения: Макс молился и за свою мать, но это не спасло ее. Но он ничего не сказал. «Спасибо, мэм» — вот и все, на что он способен.

— Ты иди, — говорила между тем миссис Кучнер. — Скажи отцу, что я попросила Руди задержаться и помочь мне убраться на кухне. Я пошлю его домой сразу, как только увижу.

— Да, мэм. Спасибо, мэм. Скажите ему, пусть поторопится, пожалуйста.

Уже выйдя на дорогу, он оглянулся. Миссис Кучнер прижимала к губам носовой платок. Заметив его взгляд, она тут же отняла платок ото рта и весело им взмахнула; это был такой трогательный жест, что у Макса защемило сердце. Он поднял в ответ руку и отвернулся. Звук ее хриплого лающего кашля сопровождал его еще некоторое время — как злая собака, сорвавшаяся с привязи и бегущая следом.

Когда он вошел в свой двор, синева неба сгустилась и почти перешла в черноту. Только на западе, где недавно исчезло солнце, еще слабо светилась полоска заката. Отец с плеткой в руках сидел на веранде. Макс приостановился у нижней ступеньки. Глаза отца прятались под тяжелыми веками и кустистыми бровями цвета стали.

Макс ждал, что скажет отец. Тот молчал. Наконец Макс сдался и заговорил первым:

— Еще светло.

— Солнце село.

— Мы были у Арлин. Отсюда не больше десяти минут ходьбы.

— Да, дом миссис Кучнер очень надежен. Настоящая крепость. Ее защищает дряхлый фермер, не способный согнуться из-за ревматизма, и невежественная крестьянка, чьи внутренности поедает рак.

— Она не невежественная, — возразил Макс. Прозвучало это как попытка оправдаться, и следующие слова он произнес с выверенным спокойствием и рассудительностью: — Они не выносят света. Ты сам говорил Пока не стемнело, бояться нечего. Посмотри, какое ясное небо.

Отец кивнул, будто соглашаясь с доводами, а потом спросил:

— Ну и где же Рудольф?

— Уже идет.

Старик демонстративно вытянул шею, разглядывая пустую дорогу за спиной у Макса.

— То есть вот-вот придет, — поправился Макс. — Он задержался, чтобы помочь миссис Кучнер убрать на кухне.

— Что убрать?

— Муку, кажется. Мешок порвался, и мука рассыпалась. Она хотела все сделать сама, но Руди вызвался помочь. Я решил бежать домой, чтобы ты не волновался за нас. А он закончит и сразу придет.

Отец сидел неподвижно, с прямой спиной, лицо — каменная маска. И когда Макс уже решил, что разговор закончен, старик спросил, очень медленно выговаривая каждое слово:

— И ты оставил его одного?

Макс мгновенно увидел, в какой угол себя загнал, и его замутило от страха. Однако было слишком поздно, ничего уже не изменить.

— Да, сэр.

— Чтобы он шел домой один? В темноте?

— Да, сэр.

— Понятно. Иди в дом. Займись уроками.

Макс поднялся по ступенькам, пошел к входной двери. Когда он проходил мимо кресла-качалки, все его тело подобралось в ожидании удара плеткой. Но вместо этого отец схватил его за руку — впился в его запястье с такой силой, что Макс сморщился. Казалось, кости вот-вот хрустнут.

Отец втянул в себя воздух. Этот свистящий вдох, как хорошо знал Макс, был прелюдией к вспышке праведного гнева.

— Ты знаешь наших врагов? И все равно играешь с друзьями до самой ночи?

Макс попытался ответить, но не смог. Его горло сжалось, он давился словами, которые хотел, но не умел или не смел сказать.

— От Рудольфа я не ожидаю послушания. Он американец, а здесь считают, что ребенок учит родителей. Я вижу, как он смотрит на меня, когда я говорю. Как он сдерживает смех. Это плохо. Но ты... Когда Рудольф не слушается, он, по крайней мере, делает это умышленно. Я чувствую, что он *нарочно* злит меня. А ты не слушаешься от тупости, от нежелания подумать, а потом удивляешься, почему я порой видеть тебя не могу. У мистера Барнума¹ есть лошадь, что умеет складывать небольшие числа. Она считается величайшей достопримечательностью его цирка. Если бы ты хоть раз показал, что понимаешь мои уроки, это стало бы чудом не меньшим, чем та лошадь. — Он отпустил руку сына, и Макс, чуть не упав от неожиданности, невольно шагнул назад. Рука горела. — Иди в дом и не попадайся мне на глаза. Вижу, тебе надо отдохнуть. Кстати, это неприятное жужжание у тебя в голове — мысли. Насколько мне известно, ты к ним не привык и не знаешь, что с ними делать.

Отец постучал пальцем по виску, словно показывая, где находятся мысли.

— Да, сэр, — ответил Макс.

Он услышал в собственных словах лишь тупость и упрямство. Почему говор отца звучал как речь культурного и светского человека, а в устах самого Макса точно такой же акцент превращался в косноязычие слабоумного скандинавского батрака, способного только доить коров и испуганно таращить глаза при виде раскрытой книги? Не разбирая, куда идет, Макс шагнул в дом и врезался головой в связку чеснока, что висела в дверном проеме. За его спиной фыркнул отец.

Макс сел в кухне. На дальнем конце стола горела лампа, слишком слабая, чтобы развеять сгущавшуюся тьму. Он ждал и прислушивался, устремив взгляд в окно — на двор. Перед ним лежал учебник английской грамматики, но заниматься он не мог. Он мог только сидеть и ждать Руди. Довольно скоро стемнело так, что стало невозможно разглядеть ни дороги, ни того, кто по ней пойдет. Вершины сосен черными силуэтами выделялись на небе, все еще слабо светившемся, как тусклое сияние умирающих углей. Вскоре и этот отблеск исчез. В темноте россыпью ярких веснушек загорелась горсть звезд. Макс слышал, как под тяжестью отца поскрипывает и постанывает гнутое дерево кресла-качалки — вперед-назад, вперед-назад на половицах веранды. Макс опустил голову в ладони, вцепился пальцами в волосы и забормотал под нос: «Руди, давай же, иди». Скорее бы закончилось это невыносимое ожидание. Так прошел час. Или пятнадцать минут.

Потом Макс услышал его. В меловой придорожной пыли тихо шуршали шаги младшего брата; возле самого двора они замедлились. Макс предположил, что Руди бежал, и предположение подтвердилось, едва брат открыл рот. Он пытался говорить со своим обычным добродушием, но ему не хватало дыхания. Руди запыхался.

— Прости... Миссис Кучнер... Попросила помочь... Знаю... Уже поздно.

Качалка остановилась, а половицы скрипнули. Похоже, отец поднялся с кресла.

— Да, Макс сказал. Ты все убрал?

— Ага. Нет. Вместе с Арлин. Арлин забежала в кухню и не смотрела по сторонам. А там миссис Кучнер... Миссис Кучнер несла тарелки...

¹ Финеас Тейлор Барнум — американский антрепренер, известный тем, что в 1840 году он купил в Нью-Йорке американский музей редкостей Скуддера, в котором показывал различные диковины вроде женщины-сирены, мнимой кормилицы Вашингтона и прочее.

Макс зажмурился, уткнулся лбом в стол и в полном отчаянии дернул себя за волосы.

— Миссис Кучнер не должна утомляться. Она нездорова. Должен сказать, меня удивляет, что она вообще встала с постели.

— И я тоже... я тоже ей так сказал. — Голос Руди звучал у самой веранды. Он почти отдышался. — И еще не слишком темно.

— Не темно? В моем возрасте зрение уже не то, и сумерки кажутся настоящей ночью. Я сидел тут в полной уверенности, что солнце зашло двадцать минут назад. Сколько сейчас. — Макс услышал, как щелкнула крышка карманных часов отца. Раздался вздох. — Не вижу стрелок. Слишком темно. Что ж. Меня восхищает твоя забота о миссис Кучнер.

— О, мне совсем нетрудно... — сказал Руди, ставя ногу на первую ступеньку крыльца.

— В самом деле, тебе следует больше думать о собственном здоровье, Рудольф, — продолжал отец спокойным и благожелательным тоном — так, представлялось Макс, он говорит со своими пациентами, находящимися на последней стадии смертельного заболевания.

Руди сказал:

— Прости меня, я...

— Ты просишь прощения? Сейчас ты запросишь его по-другому.

Плетка опустилась с сочным шлепком, и Руди, которому через две недели должно было исполниться десять лет, взвыл. Макс стиснул зубы, по-прежнему сжимая голову ладонями. Запястья он прижал к ушам, напрасно стараясь укрыться от воплей и от звуков плетки, впивавшейся в мясо и кости.

Он не услышал, как отец вошел в дом, и поднял глаза, только когда на него вдруг упала чья-то тень. В дверях стоял Абрахам: волосы растрепаны, воротник сбился набок, в руке плетка. Макс ожидал удара, но этого не случилось.

— Помоги брату, — приказал отец.

Макс с трудом поднялся на ноги. Выдержать взгляд старика он не мог, поэтому опустил глаза вниз и наткнулся взглядом на плетку. Тыльную сторону отцовской ладони забрызгали капельки крови. Макс тоненько, испуганно выдохнул.

— Видишь, что мне приходится делать из-за вас.

Макс не ответил. Возможно, ответа и не предполагалось.

Отец постоял еще секунду, потом развернулся и зашагал в дальнюю часть дома — к своему кабинету, всегда запертому на ключ. Братьям запрещалось входить туда без разрешения. Вечерами отец часто задремывал там, и было слышно, как он во сне проклинает кого-то по-голландски.

— Можешь не убегать! — крикнул Макс. — Все равно я поймаю тебя.

Рудольф резво пересек загон для скота и помчался к дому, заливаясь веселым смехом.

— Отдай! — крикнул Макс и перемахнул через забор, ни на миг не замедляя скорости.

Он приземлился, не сбившись с ритма. Макс по-настоящему рассердился и в гневе приобрел несвойственную ему ловкость — сложен он был как отец, то есть пропорциями и повадками напоминал буйвола, наученного ходить на задних ногах.

Руди, напротив, пошел в мать. Он унаследовал от нее изящное строение и фарфоровый цвет кожи. Он был быстрым, но тем не менее Макс настигал его. Руди слишком часто оглядывался и не смотрел, куда бежит. А бежал он к дому. Там Макс легко прижмет его к стене и отрежет любые пути отхода вправо или влево.

Однако Руди не пытался свернуть вправо или влево. Окно отцовского кабинета было распахнуто, открывая взгляду прохладный полумрак библиотеки. Руди ухватился за подоконник у себя над головой — в одной руке он сжимал письмо Макса — и, легкомысленно улыбнувшись старшему брату, нырнул головой в темноту.

Каким бы серьезным проступком ни считал отец возвращение домой после наступления темноты, вторжение в его святая святых — в кабинет — вызвало бы куда более страшный гнев и тяжелую кару. Но отец отсутствовал — он уехал куда-то на своем «форде». У Макса не

было времени подумать, что случится, если отец вдруг вернется. Он подпрыгнул и успел ухватить брата за щиколотку, рассчитывая стащить этого маленького червяка с подоконника, но Руди вскрикнул, извернулся и выдернул ногу из пальцев Макса. И — провалился в темноту, упал на деревянный пол с глухим стуком, от которого в кабинете зазвенело что-то стеклянное. Тогда и Макс взялся за край подоконника, рывком подбросил себя вверх...

— Осторожней, Макс! — крикнул Руди. — Тут... — и прыгнул внутрь.

— Высоко, — закончил младший брат.

Конечно, Макс бывал в кабинете отца и раньше (иногда Абрахам приглашал их для «беседы», что означало — он говорит, а они слушают), но никогда не входил в комнату через окно. Сила прыжка несла его вперед, и он лишь успел с удивлением понять, что до пола не менее трех футов, а он летит туда головой вниз. Боковым зрением он заметил край приставного столика рядом с одним из отцовских кресел и протянул к нему руку, чтобы замедлить падение. В самый последний миг он повернул голову набок, и основная сила удара пришлась на правое плечо. Подпрыгнула мебель. Приставной столик упал, и все, что на нем стояло, обрушилось на пол. Макс услышал звон бьющегося стекла, и эти звуки показались ему более болезненными, чем собственные ушибы.

Руди сидел на полу в ярде от него, забыв стереть с лица глуповатую улыбку. В руке он все еще сжимал измятое и уже забытое обоими братьями письмо.

Столик лежал на боку; к счастью, он не сломался. Но пустая чернильница разбилась вдребезги, и мелкие осколки поблескивали рядом с коленом Макса. По персидскому ковру рассыпалась стопка книг. Несколько листов бумаги еще кружили в воздухе, с легким шорохом приземляясь на пол.

— Видишь, что мне приходится из-за тебя делать, — сказал Макс, указывая на чернильницу.

И тут же сморщился, вспомнив, что точно такие же слова слышал от отца пару дней тому назад. Макс не нравилось узнавать в себе отца. В таких случаях он чувствовал себя куклой, деревянной пустоголовой игрушкой, во всем подвластной отцу.

— Да просто выбросим осколки, — отмахнулся от проблемы Руди.

— Он помнит все вещи в кабинете. И сразу заметит, что чернильницы нет.

— Угу, как же. Он приходит сюда напиться бренди, попердеть в диван и поспать. Я был здесь уже сто раз. В прошлом месяце даже взял его зажигалку для сигарет, а он так и не заметил.

— Что? — переспросил Макс, глядя на Руди с искренним удивлением и некоторой долей зависти. Ведь не младшему, а старшему брату полагалось совершать рискованные поступки и потом небрежно упоминать о них, как бы невзначай.

— Так кому ты писал письмо? И надо ж было так прятаться... Но я выследил тебя и подглядел, что ты там пишешь. «Я помню, как держал тебя за руку», — продекламировал Руди с притворной страстью.

Макс двинулся на брата, но недостаточно быстро. Руди развернул скомканное письмо и стал читать. С его губ исчезла улыбка, на бледном широком лбу образовались задумчивые морщинки. Потом Макс вырвал листок из его рук.

— Это про маму? — спросил Руди, ничуть не смутившись.

— Нам. задали на дом сочинение. Надо написать письмо. Миссис Лауден сказала, что это может быть письмо кому угодно — воображаемому человеку, историческому лицу. Кому-то, кто уже умер.

— И ты собирался сдать это на проверку? Чтобы миссис Лауден прочитала?

— Не знаю. Я еще не закончил.

Однако Макс уже понял: он ошибся, он слишком увлекся захватывающими возможностями, открывшимися перед ним в этом задании. Он не устоял перед волшебным «а что, если» и написал такие сокровенные вещи, какие никогда не решится никому показать. Он писал: «Только с тобой я мог разговаривать». Он писал: «Иногда мне так одиноко». Он писал и воображал, что она читает его письмо. Как-то, где-то — возможно, в тот самый миг,

когда он водил по бумаге пером, — она в некой астральной форме стояла за его плечом и нежно улыбалась, следя за появляющимися словами. Это приторно-слезливая абсурдная фантазия, и Макс сгорал от стыда, понимая, что полностью отдался ей.

Его мать была больна и слаба, когда разразился скандал и их семья вынуждена была покинуть Амстердам. Некоторое время они жили в Англии, но слухи об ужасном деянии его отца (что именно совершил отец, Макс не знал и не надеялся когда-либо узнать) настигли их и там. И они поехали дальше — в Америку. Отец был уверен, что ему гарантировано место лектора в Вассар-колледже¹ и значительную часть имевшихся средств потратил на покупку крепкой фермы неподалеку от тех мест. Однако при личной встрече декан сказал Абрахаму Ван Хельсингу, что ни в коем случае не может позволить доктору работать с юными девушками, не достигшими совершеннолетия. Теперь Макс был уверен: его мать убил отец. Он не сомневался в этом, словно сам видел Абрахама, прижимавшего подушку к лицу жены. И дело не в длительном переезде — он, разумеется, усугубил состояние бедной женщины, беременной и слабой от хронического заболевания крови (из-за этой болезни на ее теле оставались синяки от малейшего прикосновения). Ее убило унижение. Мина не пережила позора от содеянного мужем — позора, погнавшего их на другой конец света

— Давай-ка наведем здесь порядок, Руди, — сказал Макс. — Надо уходить отсюда.

Он поставил столик и начал собирать книги, но остановился, услышав вопрос брата:

— А ты веришь в вампиров?

Руди стоял на коленях перед низким диваном в другом конце комнаты. Он нагнулся, чтобы поднять с пола разлетевшиеся бумаги, однако его внимание привлек приткнувшийся в углу докторский саквояж. Любопытный мальчик уже тянул за четки, обвязанные вокруг ручек саквояжа.

— Ничего не трогай, — сказал ему Макс. — Нужно убираться, а не баловаться.

— Так веришь ты или нет?

Макс молчал недолго.

— На маму напали. С тех пор ее кровь была заражена. Она болела.

— Она сама когда-нибудь говорила, что на нее напали? Или это он сказал?

— Мне было всего шесть лет, когда она умерла. Вряд ли она стала бы рассказывать о таких вещах ребенку.

— Но... ты веришь, что нам в самом деле угрожает опасность? — Руди уже открыл саквояж и достал оттуда сверток, аккуратно замотанный в темно-бордовый бархат. Внутри бархата постукивало что-то деревянное. — Веришь, что вампиры подкарауливают нас и хотят напасть? Ждут, когда мы ослабим защиту?

— Такая возможность существует. Пусть и маловероятная.

— Пусть и маловероятная, — тихо засмеялся младший брат. Он размотал бархат и теперь разглядывал девятидюймовые колышки — небольшие шпажки из ослепительно белого дерева, с рукоятками, обернутыми сыромятной кожей. — Ну а я думаю, что это полная ерунда. Е-рун-да, — протянул он нараспев.

Такой поворот разговора привел Макса в замешательство. На мгновение у него даже закружилась голова, будто он внезапно оказался на краю пропасти. Вероятно, в каком-то смысле так оно и было. Он всегда знал, что рано или поздно подобная беседа состоится, и страшился того, к чему она может привести. Руди обожал спорить, но свои сомнения и аргументы он никогда не доводил до логического конца. Он мог заявить, что «все это полная ерунда», однако не давал себе труда подумать, как такое заявление характеризует их отца. Отец боялся ночи, как боится океана человек, не умеющий плавать. Макс нужно было, чтобы вампиры оказались реальностью, чтобы они существовали. В противном случае пришлось бы признать, что отец находится — и всегда находился — во власти безумных фантазий, а это слишком ужасно.

Все еще раздумывая, как ответить брату, Макс обратил внимание на уголок рамки, торчащий из-под кресла. Рамка упала лицом вниз, но он отлично знал, что увидит,

¹ Вассар-колледж — престижный колледж в городе Пекипси, штат Нью-Йорк, США.

перевернув ее: коричневый фотографический снимок матери. Она позировала в библиотеке их амстердамского дома. Из-под белой шляпы с широкими полями рассыпались воздушные черные кудри. Одна рука в перчатке поднята в загадочном жесте — мама будто помахивает в воздухе невидимой сигаретой. Ее губы слегка приоткрыты, она что-то говорит. Макс часто пытался представить себе ее слова. Ему хотелось думать, что где-то за кадром стоит он, четырехлетний малыш, и серьезно смотрит на мать снизу вверх. Он даже предполагал, что мать подняла руку, прося сына не подходить к ней, пока фотограф делает снимок. Если так, то она навечно запечатлена с его именем на устах.

Он поднял рамку за угол, и из нее звонко посыпалось на пол битое стекло. Стеклопластинка треснула в самом центре. Макс стал вынимать застрявшие под краем рамки осколки и откладывать их в сторону, стараясь не оцарапать блестящий снимок. Он потянул широкий клин стекла, плотно сидящий в верхнем правом углу рамки; вместе со стеклом выскользнул и уголок фотографии. Отложив стекло, Макс взялся за уголок, чтобы вставить его на место... и нахмурился: не двойтся ли у него в глазах. Кажется, под снимком матери скрывается еще одна фотография. Он вытащил первый снимок и непонимающе уставился на второй, ранее никогда им не виденный. Ледяная немота сковала его грудь, подобралась к горлу. Макс оглянулся и с облегчением увидел, что Руди все еще возится возле дивана, увязывая колышки обратно в бархат и что-то напевая себе под нос.

Макс снова всмотрелся в таинственный снимок. Женщина, изображенная на нем, была мертва. А еще она была обнажена выше пояса, ее одежды разорваны и стянуты к изгибу талии. К постели ее притягивали веревки, обмотанные вокруг шеи и запястий. Она была молода и, наверное, красива, но сказать точнее было трудно: один ее глаз заплыл, сквозь едва приоткрытые веки другого виднелась узкая полоска неестественно тусклого глазного белка. В рот ей засунули какой-то белый круглый предмет. Растянутые губы открывали два ряда ровных мелких зубов, вонзенных в шар. Половину ее лица обезобразили синяки. Между тяжелыми молочными полушариями груди торчал колышек из белой древесины. Левую часть грудной клетки заливала кровь.

Даже когда с улицы донесся шум автомобильного двигателя, Макс не двинулся с места, не в силах оторвать взгляд от фотографии. Но тут к нему подскочил Руди, схватил его за плечо и сказал, что надо торопиться. Макс прижал снимок к груди, пряча от брата, и сказал:

— Иди, я сейчас.

Руди убрал руку с его плеча и через окно выпрыгнул из кабинета.

Макс стал торопливо прилаживать карточку матери поверх фотографии мертвой женщины... и снова впал в ступор, заметив кое-что еще. В левом углу снимка была видна вторая фигура — мужчина, стоящий возле кровати. Он повернулся спиной к фотографу и находился слишком близко к аппарату, поэтому его изображение вышло нечетким. Размытые контуры черного пальто и плоской черной шляпы придавали ему сходство с раввином. Не было никакой возможности точно установить личность этого человека, но Макс сразу понял, кто это. Он узнал его по жесткой, словно негнувшейся, посадке головы на короткой толстой шее. В одной руке мужчина держал широкий нож. В другой — докторский саквояж.

Во дворе с простуженным сипением и жестяным клацаньем заглох двигатель. Макс расправил снимок мертвой женщины, всунул поверх него фотографию Мины. Рамку — без стекла — поставил на стол и с ужасом понял, что фотография стоит вверх ногами. Он протянул руку, чтобы переставить карточку.

— Скорей! — воскликнул Руди. — Макс, пожалуйста!

Брат стоял во дворе под окном и заглядывал в кабинет, поднявшись на цыпочки.

Макс ногой затолкал осколки стекла под кресло, шагнул к окну и закричал. То есть хотел закричать, но его горло сжалось, полностью перекрыв доступ воздуха.

За спиной Руди стоял отец и смотрел на Макса поверх головы младшего сына. Руди не видел его и не знал, что он рядом, пока отец не положил ему руку на плечо. Рудольф не имел проблем с голосом — он тут же заорал и подпрыгнул, будто хотел снова забраться в кабинет.

Старик молча смотрел на старшего из сыновей. Макс так же молча смотрел на него из

окна, держась руками за подоконник.

— Если пожелаешь, — промолвил наконец отец, — я открою дверь кабинета, и ты покинешь его цивилизованным образом. Разумеется, в уходе через дверь недостаточно драматизма, но это гораздо удобнее.

— Нет, — сказал Макс. — Спасибо, не надо. Спасибо. Я... Мы... Это... это ошибка. Я не хотел.

— Ошибка — незнание столицы Португалии на уроке географии. А ваше поведение — это нечто иное. — Абрахам замолчал и с каменным выражением лица снял руку с плеча Руди. Потом он указал рукой на двор, словно говоря: «Прошу сюда». — Мы обсудим твой поступок чуть позже. А сейчас, если тебя не затруднит, прошу покинуть мой кабинет.

Макс не шевельнулся. Раньше отец никогда не откладывал наказание. Вторжение в его кабинет грозило по меньшей мере поркой, и Макс пытался сообразить, в чем дело. Отец ждал. Макс опомнился, забрался на подоконник, прыгнул и приземлился на клумбу. Руди испуганно смотрел на него, взглядом спрашивая, что им теперь делать. Кивком головы Макс указал ему на конюшни — их собственный кабинет — и медленно двинулся туда сам. Младший брат поспешил за ним, сотрясаемый крупной дрожью.

Далеко они не ушли. Макса остановила рука отца, упавшая ему на плечо.

— Мое правило — всегда защищать вас, ты знаешь это, Максимилиан, — сказал Абрахам. — Может быть, ты хочешь сказать, что вам больше не нужна моя защита? Когда ты был маленьким, в театре я закрывал тебе глаза ладонью, чтобы ты не видел убийства Кларенса в «Ричарде». Но позднее, когда мы ходили на «Макбет», ты оттолкнул мою руку. Ты хотел видеть. Как мне кажется, история повторяется, а?

Макс не ответил. Через миг отец отпустил его. Не прошли они и десяти шагов, как вслед им снова раздался его голос:

— О, чуть не забыл. Я не рассказал вам, где я был и по какому делу. У меня есть новость, которая, как я знаю, опечалит вас обоих. Пока вы были в школе, прибежал мистер Кучнер с криками: «Доктор, доктор, торопитесь, моя жена!..» Как только я увидел ее, сжигаемую лихорадкой, то сразу понял ей срочно нужно в город, в лечебницу доктора Розена. Но, увы, фермер позвал меня слишком поздно. Когда миссис Кучнер шла к моей машине, внутренности выпали из нее: «плюх». — Он неодобрительно прищелкнул языком. — Я отдам наши костюмы в чистку. Похороны в пятницу.

На следующий день Арлин не пришла в школу. После уроков братья Ван Хельсинги прошли мимо фермы Кучнеров, но там все окна были затянуты черными шторами, а дом казался тихим и заброшенным. Похороны должны были состояться на следующий день в городе; возможно, Арлин и ее отец уже уехали туда, к родственникам.

Когда братья добрались до собственного двора, они увидели, что их старый «форд» стоит рядом с домом, а двойные двери, ведущие со двора в подвал, широко распахнуты.

Руди направился к конюшне (они держали лошадь — старую кобылу по кличке Райе, и сегодня была очередь Руди чистить ее стойло), а Макс пошел в дом. Позднее, уже сидя за кухонным столом, он услышал, что наружные двери в подвал закрылись. Затем под полом зазвучали шаги отца, и вскоре он возник в проеме внутреннего хода в подвал.

— Что ты там делал? — поинтересовался Макс. Отец скользнул по нему ничего не выражающим взглядом.

— Позже я расскажу тебе, — ответил он.

Макс смотрел, как старик вынимает из жилетного кармана серебряный ключ и закрывает дверь в подвал на замок. До сего момента эта дверь ни разу не запиралась, и Макс даже не подозревал, что такой ключ существует.

Весь день Макс нервничал и поглядывал на подвальную дверь, не в силах забыть отцовское обещание: «Позже я расскажу тебе». Обсудить с Руди, что могли значить эти слова, возможности не представилось: сначала они втроем обедали, а затем сидели на кухне и делали уроки. Обычно отец довольно рано уединялся в кабинете, и они его больше не видели.

до самого утра. Но сегодня он словно не мог усидеть на месте и поминутно выходил из кабинета — то чтобы помыть стакан, то в поисках очков для чтения, и наконец — зажечь фонарь. Он поправил фитиль, чтобы в основании стеклянной трубки горело невысокое красноватое пламя, и поставил фонарь на стол перед Максом.

— Мальчики, — сказал Абрахам, поворачиваясь к двери в подвал и отпирая замок, — идите вниз. Ждите меня там. Ничего не трогайте.

Руди побледнел и в панике обернулся к Макс. Руди не выносил подвалов: его пугали низкие потолки, запах сырости, кружевные занавесы паутины в углах. Если ему поручали спуститься в подвал, он всегда упрашивал Макса сойти с ним. Макс открыл рот, чтобы расспросить отца, но тот уже вышел из комнаты в коридор, ведущий в кабинет.

Макс взглянул на младшего брата. Руди мотал головой в немом отказе.

— Все будет в порядке, — заверил его Макс. — Я рядом.

Руди взял фонарь, а Макс первым двинулся вниз по лестнице. Красноватый свет лампы отбрасывал по сторонам черные скачущие тени, и казалось, что не братья опускаются вниз, а тьма поднимается из подвала кверху и лижет жадными языками ступени и стены. Макс спустился в подвал и медленно огляделся. Слева от лестницы стоял верстак. На нем лежало что-то довольно большое, закрытое куском грязной парусины, — может, сложенные кирпичи или охапки стирального белья. В полумраке трудно было сказать точнее, нужно было подойти ближе. Макс сделал несколько неуверенных шагов к верстаку, но вдруг остановился. Он понял, что скрывает грязно-белая ткань.

— Бежим отсюда, Макс, — прошептал Руди прямо из-за спины Макса. Макс не ожидал, что брат подошел так близко, а не остался стоять на лестнице. — Нужно скорее бежать отсюда.

И Макс понял, что Руди говорит не только о подвале. Нужно уходить из дома, бежать из этого места, где они прожили десять лет, и никогда сюда не возвращаться.

Но было поздно изображать из себя Гека и Джима и пускаться в бег. Пыльные доски ступеней закрипели под тяжелыми шагами их отца. Макс оглянулся на лестницу. Старик нес докторский саквояж.

— Глядя на то, как вы перерыли мой кабинет, — сказал он, — я делаю вывод, что наконец-то вы почувствовали интерес к той тайной деятельности, ради которой я стольким жертвую. В свое время я собственными руками убил шесть неумерших, и последней из них была больная тварь с фотоснимка, что хранился под фотографией вашей матери. Полагаю, вы оба его видели. — Руди в ужасе посмотрел на Макса, и тому оставалось лишь отчаянно мотнуть головой: «Молчи». Отец продолжал: — Я обучал других людей искусству уничтожения вампиров, в том числе — несчастного первого мужа вашей матери Джонатана Харкера, упокой Господи его душу, поэтому на меня можно возложить ответственность и за убийство почти пяти десятков представителей этого грязного, заразного племени. Теперь настало время показать моим мальчикам, как это делается. Вы сумеете сразить тех, кто стремится вас погубить.

— Я не хочу, — проговорил Руди.

— Он не видел того снимка, — в тот же миг сказал Макс.

Отец словно ничего не слышал. Он прошел мимо них к верстаку, приподнял угол парусины, заглянул под нее и с одобрительным хмыканьем откинул покрывало.

Миссис Кучнер была обнажена и ужасающе худа. Ее щеки ввалились, нижняя челюсть отвисла. Под ребрами на месте живота образовалась страшная впадина, словно все внутренности всосало вакуумом. Нижняя часть ее тела была темно-фиолетовой от скопившейся там крови. Руди застонал и спрятал лицо на груди у Макса.

Отец поставил рядом с телом саквояж и открыл его.

— Разумеется, она не вампир. Она просто мертва. Настоящие вампиры встречаются нечасто. Было бы непрактично и неразумно с моей стороны учить вас на настоящем вампире. Однако для демонстрации подойдет и такое тело.

Из саквояжа появились колышки, обернутые бархатом.

— Как она оказалась в нашем доме? — спросил Макс. — Ведь завтра похороны.

— А сегодня я должен провести вскрытие для моего частного исследования. Мистер Кучнер понимает, он с удовольствием идет мне навстречу. Ведь это значит, что когда-нибудь другая женщина не умрет от болезни, унесшей его жену.

В одну руку он взял колышек, в другую — деревянный молоток.

Руди заплакал.

Макс чувствовал, что он разделяется на две сущности. Его тело шагнуло вперед, но его самого там не было: он оставался рядом с Руди и обнимал всхлипывающего мальчика за плечи. Руди умолял сквозь слезы:

— Пожалуйста, я хочу наверх.

Макс смотрел, как он подходит к своему отцу. Абрахам же следил за приближающимся сыном со смешанным выражением удивления и смутного одобрения.

Он вручил Максусу молоток, и это действие объединило двух Максов. Он снова был в своем теле, осознавал вес молотка, от которого напряглось запястье. Отец взял другую руку Макса и поднес ее к тощим грудям миссис Кучнер, прижал кончики его пальцев между двумя ребрами. Макс взглянул на лицо женщины. Ее рот был открыт, как будто она что-то говорила.

«Никак ты пытаешься лечить меня, Макс Ван Хельсинг?»

— Вот сюда, — сказал Абрахам, вкладывая в его пальцы колышек. — Нужно вбить его в эту точку. По рукоятку. В настоящем деле первый удар вызовет крики, богохульство, яростные попытки вырваться. Проклятые никогда не уходят без борьбы. Не поддавайся. Не останавливайся до тех пор, пока не проткнешь ее и она не прекратит сопротивляться. Все закончится довольно быстро.

Макс поднял молоток. Он смотрел в ее лицо и хотел сказать, что ему жаль, что он не хочет этого делать. Когда молоток с громким стуком опустился, раздался высокий пронзительный вопль. Макс тоже чуть не закричал, на миг поверив, что это она, что она еще жива. Потом он понял, что кричал Руди. Макс был крепкого сложения, с мощной грудью буйвола и плечами скандинавского фермера. Первым же ударом он вбил колышек на две трети требуемой глубины. Оставалось еще один раз замахнуться молотком. Кровь, выступившая вокруг дерева, была холодной и липкой.

В голове стало пусто и легко. Макс покачнулся.

— Гут, — прошептал ему на ухо отец. Абрахам обнял его за плечи и прижал к себе так крепко, что хрустнули ребра. Макс вздрогнул от удовольствия — автоматическая реакция на благосклонность отца, — и его замутило от отвращения к себе. — Непросто совершить акт насилия над обителью духа человеческого, даже если дух уже покинул ее.

Отец продолжал сжимать его плечи, а Макс все смотрел на разинутый рот миссис Кучнер, на аккуратный ряд верхних зубов. Она так напоминала ту девушку на фотоснимке — с головкой чеснока, втиснутой между челюстями.

— А куда делись ее клыки? — спросил Макс.

— Что? У кого? Какие клыки? — удивился отец.

— На фотографии девушки, которую ты убил, — пояснил Макс и повернул голову, чтобы посмотреть отцу в глаза. — Там не было клыков.

Абрахам непонимающе хмурился. Потом сказал:

— Они исчезают, когда вампир мертв: «Пшик!»

Он убрал руку с плеч сына, и Макс снова смог нормально дышать. Отец выпрямился.

— И второе, что нужно сделать, — произнес он. — Отсечь голову, а рот набить чесноком. Рудольф!

Макс медленно обернулся. Его отец отступил на шаг, в руке его блестел широкий нож — Макс не видел, откуда появился инструмент. Руди пятился к выходу и уже поднялся на несколько ступенек вверх по лестнице. Он стоял, прижавшись к стене и закусив кулак, чтобы подавить рвущийся наружу вопль. Его била неудержимая крупная дрожь.

Макс потянулся к ножу, взялся за рукоятку.

— Я все сделаю.

И он бы сделал, он не сомневался в себе. Ему вдруг стало ясно: в нем всегда жила эта склонность кромсать плоть и проливать кровь — склонность, доставшаяся ему от отца. Открытие ужаснуло его.

— Нет, — возразил отец и потянул нож к себе, оттолкнув другой рукой Макса. Макс налетел на верстак, и от удара несколько колеев свалились в пыль. — Подбери, — приказал отец.

Руди бросился вверх, но споткнулся и упал на четвереньки. Отец в два шага догнал его, схватил за волосы и швырнул с лестницы вниз. Руди глухо ударился об пол, растянулся животом вниз. Медленно перекатившись на спину, он уставился на отца. Из его горла вырывался дикий, хриплый, неузнаваемый голос:

— Пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Я боюсь. Пожалуйста, папа, не надо!

С молотком в одной руке и с кольями в другой Макс шагнул вперед. Он хотел вмешаться, но отец развернулся, поймал его за локоть и толкнул к лестнице.

— Наверх. Немедленно. — И снова толкнул сына.

Макс упал на ступени, ободрал бедро.

Отец нагнулся, пытаясь схватить Руди за руку, но тот увернулся и пополз по грязному полу в дальний угол.

— Не бойся. Я помогу тебе, — стал уговаривать его отец. — Шея очень хрупкая. Все произойдет быстро.

Руди тряс головой и забирался все глубже в угол, за угольный ящик.

Отец швырнул нож на пол.

— Тогда останешься здесь до тех пор, пока не станешь сговорчивее.

Он повернулся, подхватил Макса за руку и потянул его к двери.

— Нет! — взвизгнул Руди.

Он вскочил на ноги и бросился к лестнице.

Но под ногами у мальчика оказалась рукоятка ножа, он споткнулся и упал на колени. К тому времени, когда он снова поднялся на ноги, Абрахам уже вытолкнул Макса за дверь и вышел сам. Дверь за ними захлопнулась. Секундой позже Руди ударился о дверь с другой стороны. Отец повернул в замке серебряный ключ.

— Пожалуйста! — рыдал Руди. — Я боюсь! Я боюсь! Выпусти меня!

Макс стоял в кухне. В ушах у него звенело. Он хотел сказать отцу: хватит, открой дверь, но не мог произнести ни слова. Как обычно, в горле перехватило дыхание. Его руки висели вдоль боков, тяжелые, будто сделаны из меди. Нет, они не из меди. Они тяжелые от предметов, что он сжимает в пальцах. Молоток. Колья.

Отец пытался отдышаться, прижавшись широким лбом к дверной панели. Потом он поднял всклокоченную голову. Его воротничок отстегнулся и сбился на сторону.

— Видишь, что мне приходится из-за него делать? — сказал он. — Твоя мать была такой же упрямой и истеричной, так же нуждалась в твердом руководстве. Я пытался, я...

Старик стал поворачивать голову, чтобы взглянуть на сына, и в этот миг Макс ударил его молотком. Отец успел испугаться, а потом — удивиться. Удар пришелся в челюсть. Раздался костяной треск. Сила удара была такова, что Макс почувствовал отдачу в локте. Отец осел на одно колено. Второй удар заставил его опрокинуться на спину.

Веки Абрахама сомкнулись, он начал проваливаться во мрак небытия, но вновь раскрыл глаза, когда Макс уселся ему на грудь. Отец пытался что-то сказать, однако Макс уже наслушался достаточно. Время разговоров прошло, да он никогда и не любил говорить. Сейчас нужно работать не языком, а руками. К такой работе он, похоже, имел природную склонность. Для нее, может быть, он и рожден.

Он приставил колышек к тому месту, что показывал ему отец, и ударил по рукоятке молотком. Оказалось, что в подвале отец говорил правду. После первого удара были и крики, и богохульство, и яростные попытки вырваться, но все закончилось довольно быстро.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДОМА

По телевизору показывают, как моего отца вот-вот снова вышвырнут из игры. Я уже вижу это. Зрители на домашнем стадионе «Тигров» тоже догадываются, судя по грубым и радостным крикам. Им хочется, чтобы его вышвырнули. Они только того и ждут.

Я знаю, что его отстранят, потому что судья основной базы пытается уйти от отца, а тот следует за ним как хвост. Отец засунул все пальцы правой руки в штаны, а левой рукой сердито жестикулирует в воздухе. Комментаторы оживленно болтают, пересказывая тем, кто смотрит матч по телевизору, что доказывает судье отец и что судья решительно отказывается слышать.

— Мы все видели, как развивается ситуация. Эмоции накалились до предела, и можно было предугадать, что рано или поздно они перельются через край, — говорит один из комментаторов.

Тетя Мэнди нервно смеется:

— Джессика, не хочешь взглянуть? Эрни опять довел себя до истерики.

В дверях кухни появляется мама. Она видит происходящее на экране и прислоняется к косяку, сложив на груди руки.

— Не могу смотреть, — говорит Мэнди. — Меня это *так* расстраивает.

Тетя Мэнди сидит на одном конце дивана. Я устроился на другом, подобрав под себя ноги. Я качаюсь вперед и назад. Я не могу сидеть спокойно. Что-то заставляет меня раскачиваться. Мой рот открыт и делает то, что всегда делает, когда я нервничаю. Я даже не знаю, что он это делает, пока не чувствую теплую сырость в уголке рта. Когда я напряжен, рот у меня раскрывается сам по себе и из него начинает течь вода — прямо по подбородку. А еще, когда я взвинчен — вот как теперь, — я невольно произвожу такие сосущие звуки. Это я всасываю слюни обратно в голову.

Коминс, судья третьей базы, втискивается между Уэлки — судьей основной базы — и моим отцом, давая Уэлки шанс улизнуть. Отец мог просто обойти Коминса, но он не делает этого. Вот неожиданно позитивное развитие событий, знак того, что худшего может не произойти. Отец раскрывает и закрывает рот, размахивает левой рукой, а Коминс слушает, улыбается, качает головой добродушно и понимающе, но все же твердо. Отец недоволен. Наша команда проигрывает со счетом «четыре — один». «Детройт» поставил подающим какого-то новичка — человека, ни разу в жизни не выигравшего ни одной игры в высшей лиге и, по сути, проигравшего все свои пять игр. Несмотря на эту всем известную бездарность, сейчас он за пять иннингов сделал восемь страйк-аутов. Мой отец недоволен последним страйк-аутом, который присудили из-за замаха бьющего. Он недоволен, потому что Уэлки объявил страйк-аут, не уточнив у судьи третьей базы, была остановка замаха или нет. Ему положено в таких случаях советоваться, а он не стал.

Но Уэлки и не должен ничего уточнять у Коминса с третьей базы. И так было очевидно, что бьющий Рамон Диего завел головку биты за пределы пластины «дома», а потом попытался вернуть ее обратно, перегнув запястье, чтобы судья подумал, будто он не замахивался. Но он замахивался. Все видели, что он замахнулся, все знают, что его обманула «тонущая» подача, почти что поднявшая пыль перед «домом». То есть это знают все, кроме отца.

Но вот отец говорит Коминсу несколько слов напоследок и направляется к даг-ауту. Он прошел уже почти половину пути без каких-либо происшествий, но вдруг разворачивается и что-то орет судье основной базы Уэлки. Уэлки в тот момент стоит спиной к отцу. Уэлки нагнулся, чтобы разместить щеткой пластину «дома». Он растопырил широкие половинки зада, направив в сторону отца свой объемистый тыл.

Не знаю, что именно кричит ему отец, но Уэлки мгновенно оборачивается, подскакивает на фут от земли в смешном, как у всех толстяков, прыжке и выбрасывает вверх один палец. Отец швыряет кепку оземь и вприпрыжку несется к «дому».

Когда такое происходит, первыми сходят с ума отцовские волосы. Пять иннингов они прятались под кепкой и теперь вырываются на свободу, сырые от пота. Порывистый ветер

Детройта подхватывает их и треплет. В результате с одного боку волосы приплюснуты, а с другого — торчат, как будто отец заснул с мокрой после душа головой. Волосы прилипают к его загорелой и потной шее. Волосы развеваются на ветру, пока он орет.

Мэнди говорит:

— Боже мой, только посмотри на него.

— Да. Вижу, — говорит мама. — Еще один отличный кадр для фильма о подвигах Эрни Фельтца.

Уэлки складывает руки на груди. Он уже все сказал и молча созерцает моего отца из-под нависших бровей. Отец пинает ботинком комья земли. Снова между ними пытается втиснуться Коминс, но отец пинает землю прямо в него. Отец стягивает куртку и швыряет ее на поле. Потом пинает и ее. Он пинает ее вплоть до линии третьей базы. Потом поднимает ее и бросает в сторону внешнего поля, но она пролетает всего несколько футов и падает. Несколько «тигров» собрались у площадки питчера. Их игрок второй базы быстро прикрывает рот перчаткой, чтобы отец не увидел, как он смеется. Он отворачивает лицо в сторону, его плечи подрагивают.

Отец вскакивает в даг-аут. У стенки даг-аута выстроены три башни из пластиковых стаканчиков. Он ударяет по ним обеими руками, и они рассыпаются по траве. Кулеры с «Гаторэйдом» он не трогает, ведь игрокам захочется пить после игры, зато хватает чей-то шлем и закидывает его на поле, и шлем докатывается аж до третьей базы. Мой безумный отец кричит еще что-то в адрес Уэлки и Коминса, потом выходит из даг-аута и исчезает из виду. Однако это еще не все. Внезапно он снова показывается — как тот тип в хоккейной маске из фильма ужасов, несчастное существо, которое, кажется, уже в сотый раз уничтожили, прекратив его мучения, но оно раз за разом возвращается, чтобы убивать снова и снова.¹ Отец выгребает из ящика целую охапку бит и бросает их на поле. Потом он стоит и просто кричит что-то, брызгая слюной, со слезами на глазах. Какой-то парнишка уже принес его куртку ко входу в даг-аут, но боится подходить ближе к разъяренному Эрни, поэтому отец сам подходит к нему и вырывает куртку из его рук. Он разражается последней серией «ласковых» слов и натягивает куртку, правда наизнанку. Поблескивая белым ярлыком на шее, теперь он скрывается из виду окончательно. Я прерывисто выдыхаю. Оказывается, глядя на это, я забывал дышать.

— Примечательный эпизод, — отзывается тетя.

— Пора купаться, малыш, — говорит мама, подходя ко мне и запуская руки в мои волосы. — Самое интересное уже закончилось.

В спальне я раздеваюсь до трусов. Я иду через прихожую в ванную, но слышу звонок телефона в комнате родителей и бросаюсь животом на их кровать, чтобы первым снять трубку.

— Резиденция Фельтцов.

— Привет, Гомер, — говорит отец. — У меня выдалась свободная минутка. Подумал, хорошо бы звякнуть тебе и пожелать спокойной ночи. Ты смотришь игру?

— Угу, — говорю я и всасываю слюни.

Я не хочу, чтобы он слышал это, но он все равно слышит.

— Как ты?

— Это все рот. Он сам. Я тут ни при чем.

— Ты что, переживаешь?

— Нет.

— Солнышко, с кем ты там разговариваешь? — кричит из кухни мама.

— С папой!

— Ты думаешь, он остановил замах? — ставит отец вопрос ребром.

— Сначала было непонятно, но потом показали повтор, и тогда стало ясно.

— О, черт, — произносит отец, а потом трубку второго телефона берет мама и подключается к нашему разговору.

¹ Имеется в виду герой фильма Шона Каннингема «Пятница, 13-е» (1980).

— Привет, — говорит она. — Вам звонят из журнала «Хорошая игра».

— Как дела? — спрашивает отец. — У меня выдалась минутка, вот я и решил перекинуться с мальчонкой парой слов.

— С моего места дело выглядит так, будто ты освободился на целый вечер.

— Я не утверждаю, что вел себя как подобает.

— Действительно, подобающим твое поведение не назовешь, зато каким оно было вдохновенным! Это один из тех великолепных бейсбольных эпизодов, что заставляют душу петь. Подобный тому, когда видишь мощный хоумран или слышишь, как третий страйк впечатывается в ловушку кетчера. Есть нечто волшебное в том, как Эрни Фельтц называет судью грязнозадый крысиный ублюдком, а потом его волокут в смиренной рубашке молодцы в белых халатах.

— Ладно, — отвечает отец. — Знаю. Выглядело это плохо.

— Тут есть над чем поработать.

— Что ж. Проклятье. Я извиняюсь. Серьезно. Я не шучу, мне очень жаль, — говорит он. — Эй, скажи мне только одну вещь!

— Какую?

— Ты видела повтор? Как тебе кажется, замахивался он или нет?

Течь из угла рта, которая начинается всякий раз, когда я нервничаю, это не единственная моя проблема — просто наиболее очевидная. Из-за таких проблем я два раза в месяц хожу на прием к доктору Фаберу. Мы встречаемся с доктором Фабером, чтобы обсудить со стратегической точки зрения, как справляться с неприятными мне вещами. Мне неприятны многие вещи. Например, я не выношу алюминиевой фольги — от ее вида меня начинает тошнить и мутить, а от звука сминаемой фольги у меня болят зубы и даже уши. Еще меня ужасно раздражает звук перемотки на видеомагнитофоне. Мне приходится выбегать из комнаты, едва раздастся этот механический шелест, когда лента протягивается через шпули. А запах свежей краски или фломастеров без колпачков — нет, о таком лучше не вспоминать.

Я знаю: когда я ковыряюсь в еде, чтобы внимательно рассмотреть отдельные ее компоненты, это малоприятное зрелище. В основном я делаю это с гамбургерами. На меня произвела сильнейшее впечатление телевизионная программа с рассказом о том, что будет, если съесть некачественный гамбургер. В нем могут быть кишечные палочки или мясо бешеных коров; в передаче даже показали бешеную корову — она сворачивала голову набок и с ревом металась по загону. Когда мы идем в «Вендис» и заказываем гамбургеры, я прошу папу снять с моего гамбургера фольгу, а потом разбираю его на части: отдельно овощи, чтобы можно было отбросить все, что выглядит подозрительно, и отдельно котлету, чтобы принюхаться как следует, не испорчена ли она. Между прочим, мне целых два раза попадалась испорченная котлета, и я отказывался есть. В обоих случаях мой отказ сопровождался суперскандалом между мной и мамой на тему, действительно ли мясо несвежее. Разумеется, подобные противостояния неизбежно приводят к одному — к брыканию. Брыканье — это тоже моя проблема. Она состоит в том, что я ложусь на пол, ору и отбрыкиваю ногами от всех, кто притрагивается ко мне или просто подходит слишком близко. Доктор Фабер называет мое брыканье истерическими припадками. Поэтому теперь я взял за правило молча выбрасывать подозрительный гамбургер в мусор, не обсуждая его качество, и есть только булку. Должен сказать, другие мои диетические особенности тоже доставляют немало хлопот. Я ненавижу вкус рыбы. Я не ем свинины, потому что из нее вылезают маленькие белые червячки, если на сырое мясо налить алкоголь. А вот что мне нравится, так это мюсли. Если бы мне разрешили, я бы ел мюсли три раза в день. Кроме того, я с удовольствием ем консервированные фрукты. В парке я готов съесть пакетик фисташек, а хот-дог — ни за что, ни под каким соусом. И еще я не пью чаю, поскольку из-за кофеина становлюсь гиперактивным и у меня может пойти из носа кровь.

Доктор Фабер — неплохой парень. Обычно во время приема мы сидим на полу в его кабинете, играем в конструктор и заодно разговариваем.

— Конечно, я слышал нелепости и раньше, но это ни в какие рамки не влезает, — говорит мой психиатр. — Ты считаешь, «Макдоналдс» продает испорченные гамбургеры? Да они разорятся! Их тут же засудят. — Он замолкает, чтобы установить очередную деталь, потом поднимает на меня глаза и говорит: — Лучше перестать обсуждать неприятные чувства, охватывающие тебя каждый раз, когда ты кладешь в рот кусок еды. Мне кажется, ты делаешь из мухи слона. Воображение играет с тобой дурные шутки. Скажу тебе одну вещь. Предположим, тебе и вправду попалась протухшая котлета (хотя я по-прежнему утверждаю, что это маловероятно — ведь «Макдоналдс» крайне заинтересован в том, чтобы никто не вчинил им иск), но *даже если* — люди порой едят весьма несъедобные вещи и при этом не умирают.

— Тодд Дикки, тот, что играет у нас на третьей базе, однажды съел белку, — вспоминаю я. — За тысячу долларов. Тогда он еще играл в младшей лиге. Их автобус раздавил белку, когда парковался задним ходом, и он ее съел. Он рассказывал, что там, откуда он родом, все едят белок.

Доктор Фабер недоверчиво уставился на меня; на его приятном круглом лице написано отвращение.

— И откуда он родом?

— Из Миннесоты. Там в основном и питаются белками. Так Тодд говорит. Тогда у них остаются деньги на более важные вещи — на пиво и лотерейные билеты.

— И как он ее съел — сырой?

— Фу, нет, конечно. Он пожарил ее. С соусом «чили». А потом хвастался, что это был самый легкий заработок в его жизни. Тысяча долларов. В младшей лиге это большая сумма. Десять парней скидывались по сотне. Тодд сказал, что это как съесть гамбургер за штуку.

— Точно, — подхватывает он. — И это снова возвращает нас к ситуации с «Макдоналдсом». Если Тодд Дикки съел белку, предварительно размазанную по асфальту, — я, как врач, никому не порекомендую подобное блюдо — и в результате никак не пострадал, то тебе вполне по силам справиться с обычным «биг-маком».

— Не-е-ет.

Я отлично понимаю логику его рассуждений. Правда. Он говорит, что Тодд Дикки — молодой спортсмен-профессионал, но при этом спокойно ест всякую гадость вроде белки под соусом «чили» и «биг-маков», из которых брызжет жир, и не умирает от коровьего бешенства. В какой-то момент я перестаю спорить. Но я знаю Тодда Дикки — нормальным его назвать нельзя. У этого парня явно не все дома.

Когда Тодда выпускают на поле и он выходит на третью, он всегда делает одну странную вещь: прижимает перчатку ко рту и как будто шепчет в нее что-то. Рамон Диего, наш шорт-стоп и мой лучший друг, говорит: да, он действительно шепчет. Он смотрит, как отбивающийся приближается к пластине, и шепчет:

— Бей его, жги его. Бей его, жги его. Раз и готово. Бей его или жги его. Или *задери* его. Что угодно. Или бей, или жги, или задери, задери, задери этого парня, этого гребаного парня!

Рамон говорит, что у Тодда вся перчатка заплевана.

А когда ребята начинают болтать о фанатках, с которыми имели дело (мне не положено присутствовать при подобных разговорах, но попробуйте пообщаться с профессионалами и ни разу не услышать ничего такого), Тодд, обожающий массовые прославления «предвечного сладчайшего Иисуса», слушает их похвальбу с надутым и красным лицом. В глазах у него появляется очень странное выражение, мускулы на левой половине лица неожиданно начинают дергаться, а он *даже не знает, что его лицо делает то, что оно делает, когда оно это делает*.

Рамон Диего считает Тодда ненормальным, и я тоже так считаю. Все эти раздавленные белки не для меня. Если ты неотесанный бездушный деревенщина с кольцом сорок пятого калибра — это одно, но шепчущий псих с дегенеративным тиком на лице — совсем другое дело.

Папа отлично справляется со всеми моими проблемами. Например, когда брал меня с собой на выездные встречи и мы останавливались в Чикаго в гостинице «Фор сизонс». Наши тогда должны были играть с «Уайт сокс».

Нас поселяют в номер с большой гостиной, в разных концах которой — двери в его и мою спальни. Мы до полуночи смотрим кабельное телевидение. На ужин заказываем в номер фруктовый салат (его идея — я даже не просил). Он сидит в кресле, раздетый до трусов, пальцы правой руки засунуты под резинку — как всегда, если мамы нет рядом. Он смотрит фильм с таким сонным, рассеянным выражением лица. Я не помню, как заснул, и просыпаюсь, когда он поднимает меня с прохладного кожаного дивана и несет в мою спальню, и я утыкаюсь лицом ему в грудь и вдыхаю приятный запах его тела. Не могу точно сказать, чем он пахнет, но там есть запах травы и чистой земли, запах пота и раздевалки, а еще сладковатый привкус старой, пожившей кожи. Думаю, фермеры пахнут так же вкусно.

Когда он уходит, я лежу один в темноте, устроившись настолько удобно, насколько это возможно в гнезде из ледяных простыней, и вдруг слышу тонкий пронзительный вой — противный, словно звук перемотки видеокассеты в магнитофоне. Как только я различаю его, в коренные зубы втыкается первая игла ноющей боли. Я не хочу спать. Я наполовину проснулся, когда отец переносил меня в спальню, а холодные простыни прогнали остатки сна, поэтому я сажусь в кровати и прислушиваюсь к темному окружающему миру. На улице шуршат колеса машин, в отдалении кто-то сигналист. Я прикладываю к уху радиобудильник, но воет не он. Я выбираюсь из постели. Включаю свет. Наверное, это кондиционер. В обычных гостиницах кондиционер представляет собой металлический ящик, прибитый к стене под окном, но «Фор сизонс» слишком хорош для такого. Единственный предмет, напоминающий кондиционер, я нахожу под потолком. Это серое зарешеченное отверстие. Я становлюсь под ним и слышу: да, это оно. Я больше не могу выносить этот вой. Барабанные перепонки чуть не лопаются. Я вытаскиваю из своего рюкзака книжку, снова становлюсь под отверстием и бросаю книжку в него.

— Заткнись! Хватит! *Перестань!*

Пару раз я попадаю прямо в решетку — клац! бум! Из угла выпадает болтик, и вся решетка повисает на одной стороне, но лучше от этого не становится. Теперь кондиционер не только воет, но еще и дребезжит, будто внутри отошла какая-то деталь и бьется обо что-то. По моему подбородку ползет холодная струйка. Я втягиваю слюни обратно в рот и бросаю на злосчастную решетку последний взгляд, полный беспомощного отчаяния. Потом я затыкаю пальцами уши и бегу в гостиную, чтобы спрятаться от этого звука. Но там вой еще громче, идти мне некуда, и пальцы в ушах не помогают.

Невыносимый звук ведет меня в спальню к отцу.

— Пап, — говорю я и вытираю подбородок поднятым плечом. Вся челюсть у меня мокрая. — Пап, можно, я буду спать с тобой?

— Что? Ладно. Только у меня газы, так что берегись.

Я забираюсь к нему на кровать и натягиваю на себя простыни. Разумеется, в его комнате тоже слышен высокий пронзительный вой.

— Что-то не так? — спрашивает отец.

— Кондиционер. Он воет. У меня от него зубы болят. Я не нашел, где он выключается.

— Выключатель в гостиной. Справа от входа.

— Тогда я пойду и выключу, — говорю я, сползая к краю кровати.

— погоди, — говорит он и хватается за руку. — Это же Чикаго в середине июня. Днем больше сорока градусов. Тут сразу станет очень жарко. Серьезно. Мы просто подохнем, если выключим кондиционер.

— Но я не могу слушать этот вой. Ты слышишь его? Слышишь, как он воет? Это так же ужасно, как мять фольгу, папа. Даже еще хуже.

— Да, — отвечает он. Он некоторое время неподвижно лежит на кровати и тоже прислушивается к вою. Потом говорит: — Ты прав. Хреновые тут кондиционеры. Но это неизбежное зло. Без него мы задохнемся, как жуки в банке.

Его слова успокаивают меня. К тому же простыни нагрелись — когда я лег на них, они были холодными, как все гостиничные простыни, — и теперь я уже не дрожу так сильно. Мне лучше, хотя зубная боль стреляет прямо в уши и дальше в голову. Отец пускает газы, как он и предупреждал, но их кислый, тошнотворный запах действует на меня странно успокаивающе.

— Придумал, — говорит он. — Вот что мы сделаем. Пошли.

Он выскакивает из кровати. Я иду за ним в темноте. В ванной он щелкает выключателем. Свет заливают бежевое мраморное пространство. На раковине золотые краны, а в углу душ за дверью из рифленого стекла. В общем, гостиничная ванная твоей мечты. Возле раковины выстроилась целая коллекция бутылочек с шампунями, бальзамами, лосьонами, пакетики с мылом, в одном пластиковом контейнере — палочки для чистки ушей, в другом — ватные шарики. Отец открывает контейнер с ватными шариками, достает два шарика и сует по одному в каждое ухо. Я смеюсь над тем, как он стоит посреди всего этого мрамора с ватой, торчащей из больших загорелых ушей.

— Держи, — говорит он. — Заткни уши.

Я заталкиваю шарики глубоко в уши. После этого мир наполняется глубоким, гулким, ревущим шумом. Это *мой* шум, мой личный звук. Он доставляет мне огромное удовольствие.

Я смотрю на отца. Он говорит:

— Хомкхй чмн йхмн шмл ххмрхмрм трм хррр чмндхумммнхар?

— Что? — радостно ору я.

Отец кивает, соединяет большой и указательный палец в кольцо, и мы возвращаемся в постель. Вот что я имею в виду, когда говорю, что папа отлично справляется с моими проблемами. Мы оба хорошо выспались, а на следующее утро папа заказал в номер по банке консервированных фруктов и открывашку.

Но не все справляются с моими проблемами так же хорошо, как он; в частности — моя тетя Мэнди.

Тетя Мэнди пробовала себя во многих сферах деятельности, но нигде пока не преуспела. Мама и папа помогали ей оплачивать занятия по художественной фотографии, потому что одно время она хотела быть фотографом. Потом она передумала, и мои родители помогли ей открыть художественную галерею в Кейп-Коде. Но, как говорит тетя Мэнди, желе так и не загустело, дела не пошли, колесики не завертели. Она поступила в киношколу в Лос-Анджелесе и попыталась писать сценарии — не срослось. Она вышла замуж за человека, который, как она надеялась, должен был стать писателем, но из него вышел обычный школьный учитель, а следовательно — не очень удачливый человек. Тете Мэнди какое-то время даже пришлось платить *ему* алименты, так что и в замужестве она не преуспела.

Сама тетя говорит, что она все еще пытается уяснить, в чем ее предназначение. Отец же считает, что ответ на этот вопрос уже получен — Мэнди стала тем, кем ей суждено было стать. Это так же, как с Брэдом Макгэйном. Он был правым защитником, когда отец стал менеджером команды. В качестве отбивающего он заработал себе рейтинг 292, но как полевой игрок ни разу не выбил больше чем 200, несмотря на двадцать пять выходов с битой в последнем финале, где ему довелось играть. Он безнадежен, так говорит отец. Макгэйн дрейфует из команды в команду, и его продолжают нанимать из-за хорошей общей статистики. Все думают, что человек с таким ударом просто обязан *разбиваться* дальше, но они не видят, что он уже *развился* — именно в то, что мы имеем. Он стал тем, кем должен был стать. Не так много вариантов у славных молодых людей, связавших жизнь с бейсболом, или у женщин среднего возраста, которые выходят замуж не за тех, за кого надо, и вечно не удовлетворены тем, что имеют. Они ожидают, что жизнь должна предложить им нечто другое, и это другое будет гораздо лучше. Да и у всех нас немного вариантов, если на то пошло. Пожалуй, именно это тревожит меня в моем случае: несмотря на все заверения

доктора Фабера, мне не становится лучше, и я по-прежнему пребываю в том же состоянии, в каком находился всегда. А это далеко не идеальное состояние.

Нет нужды говорить — вы и сами, наверное, догадались по принципиальному различию их философий и мировоззрений, — что тетя Мэнди и мой отец не особенно симпатизируют друг другу, хотя и скрывают это, в основном — ради моей мамы.

Однажды в воскресенье мы вдвоем с тетей Мэнди поехали в Норт-Альтамонт — поскольку мама решила, будто я слишком много времени провожу на стадионе. На самом же деле ее беспокоило то, что команда проиграла пять раз подряд, а я, по ее мнению, из-за этого нервничал. В какой-то степени она была права. Неудачная серия и вправду огорчала меня. Никогда из меня не текло так сильно, как в тот сезон.

Не знаю, почему мы отправились именно в Норт-Альтамонт. Когда речь заходит о Норт-Альтамонте, тетя Мэнди всегда говорит, что надо «посетить» Линкольн-стрит. Как будто Линкольн-стрит в Норт-Альтамонте — это одно из таких мест, которые все знают и стремятся «посетить», как, например, во Флориде все «посещают» «Уолт Дисней уорлд», а в Нью-Йорке — бродвейское шоу. Все же нельзя не признать, что Линкольн-стрит — довольно милая улица спокойного тихого городка в Новой Англии. Она очень крутая, ее мостовая выложена кирпичом, а машинам по ней запрещено ездить, хотя прямо посередине люди водят лошадей, так что порой можно наткнуться на сухие зеленоватые лошадиные лепешки. Ну, там очень живописно.

Мы заходим в несколько магазинчиков, полутемных и пахнущих пачулями. В одном из них продают толстые свитеры из шерсти лам, выращенных в Вермонте, и негромко играет музыка — в ней смешаны звуки флейты, клавесина и птичий свист. В другой лавке нам предлагают работы местных ремесленников — глянцевых керамических коров, что прыгают через луну, тряся розовым выменем. Здесь из стереосистемы льются пронзительно-плавные психоделические мелодии в манере «Грэтфул Дэд».

Десять магазинов спустя мне становится скучно. Всю неделю я плохо спал — кошмары плюс колотье и так далее, и поэтому хождение утомило меня. Настроение не улучшается, когда мы заходим в очередную лавку — антикварную, расположившуюся в бывшем каретном сарае. Здесь не играет ни «нью-эйдж», ни музыка хиппи, зато слышатся куда более жуткие звуки — репортаж с воскресной игры. В магазине нет даже стереосистемы, только маленький радиоприемник на прилавке. Владелец магазина, пожилой мужчина в комбинезоне, слушает репортаж, засунув в рот большой палец. В его глазах застыла отчаянная безнадежность.

Я хожу вокруг прилавка, чтобы понять, как идут дела и чем так потрясен владелец. Наши принимают. Отбивать выходит Хэп Диел — и мгновенно пропускает пару страйков.

— Нынче Хэп Диел играет просто убийственно, — говорит комментатор. — За последние восемь дней он набрал невообразимые сто шестьдесят, и тут нельзя не задаться вопросом: почему же Эрни упорно, раз за разом ставит его на игру, хотя его буквально размазывают по пластине? Партридж выходит на позицию, подает и вот... о, Хэп Диел замахивается на плохой мяч, очень плохой мяч, мяч пролетает в миле от его головы... ого, погодите-ка — кажется, он упал, судя по всему, он получил травму...

Тетя Мэнди говорит, что мы прогуляемся до парка Уилхаус и устроим пикник. Я привык к городским паркам с их широкими газонами и асфальтированными дорожками, где разъезжают на роликах девчонки. А парк Уилхаус густо зарос высокими мощными елями и потому кажется мне мрачным. Дорожки здесь не для роллеров — они засыпаны гравием. Игровой площадки нет. Теннисных кортов нет. Нет даже бейсбольного поля! Только таинственный полумрак, пропитанный запахом хвои (широкие ветви рождественских деревьев не пропускают солнечный свет), да изредка прошумит между веток ветер.

— Вон там отличное местечко для пикника, — говорит тетя. — Мы только перейдет этот симпатичный мостик.

Мы выходим на лужайку, но даже здесь как-то сумрачно. Кривая тропка выводит нас к крытому мосту на высоте не больше ярда над широкой медленной рекой. На другом берегу растянулся травянистый пологий склон, кое-где стоят скамейки.

С первого взгляда я проникаюсь недоверием к этому крытому мосту. В середине он явно провис. Давным-давно мост был красным, как пожарная машина, но годы и дожди смыли почти всю краску, и никто не потрудился подновить ее. Обнажившаяся древесина выглядела рассохшейся, гнилой и в высшей степени ненадежной. Внутри туннеля скопились пакеты с мусором, многие свертки разорвались и мусор вывалился наружу. Я на секунду останавливаюсь в нерешительности, и тетя Мэнди ныряет в туннель первой. Без особого энтузиазма я топаю за ней. Когда я вхожу на мост, Мэнди уже на том берегу.

В туннеле я снова останавливаюсь. Тошнотворно пахнет чем-то сладким: это запах гниения и плесени. Узкий проход петляет между завалами мусора. Вонь и сумрак, как в сточной трубе, обескураживают меня, но тетя Мэнди уже далеко, я не вижу ее, и мне страшно оставаться одному. Я тороплюсь за ней.

Но, пройдя всего несколько ярдов, я делаю глубокий вдох и... не могу двинуться дальше — меня останавливает запах. Я учуял в воздухе запах грызунов — жаркий перхотный крысиный дух с примесью аммиака, гнусная вонь *летучих мышей*. Этот запах я раньше встречал на чердаках и в подвалах. В моем воображении мгновенно возникает потолок, сплошь покрытый летучими мышами. Я воображаю, как запрокидываю голову и вижу колонию летучих мышей: их тысячи и тысячи, они копошатся сплошным меховым ковром, составленным из множества коричневых тел с тонкими крыльями. Я воображаю, что слышу их слабое попискивание, так похожее на едва различимый писк плохо работающих кондиционеров и звук перемотки видеокассеты. Я воображаю летучих мышей, но никакая сила не заставит меня взглянуть наверх. Если я увижу хоть одну летучую мышь, меня в тот же миг убьет страх. Одеревеневший от ужаса, я делаю несколько шажков и наступаю на кусок газеты. Бумага шуршит так неприятно, что я отпрыгиваю назад. У меня чуть сердце не выскочило из груди от этого звука.

И тут я снова на что-то наступаю — на что-то круглое, возможно, бревно. Оно поворачивается у меня под ногой. Я чуть не падаю, размахиваю руками, чтобы удержать равновесие, и каким-то образом мне удается устоять на ногах. Я наклоняюсь посмотреть, на что я наступил.

Это вовсе не бревно, а человеческая нога. В куче прелых листьев лежит мужчина. У него на голове грязная бейсбольная кепка с символикой нашей команды, когда-то темно-синяя, а теперь побелевшая по краю от застарелых пятен пота. Одет он в джинсы и клетчатую рубашку. В его бороде застряли листья. Я смотрю на него, парализованный приступом паники: я только что наступил на него, а он *не проснулся*.

Я смотрю на его лицо и, как рисуют в комиксах, дрожу от ужаса. Мои глаза улавливают какое-то движение. Это муха ползет по его верхней губе. Тело мухи поблескивает, словно капля расплавленного металла. Муха подползает к углу рта, на миг останавливается и залезает внутрь. А человек все равно *не просыпается*.

Я визжу — именно визжу, по-другому не скажешь. Я разворачиваюсь, бегу прочь с моста и на берегу продолжаю визжать до хрипа, призывая тетю Мэнди.

— Тетя Мэнди, вернись! Вернись *сейчас же!*

Она возникает в дальнем от меня конце туннеля.

— Что ты орешь как резаный?

— Тетя Мэнди, иди сюда, иди сюда, пожалуйста!

Я всасываю в рот слюни. Я только что осознал, что мой подбородок весь мокрый.

Она начинает переходить мост, идет ко мне, опутив голову, будто борется со встречным ветром.

— Прекрати орать немедленно. Прекрати! Чего ты орешь?

Я показываю:

— Из-за *него!*

Она останавливается и смотрит на неподвижное тело бедняги, присыпанное мусором и старой листвой. Она долго смотрит на него, а потом говорит:

— А, из-за него. Понятно. Что ж, с ним все будет в порядке, Гомер. Пусть он

разбирается со своими делами, а мы займемся своими. Пошли!

— Нет, тетя Мэнди, давай уйдем отсюда! Пожалуйста, иди ко мне, пожалуйста!

— Я не намерена выслушивать эту ерунду более ни секунды. Быстро переходи мост.

— Нет! — ору я. — Нет, я не пойду!

Я разворачиваюсь и бегу, меня захлестывает паника, меня мутит от страха, мутит от запаха помойки, от летучих мышей, от мертвеца и от ужасного хруста старой газеты, от крысиной вони, от того, что Хэп Диел замахнулся на очевидный промах, и наша команда сливает этот сезон, как слила прошлогодний; я бегу, заливаясь слезами и размазывая по лицу слюни, и как бы часто я ни всхлипывал, в моих легких воздуха не прибавляется.

— Прекрати! — вопит мне в ухо тетя Мэнди. Она догнала меня и бросает на землю сумку с едой, чтобы освободить руки. — Хватит! Господи, да *заткнись* же!

Она хватается за пояс. Я вырываюсь и кричу. Я не хочу, чтобы меня поднимали, не хочу, чтобы меня трогали. Локтем я попадаю ей прямо в глаз, раздаётся звонкий костяной стук. Она вскрикивает, и мы оба валимся на землю — я внизу, она сверху. Ее подбородок вонзается мне в макушку. От боли я визжу пуще прежнего. Ее челюсти лязгнули, сомкнувшись, и она стонет, ослабив хватку. Я вскакиваю на четвереньки, я почти выбрался из-под нее, однако она цепляется обеими руками за резинку моих шортов.

— Проклятье! Прекрати это!

Мое лицо пылает адским жаром.

— Нет! Я не пойду туда, я не пойду туда, отпусти меня!

Я снова бросаюсь вперед, отрываюсь от земли, как раннер, уходящий от блока, — и вот я уже я на свободе, изо всех сил мчусь по тропе, а позади раздаются ее вопли.

— Гомер! — надрывается она. — Гомер, немедленно вернись, кому говорят!

Я почти добежал до Линкольн-стрит, когда почувствовал между ног холодок. Я смотрю вниз и понимаю, как мне удалось вырваться. Она держала меня за шорты, а я вылез из них — из шортов и всего остального. Я смотрю на свое мужское снаряжение, наблюдаю за тем, как оно — розовое, гладкое, маленькое — бьется на бегу то об одно бедро, то о другое. Вид собственной наготы вызывает у меня неожиданный восторг.

Она снова настигает меня почти у самой нашей машины, оставленной на Линкольн-стрит. На глазах у всей улицы она хватается за волосы, мы падаем и продолжаем бороться.

— Да садись же ты в машину, дерьмо слабоумное! — кричит она. — Сумасшедший придурок!

— Жирная шлюха! — ору я. — Буржуйская паразитка!

Ну, не совсем так. Но что-то в этом духе.

Точно не знаю, но мне кажется, что происшествие в парке Уилхаус стало последней каплей. Через две недели, когда у команды выходной, мы всей семьей едем в Вермонт, чтобы по настоянию мамы посетить интернат с громким названием «академия Байдена». Мне она говорит, что там обычная начальная школа, но я видел их брошюру, где полно этих зашифрованных слов — «особые потребности», «социальная адаптация», так что я знаю, какую школу мы едем смотреть.

На ступенях главного здания интерната нас встречает молодой человек в поношенной голубой рубашке, джинсах и туристских ботинках. Он представляется как Арчер Грейс. Он из приемной комиссии. Он покажет нам школу. Академия Байдена расположена в Белых горах. Ветер, свистящий в соснах, приносит с гор холодок, и, хотя на дворе еще август, в воздухе витает бодрящая прохлада первенства страны.¹ Мистер Грейс ведет нас по кампусу. Мы разглядываем немногочисленные кирпичные строения, увитые ярко-зеленым плющом. Мы заглядываем в пустые классы. Мы входим в аудиторию, обитую панелями темного дерева. На окнах аудитории — тяжелые алые шторы, у одной стены стоит мраморный молочно-белый бюст Бенджамина Франклина, у другой — бюст Мартина Лютера Кинга из черного камня

¹ Заключительные игры бейсбольного сезона в США, так называемая Мировая серия, проводятся в октябре.

вроде оникса. Бен хмурится через комнату на пастора, а тот как будто только что проснулся и слегка припух со сна.

— Мне кажется или здесь действительно душно? — спрашивает мой отец. — Кислорода маловато.

— Перед началом осеннего семестра все помещения тщательно проветриваются, — отвечает мистер Грейс. — Сейчас в академии почти никого нет, только несколько ребят с летней программы.

Мы друг за другом выходим на улицу и попадаем в рощу огромных деревьев с гладкими серыми стволами. В одном конце рощи виднеется раковина амфитеатра и ряды сидений. Там проводятся выпускные церемонии и изредка — школьные концерты и спектакли.

— Чем это пахнет? — спрашивает папа. — Никто не чувствует? Здесь как-то странно пахнет.

Интересно, что и мама, и мистер Грейс притворяются, будто не слышат его. У мамы множество вопросов к мистеру Грейсу относительно школьных спектаклей. Словно отца рядом нет.

— Что это за прекрасные деревья? — спрашивает мать, когда мы покидаем рощу.

— Это гинкго, — отвечает мистер Грейс. — А вы знаете, что в мире больше не осталось растений, подобных гинкго? Это единственный вид доисторических деревьев, доживший до наших дней. Остальные давно исчезли с лица земли.

Отец останавливается у одного из стволов. Он царапает ногтем кору. Потом нюхает палец и кривится.

— Так вот чем здесь воняет, — говорит он. — Вымирание — не всегда плохо, знаете ли.

Мы смотрим на бассейн. Мистер Грейс говорит о физиотерапии. Он показывает нам беговую дорожку. Он рассказывает об олимпиаде для особых детей. Он показывает бейсбольное поле.

— Значит, у вас есть команда, — замечает отец. — И вы проводите соревнования. Так?

— Да. У нас есть команда, иногда проводятся игры. Но наши занятия — это больше, чем просто игра, — говорит мистер Грейс. — В Байдене мы ставим перед детьми задачу: постоянно учиться, в каждый момент жизни. Даже когда они играют. Поле — тоже класс. На поле дети могут развить крайне важные навыки: например, улаживать конфликты, строить отношения с другими членами социума, снимать напряжение посредством физической активности. Тут весьма уместно вспомнить одну известную фразу: победа — не главное, главное — участие. Не важно, выиграл ты или проиграл; важно, что ты вынес из этой игры и чему научился, важен твой эмоциональный рост.

Мистер Грейс поворачивается и направляется в обратный путь.

— Ничего не понял. Что он хотел сказать? — недоумевает отец. — Мы словно говорим на разных языках.

Моя мама тоже идет вслед за мистером Грейсом.

— Я не понял, — повторяет папа. — Кажется, он пытался втолковать мне, что они играют в жалкое подобие настоящей игры, без страйк-аутов.

В конце нашей экскурсии мистер Грейс приводит нас в библиотеку, и там мы встречаем одного ученика из летней программы. Мы входим в большую круглую комнату, вдоль стен которой стоят книжные полки розового дерева. Где-то постукивает компьютерная клавиатура. На полу лежит мальчик примерно моего возраста. За правую руку его держит женщина в клетчатом платье. Наверное, она хочет поднять мальчика на ноги, но у нее получается только возить его по кругу.

— Джереми! — говорит она. — Если ты не встанешь, мы не пойдем играть на компьютере. Ты слышишь меня?

Джереми не отвечает, и она продолжает таскать его круг за кругом. В какой-то момент я встречаюсь с мальчиком глазами. Он провел по мне пустым взглядом. У него тоже течь — весь подбородок в слюнях.

— Хочу-у-у, — тянет он высоким идиотским голосом. — Хочу-у-у.

— В библиотеке совсем недавно установили четыре новых компьютера, — сообщает мистер Грейс. — Предусмотрен даже выход в Интернет.

— Ах, какой мрамор, — говорит мама.

Отец кладет руку мне на плечо и тихонько сжимает пальцы.

В первое воскресенье сентября мы с папой идем на стадион. Разумеется, мы приходим слишком рано, там еще никого нет, только парочка новичков, явившихся ни свет ни заря, чтобы произвести впечатление на моего отца. Он же садится в кабинку за экраном, откуда видна основная база, беседует с Шонесси из спортивной рубрики местной газеты и одновременно играет со мной в игру. Она называется «Игра секретных предметов». Папа составляет список вещей, которые мне нужно найти, и за каждую вещь начисляется определенное количество очков, а я бегаю по парку и стадиону и ищу эти предметы (рыться в помойке не разрешается, да он и так знает, что я ни за что не стану этого делать): шариковую ручку, четвертак, дамскую перчатку и так далее. Непростая задача, ведь по стадиону и парку уже прошла бригада уборщиков.

Как только я нахожу какой-либо предмет из списка, я бегу к отцу и показываю ему находку — шариковую ручку, палочку черной лакрицы, стальную пуговицу. Я прибегаю в очередной раз и вижу, что Шонесси ушел, а папа сидит один, сплетя руки за головой. На коленях у него открытый пакет фисташек, ноги лежат на спинке сиденья перед ним, и он говорит:

— Не хочешь посидеть немного?

— Смотри, я нашел спичечный коробок. Сорок очков, — говорю я и плюхаюсь на стул рядом с ним.

— Взгляни-ка, — говорит он. — Как тут хорошо, когда никого нет. Когда на стадионе тишина. Знаешь, что мне больше всего нравится? На пустом стадионе?

— И что же тебе нравится больше всего?

— То, что можно спокойно подумать и в то же время поесть орешков, — отвечает он и щелкает фисташку.

На улице прохладно, небо сияет беловатой арктической голубизной. Над внешним полем парит чайка: расправила крылья и словно замерла в воздухе. Новички разминаются и болтают. Один из них смеется — звонким, молодым, здоровым смехом.

— А где тебе лучше думается? — спрашиваю я. — Здесь или дома?

— Здесь лучше, чем дома, — говорит он. — И орехи тоже лучше щелкать здесь, а не дома, потому что дома не станешь бросать скорлупу на пол. — Он бросает скорлупу на пол. — Если не хочешь, чтобы мама устроила тебе хорошую взбучку.

Мы молчим. Ровный прохладный поток воздуха дует с внешнего поля прямо нам в лица. Сегодня хоумранов можно не ждать — только не при таком ветре.

— Ладно, — говорю я и подсказываю с места. — Вот коробок. Сорок очков. Я побежал, мне немного осталось. Почти все нашел.

— Везет тебе, — говорит он.

— Это хорошая игра, — говорю я. — Знаешь, мы ведь можем в нее и дома играть. Ты скажешь мне, что найти, а я буду искать и приносить тебе. Как мы раньше не догадались? Что ж мы раньше не искали дома секретные предметы?

— Потому что здесь лучше, чем дома, — говорит папа. После этого я убегаю искать то, что еще осталось в списке, — шнурок и брелок для ключей, а отец остается, но тот разговор не забылся, он словно застрял у меня в голове, и я все время о нем вспоминаю; иногда мне кажется, что это один из тех моментов, которые нельзя забывать, — когда ты считаешь, что отец говорит одно, а на самом деле он говорит совсем другое, и в обычных словах спрятано что-то очень и очень важное. Мне нравится так думать. Это хорошее воспоминание — как отец сидит, сцепив руки за головой, а над нами синее морозное небо. И это хорошее воспоминание — как над внешним полем парила и никуда не двигалась старая чайка, просто

висела на месте с распростертыми крыльями, ни на ярд не приближаясь к цели своего полета. Приятно помнить об этом. Надо, чтобы у всех были такие воспоминания.

ЧЕРНЫЙ ТЕЛЕФОН

1

Толстый мужчина на противоположной стороне дороги едва удерживал свои покупки. В обеих руках у него были большие бумажные пакеты, и одновременно он пытался всунуть ключ в замок багажника своего микроавтобуса. Финни наблюдал за происходящим, сидя на ступеньках перед хозяйственным магазином Пула с банкой виноградной шипучки в руках. Как только толстяк откроет дверцу багажника, все посыплется на землю. Пакет под левым локтем уже начал выскальзывать.

Мужчина был не просто толстым, а безобразно толстым. Выбритая голова блестела, как полированная, а там, где шея переходила в основание черепа, бугрились две пухлые складки. Он был одет не по погоде: в яркую рубашку с короткими рукавами навывпуск с рисунком из туканов и тропических лиан. Холодный ветер пробирал до костей, Финни ежился и поворачивался к нему спиной. Он тоже оделся слишком легко. Наверное, было бы разумнее дожидаться отца в магазине, но Джону Финни не нравилось то, как поглядывал на него старый Тремонт Пул — с подозрением и неприязнью, как будто Джон воришка. Так что он только купил банку шипучки и вышел на улицу. Без виноградного лимонада он не мог прожить и дня.

Замок щелкнул, и дверца багажника открылась. Дальнейшее выглядело настоящим цирковым трюком, специально задуманным и тщательно отрепетированным. Лишь позднее Финни пришло в голову, что, возможно, так оно и было. Багажное отделение микроавтобуса доверху заполняли воздушные шарик. Как только дверца распахнулась, они единой бурлящей массой вырвались наружу — прямо на толстяка. Тот отреагировал так, будто не знал о них: отскочил назад и чуть не потерял равновесие. Пакет, прижатый к телу левой рукой, упал, ударился об асфальт и порвался. Во все стороны резво покатались апельсины. С лица толстяка слетели на землю его темные очки, однако он не обратил на это внимания, а потянулся на цыпочках вверх ловить шарики. Но было уже слишком поздно — недостижимые, они уплывали прочь.

Толстяк выругался и сердито махнул им вслед рукой. Второй пакет он поставил в багажник, потом близоруко сощурился и огляделся в поисках очков. Он даже опустился на колени и стал ощупывать асфальт. Ему под руку попало яйцо. Скорлупа хрустнула, и с гримасой отвращения на лице толстяк затряс рукой, стряхивая с нее блестящие сопли яичного белка.

К тому времени Финни уже перешел дорогу, оставив банку с лимонадом на крыльце магазина.

— Помочь, мистер?

Толстяк поднял на него заспанные невыразительные глаза.

— Ты видел эту чехарду?

Финни глянул вдоль дороги. Шары поднялись уже на тридцать футов от земли и летели ровно посреди улицы. Все они были черного цвета... как тюленья кожа.

— Угу. Да, я... — начал Финни, а потом замолчал и нахмурился. Это странная картина — черные шары, покачивающиеся под низкими облаками, — встревожила его. Кому нужны черные воздушные шарики? Для чего они? Для веселых похорон? Как зачарованный, он не мог отвести от них глаз и почему-то подумал об отравленном винограде. Финни провел языком по губам и впервые в жизни заметил, что виноградный лимонад оставляет во рту неприятный металлический привкус. Как будто он пожевал кончик медного провода.

Толстяк вывел его из задумчивости.

— Ты не видишь моих очков?

Финни опустился на одно колено, наклонился и заглянул под машину. Очки толстяка лежали под бампером.

— Нашел, — сказал он и вытянул руку, чтобы достать их. — А для чего вам нужны шарики?

— По выходным я работаю клоуном, — ответил толстый мужчина. Он нырнул в багажник и достал что-то из пакета с покупками, положенного туда раньше. — Можешь звать меня Альберт. Или Ал. Кстати, не хочешь посмеяться?

Финни поднял голову и успел заметить, что Ал держит в руке черно-желтый металлический баллончик с нарисованными на нем мухами. Увидев, как Ал яростно встряхивает баллончик, Финни стал растягивать рот в улыбке: он подумал, что сейчас его обольют «силли-стрингом».¹

«Клоун выходного дня» ударил ему в лицо струей белой пены. Финни хотел отвернуться, но был недостаточно быстр, и пена попала ему в глаза. Он закричал, отчего пена набилась и в рот. У нее был резкий химический вкус. Глаза превратились в раскаленные угли, тлеющие в глазницах; горло горело. Никогда в жизни Финни не испытывал такой боли — обжигающе-ледяной. Желудок вывернуло наизнанку, и виноградный лимонад горячим сладким водопадом вылился на асфальт.

Альберт взял его за шею и потянул вперед, в микроавтобус. Финни сопротивлялся. Он открыл глаза, но видел только огни оранжевого и маслянисто-коричневого света. Они вспыхивали, перетекали один в другой, бегали по кругу и гасли. Толстяк одной рукой ухватил его за волосы, а другую просунул ему между ног и оторвал его от земли. Предплечье Ала коснулось щеки Финни. Финни извернулся и вонзился зубами в подрагивающий жир. Он сжимал зубы, пока не почувствовал на языке кровь.

Толстяк взвыл и отпустил Финни, и на миг ноги мальчика снова коснулись земли. Он сделал шаг назад и наступил на апельсин. Лодыжка подвернулась, он потерял равновесие, начал падать, и тут Ал опять вцепился ему в шею и толкнул вперед. Финни с такой силой ударился головой о дверцу багажника, что загудел весь автобус. Ноги, его подкосились.

Обхватив Финни за живот, Альберт затолкал его в багажник. Когда толстяк убрал руку, Финни с головокружительной скоростью повалился во тьму.

2

Со стуком открылась дверь. Его ноги скользили по линолеуму. Он почти ничего не видел. Казалось, его тащат через черноту к подрагивающей моли сероватого света, а та отлетает все дальше и дальше. Хлопнула еще одна дверь, теперь его волокли вниз по лестнице. Он бился коленями о каждую ступеньку. Ал сказал:

— Черт, рука болит. Зря я сразу не свернул тебе шею за такие дела.

Финни подумал о сопротивлении. Это были далекие, абстрактные мысли. Он услышал скрежет засова, и его поволокли в очередную дверь, затем по бетонному полу и, наконец, на матрас. Ал подтолкнул его, и он повалился вниз. Мир совершил медленный тошнотворный переворот. Финни растянулся на спине, ожидая, когда пройдет дурнота.

Запыхавшийся Ал опустился на матрас рядом с ним.

— Господи, да я весь в крови. Как будто убил кого-то. Только посмотри на мою руку, — сказал он. И тут же рассмеялся сиплым, недоверчивым смехом: — Хотя о чем я, ты же не можешь видеть.

Финни ничего не говорил, замолчал и Ал. В комнате установилась жуткая тишина. Финни трясло. Он дрожал с тех самых пор, как пришел в сознание.

Наконец Альберт заговорил:

— Я знаю, ты меня боишься, но я ничего тебе не сделаю. Я сказал, что надо сломать

¹ «Силли-стринг» — атрибут вечеринок и клоунских представлений, баллончик вроде аэрозольного, из которого при нажатии вылетает струя полиуретановой пены, застывающая на воздухе длинной лентой.

тебе шею — это сгоряча Ты неплохо приложился к моей руке, но я не в обиде. Можно сказать, что мы квиты. Не нужно меня бояться. Ничего плохого с тобой здесь не случится. Даю тебе слово, Джонни.

Услышав свое имя, Финни похолодел и даже перестал дрожать. И дело не только в том, что толстяк знал, как его зовут. Он так произнес его имя... с возбужденным придыханием. *Джонни*. Финни почувствовал, как по его черепу поползла щекотка, и догадался, что Ал играет с его волосами.

— Хочешь лимонада? Вот что — сейчас я принесу тебе баночку лимонада, а потом... Что это? Ты слышал? Кажется, звонит телефон. — Голос Ала прервался. — Ты тоже слышал телефон?

Где-то далеко действительно тренькнул телефон.

— Черт, — неровно выдохнул Ал. — Это на кухне. Ну, конечно, это всего лишь телефон на кухне. Пойду посмотрю, кто звонил, заодно захвачу твой лимонад. Я быстро, а потом вернусь и все объясню.

Финни услышал, как он поднялся, тяжело дыша, как прошаркал к двери. С глухим стуком захлопнулась дверь. Опустился засов. Если телефон и звонил еще, Финни этого не слышал.

3

Он не знал, что собирался сказать ему Ал по возвращении, но никаких объяснений не требовалось. Финни и так все понял.

Впервые в их городе похитили ребенка два года назад, когда только растаял снег. Холм позади церкви Святого Луки превратился в горку жирной грязи, такую скользкую, что детвора каталась с нее на санках. Все с удовольствием мчались вниз, сталкивались и с визгом переворачивались. Девятилетний Лорен побежал пописать в кусты через дорогу, и больше его никогда не видели. Через два месяца, первого июня, пропал второй мальчик. Газеты прозвали злодея Гейлсбургским Похитителем (Финни считал, что Джек-Потрошитель звучит лучше). Третьего мальчика он похитил первого октября, когда воздух благоухал прелой листвой.

В тот вечер Джон и его старшая сестра Сюзанна сидели на верхней площадке лестницы и слушали, как в кухне ссорятся родители. Мама хотела продать дом и уехать из города, а отец говорил, что ненавидит ее истерики. Что-то уронили или бросили. Мама сказала, что она больше не в силах выносить его, что она с ума сходит от жизни с ним. Отец ответил «Так не живи» — и включил телевизор.

Через восемь недель, в самом конце ноября, Гейлсбургский Похититель забрал Брюса Ямаду.

Финни и Брюс Ямада не были друзьями, они даже ни разу толком не разговаривали, но Финни знал его. Они подавали друг против друга тем летом. Брюс Ямада был, пожалуй, лучшим питчером, с каким приходилось сталкиваться команде «Гейлсбургских кардиналов»; во всяком случае, у него был самый быстрый бросок. Мяч Брюса влетал в перчатку с иным звуком, чем мячи, брошенные другими ребятами. Когда подавал Брюс Ямада, звук напоминал хлопок при открытии бутылки шампанского.

Финни и сам подавал в тот раз неплохо. Он потерял лишь пару очков, и то из-за того, что у Джея Макгинти дырявые руки, не способные поймать даже самый медленный мяч, ни для кого другого не представляющий ни малейшей проблемы. После игры — «Кардиналы» проиграли со счетом «пять — один» — команды выстроились в два ряда и пошли навстречу друг другу, обмениваясь приветственными ударами перчатками. Вот тогда-то Брюс и Финни и встретились лицом к лицу. Они сказали друг другу по паре слов — первый и единственный раз при жизни Брюса.

— Ты был крут, — сказал Брюс.

Финни зарделся от неожиданного удовольствия, открыл рот, чтобы ответить, но смог

сказать лишь «отличная игра» — то же самое, что говорил всем. Это была бездумная фраза, которую он автоматически повторил двадцать раз кряду, и она вылетела прежде, чем он успел что-то сообразить. Потом он страшно сожалел, что не придумал ничего такого же классного, как «ты был крут».

За лето они больше ни разу не встретились, а когда Финни увидел его в следующий раз — осенью, на выходе из кинотеатра, — они не разговаривали, только кивнули друг другу. Несколькими неделями позже Брюс удалился из игрового павильона, сказав друзьям, что пойдет домой, но до дома так и не добрался. Поиски ни к чему не привели, если не считать одной его кроссовки, выуженной из сточной канавы на Серкус-стрит. У Финни в голове не укладывалось, что знакомого мальчика буквально вырвали из собственной обуви, что он больше никогда не вернется обратно. Что он мертв и валяется где-то, покрытый грязью и насекомыми, с открытыми глазами, устремленными в никуда.

Но прошел год и даже больше, дети перестали пропадать, и Финни исполнилось тринадцать лет. Считалось, что это безопасный возраст, потому что похитителя вроде бы не интересовали дети старше двенадцати. Горожане решили, что Гейлсбургский Похититель то ли переехал в другой город, то ли попал в тюрьму за какое-то другое преступление, то ли умер. Однажды Финни, слушая разговор взрослых на эту тему, подумал: может быть, Брюс Ямада убил Похитителя? Вдруг он успел схватить камень и нашел способ продемонстрировать Гейлсбургскому Похитителю свой бросок. Отличная мысль.

Но Брюс не убил Похитителя. Похититель убил его, как убил и трех других детей, как убьет и самого Финни. Финни стал одним из тех черных воздушных шаров: никто не сумел вернуть его, и сам он не сможет вернуться. Он уплывал от всего, что знал, в простирившееся перед ним будущее — бескрайнее и чуждое, как зимнее небо.

4

Он рискнул приоткрыть веки. Глазные яблоки обожгло воздухом, и все виделось таким искривленным и неестественно зеленоватым, как если бы он смотрел на мир сквозь стеклянную бутылку. Но это лучше, чем вообще не видеть. Он лежал на матрасе в углу комнаты с белыми стенами. Вверху и внизу стены сходились, словно брали в скобки мир между ними. Финни думал — вернее, надеялся, — что это лишь иллюзия, вызванная нарушением зрения.

Дальний конец комнаты Финни разглядеть не мог, как и дверь, через которую его втащили внутрь. Он вообразил, что находится под водой и вглядывается в заиленные нефритовые глубины, как ныряльщик в каюте затопленного океанского лайнера. Слева от него стоял унитаз без стульчака. Справа, чуть подальше, на стене висел черный ящик или шкафчик. Сначала Финни не узнал этот предмет — не потому, что зрение его не восстановилось, а потому, что подобная вещь была совершенно неуместна в тюремной камере.

Телефон. Большой старомодный черный телефон с серебряным рычагом для трубки на боку.

Ал никогда не оставил бы его в комнате с работающим телефоном. Финни понимал это, но тем не менее его пронзила такая сумасшедшая надежда, что слезы выступили у него на глазах. Может быть, он быстрее других мальчиков пришел в себя. Может быть, другие не оправились от действия аэрозоля, когда Ал убил их, и так и не увидели, что рядом есть телефон. Финни болезненно сморщился, раздираемый надеждой и пониманием ее беспочвенности. И все же он двинулся к телефону: нырнул с матраса на пол и пролетел, как ему показалось, не меньше трех этажей. Ударился подбородком о бетон. В голове, сразу за глазами, мигнула черная лампочка.

С невероятным усилием он приподнялся на четвереньки. Чуть не лишившись от слабости чувств, он стал медленно водить головой из стороны в сторону, пока не пришел в себя, а потом пополз. Он полз долго, но к телефону не приближался. Он будто стоял на ленте

конвейера, которая, как ни перебирай руками и ногами, упорно несла его назад. Иногда Финни поднимал прищуренные глаза на телефон, и ему казалось, что аппарат дышит, что его стенки то набухают, то западают внутрь. Один раз Финни пришлось остановиться и приложить горящий лоб к холодному бетонному полу. Только таким образом он сумел остановить бешеное вращение комнаты.

Когда он снова приподнял голову и взглянул наверх, то обнаружил телефон прямо над собой. Перебирая руками по стене, он сумел привстать и дотронуться до аппарата. Затем, ухватившись за него, мальчик вытянул себя вверх и встал на ноги. Телефон был если не древним, то определенно очень старым. Вверху его украшали два серебряных колокольчика и звонок, вместо кнопок был диск. Финни снял трубку и прижал к уху, мечтая услышать гудок. Ничего. Он нажал на рычаг, но черный телефон по-прежнему молчал. Финни попробовал вызвать оператора. В трубке у его уха что-то защелкало, но гудка он так и не дождался. Телефон не работал.

— Телефон не работает, — сказал Ал. — С того времени, когда я еще был ребенком.

Финни покачнулся на пятках, но устоял, схватившись за аппарат. Почему-то ему не хотелось поворачивать голову и встречаться глазами со своим похитителем. Он позволил себе лишь искоса глянуть в его сторону. Дверь теперь была ближе, и он мог ее видеть. Ал стоял у косяка.

— Повесь трубку, — сказал он, но Финни продолжал сжимать трубку в руках. Ал через секунду продолжил: — Я знаю, ты напуган и хочешь вернуться домой. Я скоро отвезу тебя домой. Я только... все так запуталось, что мне придется побыть некоторое время наверху. Кое-что случилось...

— Что?

— Не важно.

Еще один приступ отчаянной надежды. Может, Пул, старый мистер Пул видел, как Альберт засовывает его в багажник, и позвонил в полицию.

— Меня кто-нибудь видел? Сюда едет полиция? Если ты отпустишь меня, я никому...

— Нет, — оборвал его толстяк резко и недовольно. — Полиция не едет.

— Но кто-то едет? Кто-то другой?

Широкое некрасивое лицо похитителя напряглось. В близко посаженных глазах мелькнула удивленная растерянность. Он не ответил, но это было и не нужно — его вид был достаточно красноречив. Финни не сомневался: кто-то или собирался явиться сюда, или уже был здесь, наверху.

— Я буду кричать, — сказал Финни. — Если в доме кто-то есть, они услышат меня.

— Нет, если дверь закрыта, он не услышит.

— Он?

Лицо Ала помрачнело, к щекам прилила кровь. Финни следил за тем, как толстяк сначала сжал кулаки, потом медленно разжал их.

— Когда дверь закрыта, ничего не слышно, — продолжил Ал, стараясь выглядеть спокойным. — Я сам делал звукоизоляцию. Так что кричи сколько угодно, ты никому не помешаешь.

— Это ты убил тех детей.

— Нет. Не я. Это кто-то другой. Я не собираюсь делать ничего такого, что тебе не понравится.

Эти слова — «Я не собираюсь делать ничего такого, что тебе не понравится» — заставили Финни вздрогнуть. По коже побежали ледяные мурашки.

— Если прикоснешься ко мне, я исцарапаю тебе лицо, и тот человек, что сюда придет, обязательно спросит, кто тебя поцарапал.

Альберт некоторое время смотрел на Финни, обдумывая услышанное, потом сказал:

— Можешь повесить трубку.

Финни положил ее на рычаг.

— Однажды я был здесь, и он зазвонил, — сказал Ал. — Вот жуть-то. Я думаю, это из-

за статического электричества. Я как раз стоял рядом с телефоном, и он зазвонил, а я снял трубку. Я не думал, как ты понимаешь, спрашивать, кто это.

Финни не хотел разговаривать с человеком, собиравшимся убить его при первой возможности. Поэтому он сам удивился, когда открыл рот и произнес:

— Ну и кто это был?

— Никого. Я же сказал, телефон не работает.

Дверь открылась и захлопнулась. За то мгновение, когда она была распахнута, громоздкий здоровяк на цыпочках выскользнул прочь — как бегемот, танцующий балет. Он исчез, а Финни даже не успел раскрыть рот, чтобы закричать.

5

Финни все равно стал кричать. Он кричал и бросался на дверь, ударялся об нее всем телом, не надеясь, разумеется, выбить ее, а лишь рассчитывая на таинственного посетителя, так напугавшего Альберта. Вдруг он услышит или увидит, что в дверь колотят изнутри. Но довольно скоро Финни прекратил попытки. Несколько минут было достаточно, чтобы убедиться: никто ничего не услышит.

Он перестал шуметь и стал разглядывать свою тюрьму, пытаясь понять, откуда происходит это странное зеленое освещение. В комнате оказались два небольших окна — узкие длинные прорезы в стене. Они располагались высоко, Финни до них не добрался. Из них и струился неяркий травянистый свет. Стекло расчерчивали ржавые прутья решетки.

Финни долго рассматривал одно из окон, потом с разбегу бросился к стене (забыв, что измучен и слаб), уперся ногой в штукатурку и подпрыгнул. Он даже прикоснулся к решетке, но стальные прутья были переплетены так плотно, что между ними не просунешь и палец. Финни упал, а потом повалился на спину, сотрясаемый крупной дрожью. Но ему хватило времени, чтобы бросить взгляд сквозь пыльное стекло. Окно находилось у самой земли, и его почти целиком загораживали густые кусты. Если разбить стекла двойной рамы, кто-нибудь может услышать его крики.

«Они все об этом думали, — мысленно напомнил себе Финни. — И ничего у них из этого не вышло».

Он еще раз обошел комнату и вновь оказался перед телефоном. Стал внимательно изучать его. Глазами проследил за тонким черным проводом, прибитым к белой штукатурке. Провод поднимался вверх примерно на фут и заканчивался букетиком истертых медных нитей. Финни сам не заметил, как взял в руки трубку. Он не осознал, как прижал ее к уху... От этого невольного проявления безысходной и безумной надежды он весь сжался. Зачем устанавливать в подвале телефон? Да, здесь был и унитаз. Может быть — ужасная мысль! — раньше здесь кто-то жил?

Потом он очутился на матрасе, лежал и сквозь нефритовый полумрак смотрел на потолок. Он впервые понял, что за все это время ни разу не заплакал и вроде бы не собирался. В данный момент он совершенно сознательно отдыхал, набирался сил перед следующим раундом исследований и мыслей. До прихода Ала он будет бродить по комнате и выискивать то, что можно использовать. Будь у него хоть какая-то вещь, пригодная в качестве оружия, он сумел бы противостоять Алу. Осколок стекла, ржавая пружина. А нет ли пружин в матрасе? Когда он накопит достаточно сил, он попытается что-нибудь придумать.

Должно быть, родители уже догадались, что с ним что-то случилось. Они наверняка страшно волнуются. Он задумался о том, что сейчас его ищут, но в воображении не возникла ни заплаканная мать, отвечающая на вопросы следователя на домашней кухне, ни отец, отводящий глаза от полицейского, который поднимает с крыльца магазина Пула и кладет в полиэтиленовый пакет пустую банку из-под виноградного лимонада.

Вместо этого Финни представил себе Сюзанну. Она поднялась на педалях велосипеда и скользит по широким улицам их квартала. Воротник ее джинсовой куртки поднят, она прячет лицо от порывов ледяного ветра. Сюзанна на три года старше Финни, но родились они в один

день — двадцать первого июня. Этому факту она придавала мистическое значение. Она вообще очень увлекалась оккультизмом, гадала на картах таро, читала книги о связи Стоунхенджа с пришельцами из космоса. Несколькими годами раньше ей подарили игрушечный стетоскоп, и она частенько прижимала его к голове Финни, пытаясь услышать его мысли. Однажды он наугад вытащил пять карт из колоды, и она угадала все до одной, не отпуская руку с зажатым в ней стетоскопом от середины его лба: пятерка пик, шестерка крестей, десятка и валет бубен, червовый туз. Ничего подобного больше не случилось.

Финни видел, как старшая сестра ищет его на улицах, которые в его воображении представлялись пустыми, без пешеходов и машин. Ветер завывает в кронах деревьев, мотает из стороны в сторону голые ветви, и кажется, будто они тщетно царапают низкое небо. Иногда Сюзанна прикрывает глаза на пару секунд, словно хочет лучше сконцентрироваться на каком-то далеком голосе, зовущем ее. Это к его голосу, к его немому крику она прислушивается в надежде найти брата с помощью неизведанных телепатических сил.

Она поворачивает налево, затем направо, она двигается автоматически, не думая, и обнаруживает улицу, доселе ей неизвестную, что заканчивается тупиком. По обе стороны стоят пустые на вид дома с заросшими газонами. На подъездных дорожках валяются детские игрушки. При виде этой улицы ее сердце забило быстрее. У нее возникает уверенность, что похититель Финни живет именно здесь. Она едет медленнее, поворачивает голову, тщательно и с опаской осматривая дом за домом. Вся улица погружена в невероятную тишину, словно ее обитателей эвакуировали много дней назад вместе с домашними животными. Все двери закрыты, свет везде выключен.

«Не здесь, — думает она. — И не здесь».

И направляется дальше, в тупиковый конец дороги, к последнему дому.

Она останавливается, поставив одну ногу на асфальт. Она еще не потеряла надежды, но пока она стоит там, кусая губы и оглядываясь, в ее голове формируется мысль: она не найдет брата, его никто не найдет. Это ужасная улица, и Сюзанне становится очень холодно. Ей кажется, что она чувствует холод даже внутри себя, чувствует его ледяную щекотку под ребрами.

И вдруг она слышит какое-то металлическое позвякивание. Она вертит головой, пытаясь найти источник звука, пока не догадывается посмотреть вверх, на последний телефонный столб на улице. Между проводами запуталась связка черных воздушных шаров. Ветер хотел освободить их, изо всех сил трепал и дергал, а они подскакивали и метались, помогая ему. Однако неумолимые провода не отпускали связку. Сюзанна отшатнулась при виде шаров. Они внушали ей отвращение. Почему-то они внушали ей отвращение. Мертвое пятно на небе. Ветер перебирал провода как струны, и они звенели.

Когда зазвонил телефон, Финни открыл глаза. Придуманная история о себе и о Сюзанне растаяла. Это всего лишь история, даже не видение; история о призраке, где призраком был он сам. Или он скоро им станет.

Он оторвал голову от матраса, с удивлением обнаружив, что уже почти стемнело... и его взгляд упал на черный телефон. Ему показалось, что воздух вокруг телефона вибрирует от оглушительного брэнчания стального молоточка о ржавые колокольчики.

Финни сполз с матраса и привстал на коленях. Он знал, что телефон не может звонить. То, что он слышал, было лишь фокусом спящего мозга. Тем не менее он почти ожидал, когда телефон зазвонит снова. Глупо было валяться столько времени и мечтать до самого вечера. Ему нужно оружие — гнутый гвоздь, камень. Вот-вот совсем стемнеет, и он не сможет продолжать поиски в темноте. Он поднялся на ноги. Он чувствовал себя отупевшим, сильно кружилась голова. В подвале стоял жуткий холод. Он подошел к телефону и приложил трубку к уху.

— Алло? — спросил он.

За окном пел ветер. Финни прислушивался к мертвой линии. Он уже собирался повесить трубку, когда услышал на другом конце провода щелчок.

— Алло? — повторил он.

Когда темнота сгустилась и накрыла его с головой, он свернулся на матрасе калачиком и обхватил поджатые к груди колени руками. Он не спал. И почти не моргал. Он ждал, когда откроется дверь и толстяк войдет, закроет за собой дверь и они останутся вдвоем. Но Ал не приходил. У Финни не осталось ни единой мысли, все его внимание переключилось на сухой стук пульса и далекий шум ветра за высокими окнами. Он не боялся. То, что он чувствовал, было больше, чем страх: некий наркотический ужас, сковавший его таким оцепенением, что сама идея движения казалась нелепой.

Он не спал и не бодрствовал. Минуты не шли и не сливались в часы. Думать о времени, как раньше, не имело смысла. Существовал один момент, а потом — другой момент, и они тянулись мимо беспощадной немой процессией. От этого паралича без сновидений Финни очнулся, только когда в темноте замаячил водянисто-серый прямоугольник ближайшего к нему окна. Финни знал (не давая себе отчета, откуда взялось такое знание), что он не должен был дожить до рассвета. Эта мысль не была обнадеживающей, но она побудила его начать шевелиться. С огромным трудом он сел.

Глаза понемногу приходили в норму. Если долго смотреть на наливающееся светом окно, то по краям поля зрения появлялись мигающие радужные искры. Однако окно он видел отчетливо. Пустой желудок сводила судорога.

Финни заставил себя встать на ноги и снова начал обход комнаты. Ему требовалось какое-то преимущество. В дальнем углу комнаты он нашел место, где бетонный пол потрескался и раскрошился. Под бетоном обнажился слой песка. Финни отбирал осколки покрупнее и складывал их в карман, когда услышал лязг поднимаемого засова.

В дверях возник толстяк. Они молча смотрели друг на друга через пять ярдов пола. Ал был одет в полосатые трусы и белую майку в пятнах застарелого пота. Белизна его толстых ног шокировала.

— Я хочу есть, — сказал Финни. — Я голоден.

— Как твои глаза? — спросил толстяк.

Финни не ответил.

— Что ты там делаешь?

Финни опустил на корточки и с вызовом уставился на Ала.

Ал сказал:

— Сейчас я не могу принести тебе еды. Придется подождать.

— Почему? К тебе кто-то пришел? Он заметит, что ты носишь сюда еду?

Вновь лицо Ала потемнело, а пальцы сжались в кулаки. Но ответил он не сердито, а как-то угрюмо и подавленно:

— Не твое дело.

Финни понял это как «да».

— Если ты не собирался покормить меня, зачем вообще пришел? — спросил он Ала.

Тот потряс головой, недовольно нахмурившись, как будто на столь несправедливый вопрос вообще не предполагалось ответа. Но потом пожал плечами и проговорил:

— Хотел посмотреть, как ты. Просто хотел посмотреть на тебя. — Финни скривил губы в гримасе отвращения, и Ал сразу сник. — Ну, я пойду.

Когда он открыл дверь, Финни вскочил на ноги и заорал. Торопливо пятясь, Ал зацепился ногой за порог и чуть не упал, потом с силой захлопнул дверь.

Финни стоял в центре комнаты и тяжело дышал, восстанавливая дыхание. Он и не надеялся проскочить мимо Альберта в дверь — она была слишком далеко. Он хотел только проверить, какая у толстяка реакция. Похоже, Ал еще неповоротливее, чем предполагал Финни. Итак, он медлителен, а в доме есть кто-то еще. Финни почувствовал, как в его душе против воли зарождается огонек — нервное возбуждение, очень похожее на надежду.

Остаток дня и целую ночь Финни провел в одиночестве.

В конце третьего дня судороги в животе стали такими болезненными, что ему пришлось присесть на полосатый матрас и ждать, пока они пройдут. От резкой боли он стискивал зубы; ему казалось, будто в бок ему вонзили меч и медленно проворачивают лезвие.

Когда боль отпустила, Финни попил воды из бачка унитаза и остался стоять над ним на коленях, изучая болты и трубы. Странно, что он раньше не подумал про унитаз. Он возился с бачком до тех пор, пока не изранил в кровь руки, но так и не сумел отвинтить толстый болт трех дюймов в диаметре. Болт заржавел и не сдвинулся ни на йоту.

Он очнулся. В окно, выходящее на запад, падал луч ярко-желтого света. В нем вились микроскопические пылинки. Финни испугался, потому что не помнил, как ложился на матрас. Ему трудно было связывать одно действие с другим и сохранять логическое мышление. Даже через десять минут после пробуждения он чувствовал себя так, словно только открыл глаза: дезориентированным и пустоголовым.

Очень долго он не мог подняться и просто сидел, обхватив грудь руками. Тем временем иссяк последний свет, вокруг сгустились тени. Иногда Финни начинал бить озноб — такой сильный, что стучали зубы. Но как бы холодно ни было сейчас, ночью будет еще хуже. Вряд ли он переживет еще одну ночь, подобную прошлой. Возможно, в этом и состоял план Ала: изморить мальчика голодом и холодом, чтобы он не в силах был сопротивляться. Или нет никакого плана — вдруг у толстяка случился сердечный приступ, а Финни остается только умирать здесь, одну холодную минуту за другой. Снова задышал телефон. Финни смотрел на него. Он следил за тем, как его бока набухали, а потом втягивались, набухали и втягивались.

— Перестань, — сказал он телефону.

Телефон перестал.

Финни ходил. Это было необходимо, иначе бы он замерз. Взошла луна и осветила черный телефон, как прожектор цвета слоновой кости. Лицо Финни горело, а дыхание дымилось, будто он не мальчик, а демон.

Он не чувствовал ног. Они замерзли. Он стал топать ногами, надеясь вернуть их к жизни. Он растирал ладони. Пальцы рук тоже замерзли, шевелить ими было трудно и больно. Потом послышалось фальшивое пение. Пел он сам, чуть погодя догадался Финни. Время и мысли надвигались на него толчками, как пульс. Он обо что-то споткнулся и упал, потом развернулся, стал ощупывать пол, стараясь понять, что бы это могло быть и нельзя ли использовать его как оружие. Но он ничего не нашел и вынужден был признать, что споткнулся о собственные ноги. Финни положил голову на бетон и закрыл глаза.

Разбудил его телефонный звонок. Он сел и посмотрел через всю комнату на черный телефон. Восточное окно приобрело к тому времени бледный серебристый оттенок голубого. Финни никак не мог решить, действительно ли телефон звонил, или ему это только послышалось, приснилось. И тогда телефон зазвонил снова — громко и заливисто.

Финни поднялся и подождал, пока пол перестал качаться у него под ногами; он словно стоял на водяной кровати. Телефон зазвонил в третий раз: его молоточек суматошно колотил по колокольчикам. Грубая реальность звонка мгновенно вымела туман из мозга Финни и вернула его в сознание.

Он снял трубку и поднес ее к уху.

— Алло? — произнес он.

В трубке шуршала снежная метель статики.

— Джон, — раздался мальчишеский голос. Связь была такой плохой, будто звонили с другого конца света. — Слушай, Джон. Это случится сегодня.

— Кто ты?

— Я не помню, как меня звали, — ответил мальчик. — Первым делом здесь теряешь имя.

— Первым делом где?
— Ты сам знаешь.
Однако Финни показалось, что он узнает голос, хотя говорили они друг с другом всего один раз.
— Брюс? Брюс Ямада?
— Кто знает, — сказал мальчик. — Какое это имеет значение?
Финни поднял глаза к черному проводу, ползущему по стене, посмотрел на точку, где он заканчивался пучком медных иголок. Он решил, что это не имеет значения.
— Что случится сегодня? — спросил он.
— Я звоню, чтобы сказать: у тебя есть способ бороться с ним.
— Какой?
— Ты держишь его в руках.
Финни повернул голову и взглянул на трубку, зажатую в руке. Из динамика, что он отодвинул от уха, доносилось далекое шипение статики и глухой голос мертвого мальчика. Мальчик продолжал говорить.
— Что? — спросил Финни, вновь прикладывая трубку к уху.
— Песок, — сказал Брюс Ямада. — Нужно утяжелить ее. Она недостаточно тяжелая. Понял?
— А другим детям телефон звонил?
— Не спрашивай, по ком звонит телефон, — сказал Брюс, и послышался негромкий мальчишеский смех. Потом он добавил: — Никто из нас не слышал телефона. Он звонил, но мы не слышали. Только ты. Нужно провести здесь какое-то время, чтобы услышать его звонок. Ты — единственный, кто задержался тут надолго. Остальных он убил до того, как они пришли в себя. Но тебя он убить не может, не может даже спуститься вниз. У него в гостиной сидит его брат и все время звонит кому-то. Он наркоман и никогда не спит. Альберт не может заставить его уехать.
— Брюс, ты действительно звонишь мне или я схожу с ума?
— Альберт тоже слышит, как звонит телефон, — продолжал Брюс, словно Финни ничего не говорил. — Иногда, когда он спускается в эту комнату, мы специально звоним ему.
— Я совсем ослаб. Не знаю, смогу ли ударить его как следует.
— Сможешь. Ты крутой. Я рад, что это ты. Кстати, она и вправду нашла шарики. Твоя сестра Сюзанна.
— Нашла?
— Спроси ее, когда вернешься домой.
В трубке щелкнуло. Финни ожидал услышать гудок, но на линии было тихо.

8

Знакомый скрежет засова раздался, когда комнату уже начал заливать золотистый свет. Финни не видел двери: он сидел к ней спиной в том углу, где раскрошился бетон. Во рту у него опять появился неприятный привкус старой меди — такой же, как после последнего глотка виноградного лимонада. Он повернул голову, но сам не встал, прикрывая телом то, что держал в руках.

Он так удивился, увидев в дверях не Альберта, что вскрикнул и поднялся на ноги, пошатываясь. Вошедший мужчина был невысок. Несмотря на круглое и пухлое лицо, его тело казалось слишком маленьким для его одежды: мятая куртка военного образца, толстый вязаный свитер. Взлохмаченные волосы на высоком изгибе лба, по-видимому, сдавали свои позиции. Губы мужчины изогнулись в недоверчивой усмешке.

— Ни хрена ж себе, — сказал брат Альберта. — Я знал, что у него что-то припрятано в подвале, но ни хрена ж себе.

Финни заковылял к нему, и слова посыпались из него невнятным, отчаянным потоком,

как люди из лифта, повисевшего целую ночь между этажами.

— Пожалуйста — мама — помогите — вызовите полицию — позвоните моей сестре...

— Не волнуйся. Он ушел. Его вызвали на работу, — сообщил брат Альберта. — Теперь я понимаю, почему он так боялся звонка с работы. Он боялся, что, пока его нет, я найду тебя.

В проеме за его спиной возник Альберт с топором в руках. Он поднял топор, забросил его за плечо как бейсбольную битку. Брат Альберта продолжал:

— А хочешь узнать, как я нашел тебя?

— Нет, — сказал Финни. — Нет, нет, нет.

Брат Альберта соорудил недовольную мину.

— Ладно. Расскажу в другой раз. Господи, успокойся. Теперь все будет в порядке.

Альберт опустил топор на череп младшего брата. Лезвие пробило кость и влажно чавкнуло тканями мозга. От усилия к лицу толстяка прилила кровь. Его брат стал падать вперед. Топор застрял в черепе, а толстяк держался за рукоятку, поэтому падающий брат увлек за собой и Ала.

Колени Альберта стукнулись о бетонный пол, и он со свистом выдохнул сквозь стиснутые зубы. Он выпустил рукоятку топора, и его брат с тяжелым глухим стуком повалился вниз лицом. Альберт сморщился, потом сдавленно простонал, глядя на мертвеца с топором в затылке.

Финни стоял на расстоянии ярда. Он часто и неглубоко дышал, одной рукой прижимая к груди телефонную трубку. Вокруг другой руки он намотал черный телефонный провод — тот, что соединял трубку с черным телефоном. Финни пришлось перекусывать ее зубами. Сам провод был прямым, а не витым, как у современных телефонов. Провода хватило на несколько петель вокруг правой ладони.

— Ты видишь. — Голос Альберта прерывался и сипел. — Ты видишь, что мне пришлось из-за тебя сделать? — В этот момент он заметил то, что было в руках у Финни, и озадаченно вскинул брови: — Какого черта ты сделал с телефоном?

Финни шагнул к Альберту и с размаху ударил его трубкой по лицу, прямо в нос. После звонка Брюса он отвинтил крышку микрофона и наполнил пустое пространство песком, а затем привинтил крышку обратно.

Трубка соединилась с носом Альберта с резким хрустом, словно сломалось что-то пластиковое, но это был не пластик. Толстяк сдавленно крикнул, из его ноздрей хлынула кровь. Он поднял к носу руку. Финни снова замахнулся трубкой. На этот раз удар раздробил пальцы Ала.

Покалеченная рука безвольно упала. В горле Альберта зародился и вырвался наружу животный вопль. Финни ударил его еще раз, теперь по бритому черепу, чтобы Ал заткнулся. Раздался хороший, смачный звук, и на солнце вспыхнул золотом фонтан песчинок. С диким криком толстяк поднялся с пола, всей своей грузной массой двинулся вперед, но Финни увернулся — он был гораздо быстрее Ала — и ударил его в зубы с такой силой, что голова похитителя мотнулась на сто восемьдесят градусов. Следующий удар пришелся в колено, чтобы остановить и свалить Альберта.

И Альберт упал, но в падении успел вытянуть руку, перехватить Финни за пояс и повалить его на пол вместе с собой. Своим телом он примял обе ноги Финни. Финни извивался, стараясь высвободиться. Толстяк поднял голову, оскалил окровавленный рот; откуда-то из самых глубин грудной клетки он исторг яростный стон. Финни все еще держал в одной руке трубку, а в другой три витка черного провода. Он приподнял корпус, намереваясь снова огреть Альберта трубкой, но его руки сделали нечто иное. Он обмотал провод вокруг шеи толстяка, скрестил запястья у него на затылке и потянул за концы. Альберт левой рукой царапал щеку Финни. Мальчик потянул за провод чуть сильнее. Из рта Альберта вывалился язык.

В другом конце комнаты зазвонил телефон. Толстяк задыхался. Он перестал царапать лицо Финни и подсунул пальцы под провод, впившийся ему в шею. Он мог пользоваться только левой рукой, потому что пальцы правой были раздроблены и торчали в стороны под

невероятными углами. Телефон снова зазвонил. Взгляд толстяка метнулся к нему, потом обратно к Финни. Зрачки у Альберта были расширены — такие огромные, что золотистое кольцо радужки почти скрылось за ними. Эти зрачки стали парой черных шаров, затмивших сдвоенное солнце глаз. Телефон все звонил и звонил. Финни затягивал провод. На багровосинем лице Альберта вместе с ужасом застыл вопрос.

— Это тебя, — сказал ему Финни.

В ЛОВУШКЕ

В четверг Кенсингтон пришла на работу с пирсингом. Уэйт заметил, потому что она все время опускала голову и прижимала к открытому рту салфетку. Белый комочек довольно скоро испещрили ярко-алые пятна. Уэйт сидел за компьютером слева и следил за нею краем глаза, пока регистрировал стопку возвращенных видеокассет, проводя по кодам сканером. Когда она в очередной раз поднесла ко рту салфетку, он разглядел металлический шарик в ее окровавленном языке. Интересное развитие истории Сары Кенсингтон.

Она постепенно превращалась в панка. Когда Уэйт только начал работать в «Бест видео», она была неприметной толстушкой с коротко стриженными каштановыми волосами и маленькими близко посаженными глазами. Вела она себя грубовато и замкнуто, как человек, привычный к тому, что его не любят. Уэйт и сам был таков и поэтому предположил, что они найдут общий язык. Но этого не случилось. Она никогда не смотрела на него без необходимости и зачастую притворялась, будто не слышит, когда он обращался к ней. Со временем он решил, что более близкое знакомство с ней не стоит усилий, которые пришлось бы затратить. Гораздо проще не любить и избегать ее.

Однажды к ним в магазин зашел пожилой дядька — мужчина сорока с лишним лет, с яркой прядью волос на выбритой голове и в собачьем ошейнике, с которого свисал поводок. Он искал фильм «Сид и Нэнси»,¹ попросил Кенсингтон помочь ему, и они немного поболтали. Кенсингтон смеялась всему, что он говорил, а ее собственные слова вылетали изо рта шумным восторженным потоком. Это было впечатляющее зрелище — как она выворачивалась наизнанку перед тем типом. На следующий день, когда Уэйт пришел на работу, он застал их за углом магазина, не видным с улицы. Тот урод из цирка прижал ее к стене, они держались за руки, их пальцы сплелись, а Кенсингтон отчаянно тыкалась языком в рот клоуна. А теперь, по прошествии нескольких месяцев, волосы ее приобрели оттенок начищенной меди, она носила байкерские ботинки и готический макияж. Штанга с шариками в языке была совсем новым приобретением.

— Почему кровь-то идет? — спросил он ее.

— Потому что я только что сделала пирсинг, — сказала она, не глядя на него. И сказала стервозно.

Любовь не сделала ее теплее или разговорчивей; она по-прежнему была мрачна как туча и лишь неприязненно фыркала, когда Уэйт заговаривал с ней. Она избегала его, как будто даже воздух вокруг него был отравлен. За что она ненавидела его, он так никогда и не узнает.

— А я думал, у тебя язык застрял в молнии или что-то в этом роде, — сказал он. И добавил: — Впрочем, ты права. Так у тебя есть шанс удержать его подольше. Он ведь не из-за твоей красоты с тобой встречается.

Что за человек эта Кенсингтон, понять было трудно. Ее реакция застала Уэйта врасплох. Она взглянула на него испуганными несчастными глазами, ее подбородок задрожал. Каким-то чужим голосом она проговорила:

— Оставь меня в покое.

Уэиту совсем не понравилось внезапное чувство жалости к ней. Конечно, его спровоцировали, но все-таки зря он ее обидел. Она отвернулась от него, а он потянулся следом, намереваясь поймать ее за рукав и задержать. Он хотел дать ей понять, что сожалеет

¹ «Сид и Нэнси» (1986) — фильм британского режиссера Алекса Кокса о группе «Секс-пистолз».

о своих словах, не попросив при этом прощения открытым текстом. Но Кенсингтон вздрогнула и выдернула руку, уставившись на него мокрыми глазами. Почти не разжимая губ, она что-то пробормотала — он не расслышал, но уловил слово «слабоумный», и еще про неумение читать. Его грудь тут же сковал ледяной холод.

— Только открой еще раз рот, мелкая сучка, и я выдерну из тебя эту штуковину вместе с языком.

Глаза ее помутнели от ярости. Вот к такой Кенсингтон он привык. А потом она ушла. Ее короткие толстые ноги понесли ее вокруг прилавка и вдоль дальней стены в глубь магазина. С мутным раздражением он понял, что она направляется в кабинет хозяйки магазина, миссис Бадиа. Побежала жаловаться.

Он решил, что имеет полное право устроить перерыв, подхватил со стула армейскую куртку и толкнул двери из плексигласа. С сигаретой в зубах он прислонился к оштукатуренной наружной стене, втянул голову в плечи от ветра. Он курил и дрожал, от нечего делать наблюдая за хозяйственным магазином Миллера напротив.

Перед магазином остановился большой «универсал» миссис Презар. Кроме нее там сидели и два ее сына. Миссис Презар жила на одной с Уэйтом улице, в доме цвета клубничного молочного коктейля. Он стриг ее лужайку — это было сравнительно давно, несколько лет назад, в то время, когда он подрабатывал стрижкой газонов.

Миссис Презар вышла из машины и быстро зашагала ко входу в магазин. Двигатель она не заглушила. Ее довольно привлекательное лицо было густо и ярко накрашено. Уэйту всегда нравилась ее пухлая нижняя губа. С непроницаемым выражением лица она скрылась в магазине.

Один из ее сыновей сидел на переднем сиденье, второй, пристегнутый к детскому креслу, — на заднем. Мальчик, что сидел впереди — Бакстер, неожиданно для себя припомнил Уэйт, — был худым и высоким, хрупкого телосложения, доставшегося ему, вероятно, от отца. Со своего места Уэйт не видел ребенка в детском кресле, только копну темных волос и две пухлые ручки.

Как только миссис Презар вошла в магазин, старший Бакстер развернулся, чтобы посмотреть на заднее сиденье. В одной руке он держал длинную жевательную конфету. Протянув конфету брату, он подождал, когда тот потянется к ней, и отдернул руку. Затем протянул конфету снова. Второй раз брат не попался на эту хитрость, за что получил конфетой по голове. Примерно в том же духе игра продолжалась еще некоторое время, пока наконец Бакстер не сделал паузу. Он с показной неторопливостью развернул конфету и сунул один ее конец в рот, с наслаждением почмокал губами. На голове у него красовалась кепка с логотипом команды «Твин-сити пицца», в которой когда-то играл и Уэйт. Уэйт прикинул, мог ли Бакстер уже войти в Малую лигу. На вид он слишком юн, но, может, теперь туда принимают с более раннего возраста.

Уэйт с удовольствием вспоминал Малую лигу. В последний свой год в команде он почти побил рекорд по украденным базам. Это был один из тех редких моментов в жизни, когда он точно знал, что в чем-то превосходит своих сверстников. К концу сезона у него набралось девять краж, а его поймали лишь однажды. Тогда питчер-левша с пухлым лицом сумел опередить его, отрезав пути к отступлению, а потом вдруг Уэйт обнаружил, что его загоняют: он мечется между первой и второй базой, а два игрока защиты, лениво перекидываясь мячом, заходят на него с двух сторон. В конце концов он был вынужден рвануть на вторую, надеясь выскочить из ловушки... но едва он принял это решение, как тут же осознал, что оно было неверным, и его охватило чувство беспомощности, словно падение в неизбежность. Игрок второй базы — Уэйт знал его: Трит Ренделл, звезда команды соперников, — широко расставил ноги и встал прямо на пути, ожидая приближения противника. Вот тогда первый раз в жизни Уэйту показалось, что, как бы быстро он ни бежал, его цель не становится ближе. Он не помнил, как его осалили, как он покинул поле, помнил только бег и Трита Ренделла на своем пути — он ждал его, внимательно сощулив глаза.

Это случилось в самом конце сезона. Две последние игры Уэйт играл плохо и так и не дотянул до рекорда. Осенью он перешел в следующую возрастную категорию, но узнать, навсегда ли оставила его спортивная удача, у него не было возможности. Он не принял участия ни в единой игре — его постоянно отстраняли то за плохие оценки, то за плохое поведение. Еще в младших классах у него диагностировали неспособность читать — Уэйт не в силах был связать одно понятие с другим, если в предложении оказывалось больше четырех слов. И в дальнейшем он с большим трудом уяснял все, что было длиннее названия фильма, так что вскоре его перевели в группу реабилитации для детей с умственными проблемами. Их группа называлась «Супер-метод», но среди школьников она была известна под целым рядом других наименований: «Недопер-метод», «Супер-дурики». Как-то раз Уэйт прочитал на стенке мужского туалета стишок: «Я ф супирметаде учусь, и этим фактом я гаржусь».

Последний школьный год он провел в стороне от одноклассников. Он ни на кого не смотрел, проходя по коридору, не предлагал свою кандидатуру в бейсбольную команду. Трит Ренделл же, напротив, попал в университетскую сборную, играл как бог и привел команду к двум титулам в региональном чемпионате. Сейчас он стал полицейским, ездил на «краун-виктории» и женился на Эллен Мартин — снежно-белой блондинке и самой красивой из девушек группы поддержки, которых Трит, по слухам, трахал.

Миссис Презар вышла из магазина. Она отсутствовала не более минуты и, похоже, ничего не купила. Одной рукой она тесно запахнула свой жакет, вероятно спасаясь от порывистого ветра. Ее глаза на миг остановились прямо на Уэйте, но женщина никак не показала, что узнала его или хотя бы заметила. Она упала на водительское сиденье, захлопнула дверцу и выехала с парковки задним ходом с такой скоростью, что взвизгнули шины.

Когда он стриг ее газон, она тоже едва ли замечала его. Он помнил, как однажды, закончив работать во дворе, он вошел в дом через стеклянную дверь гостиной. Муж миссис Презар преуспевал, он возглавлял компанию, связанную с какими-то широкополосными сетями, и двор Презаров был самым большим на улице. Уэйт с раннего утра подрезал траву на их лужайке и весь обгорел на солнце, чесался от пота, к рукам и лицу пристали травинки. Она говорила по телефону. Мужа дома не было. Его никогда не было. Дети тоже ушли куда-то с няней. Уэйт стоял у двери и ждал, пока она заметит его присутствие.

А миссис Презар никуда не спешила. Она сидела у низкого столика, крутила пальцем прядь желтых волос, покачивалась на стуле, время от времени смеялась. Перед ней россыпью лежали кредитные карты, и она рассеянно передвигала их с места на место. Даже когда он прокашлялся, чтобы привлечь ее внимание, она не соизволила взглянуть на него. Он прождал так не менее десяти минут, и, только повесив трубку, она повернулась к нему лицом. Любезность и разговорчивость телефонной беседы сменились официальностью и высокомерием. Она сообщила ему, что следила за его работой и не собирается платить ему за болтовню с каждым, кто проходит по тротуару мимо дома. Также она слышала, как он наехал на камень, и если лезвие газонокосилки повреждено, она заставит его заплатить за покупку нового. Работа стоила двадцать восемь долларов. Она дала ему тридцать со словами, что ему повезло и он мог вообще остаться без чаевых. Когда он уходил, она уже снова смеялась в телефонную трубку и передвигала мизинцем кредитки, составляя из них рисунок — букву «П».

Сигарета почти закончилась, но Уэйт решил выкурить еще одну, а потом вернуться в магазин, однако не успел. Дверь распахнулась, и на улицу вышла миссис Бадиа, одетая в черный свитер и белый жилет с бейджилом «Пэт Бадиа, управляющий». На холоде она сморщилась и обхватила себя руками.

— Сара рассказала мне о том, что произошло между вами, — начала миссис Бадиа.

Уэйт кивнул, ожидая продолжения. Миссис Бадиа была неплохой теткой. Иногда они даже подшучивали друг над другом.

— Иди-ка ты лучше домой, Уэйт, — сказала она.

Он бросил окурок на черный асфальт.

— Ладно. Завтра я приду пораньше и отработаю эти часы. Когда ее не будет в магазине. — Он махнул головой на дверь, показывая, о ком говорит.

— Нет, — сказала миссис Бадиа — Завтра приходить не надо. Жду тебя во вторник, получишь чек и расчет.

Почему-то он не сразу понял, о чем она. А когда до него дошло, он почувствовал, как лицо заливают волна жара.

Миссис Бадиа продолжила:

— Нельзя угрожать тем, с кем работаешь, Уэйт. И меня уже тошнит от жалоб на тебя. Я устала улаживать одну неприятность за другой. — Она состроила гримасу, кивнув на дверь: — У нее сейчас нелегкий период в жизни, а ты заявляешь, что вырвешь ей язык.

— Я не говорил... это ее пирсинг... вы хотите знать, что я действительно сказал ей?

— Не особенно. Зачем?

Но Уэйт не ответил. Он не смог бы пересказать ей слова Кенсингтон, потому что не расслышал всего... и вряд ли стал бы говорить миссис Бадиа даже о том, что услышал. Ведь речь Кенсингтон касалась его неумения читать. Уэйт всегда избегал любых разговоров о его проблемах с грамматикой, правописанием и прочим. Они неизменно приводили к такому смущению, что он был не в силах это вынести.

Миссис Бадиа смотрела на него, ожидая, когда он заговорит. Однако он молчал, и она сказала:

— Я дала тебе столько шансов, сколько смогла. Но в определенный момент наступает предел. Несправедливо требовать от тех, кто с тобой работает, чтобы они мирились с подобными вещами и дальше. — Она задумчиво разглядывала его, покусывая нижнюю губу. Затем, бросив случайный взгляд вниз, она отвернулась со словами: — Завяжи шнурки, Уэйт.

Она вошла в магазин, а он остался стоять у стены и растирать заледеневшие пальцы. Медленным шагом он обошел здание по фасаду, свернул за угол, которого не видно с улицы, согнулся и сплюнул. Потом он выбил из пачки еще одну сигарету, прикурил ее и затянулся. Он ждал, когда перестанут дрожать колени.

Он всегда думал, что нравится миссис Бадиа. Иногда он задерживался, чтобы помочь ей закрыть магазин, что не входило в его обязанности — просто с ней приятно было поболтать. Они говорили о фильмах или о причудах покупателей, и миссис Бадиа выслушивала его истории или мнения, как будто ей действительно интересно. Для него это было совершенно новое ощущение — нормальные отношения с работодателем. Но в результате все обернулось дерьмом, как всегда. Кто-то испытывал к нему неприязнь, точил на него зуб, и никому не пришлось в голову узнать, что там на самом деле. Никто не стремился выслушать обе стороны и получить полную информацию.

Она сказала: «Меня тошнит от жалоб на тебя», — но не сказала, кто именно жаловался и на что.

Она сказала: «Я устала улаживать одну неприятность за другой», — но ведь каждый случай нужно судить отдельно, а не вкупе со всеми остальными так называемыми «неприятностями»?

Он отбросил сигарету — она ударилась об асфальт и рассыпалась красными искрами, — повернулся и пошел. Выйдя из-за угла на улицу, он ускорил шаг. Окно магазина сплошь залепили киноафиши. Между плакатами «Черной дыры»¹ и «Других»² к стеклу прильнула Кенсингтон. Ее глаза покраснели, а по мечтательному выражению лица Уэйт понял, что она считает, будто его и след давно простыл. Разумеется, он не удержался и прыгнул на стекло, стукнул пальцем прямо в то место, к которому с другой стороны прижималось ее лицо. Она отпрянула назад, вытянув рот в форме перепуганного «О».

Уэйт развернулся и зашагал через парковку перед магазином. Неожиданно с проезжей части вывернула машина, и водителю пришлось ударить по тормозам, чтобы не сбить его.

1 «Черная дыра» (2000) — фантастический фильм ужасов режиссера Дэвида Туохи с участием Вина Дизеля.

2 «Другие» (2001) — фильм ужасов режиссера Алехандро Аменабара с участием Николь Кидман.

Сердито рявкнул сигнал. Уэйт оскалился и вскинул вверх палец, уходя прочь. Он уже пересек залитую бетоном площадку и нырнул в поросший кустарником, закиданный мусором лес.

Он шел по узкой тропе; он всегда выбирал этот путь, если не находилось никого, кто мог бы подвезти его домой. Среди деревьев встречались гнилые, набухшие водой матрасы, набитые мусором мешки и ржавые кухонные принадлежности. Где-то неподалеку бежал веселый ручеек, берущий начало на ближайшей автомойке. Уэйт не видел его среди густого кустарника, но слышал, как журчит вода, и различал запах дешевой полироли и шампуня для чехлов с вишневым ароматом. Уэйт не торопился, он шел, втянув голову в плечи. В сгущавшемся сумраке раннего вечера трудно было разглядеть тонкие ветки, так и норовившие выскочить перед лицом Уэйта; он не хотел бы наткнуться на одну из них.

Тропка выходила из леса у тупикового конца грунтовой дороги, что вилась вдоль берега мелкого грязного пруда. Эта дорога выведет его на шоссе 17К, которое, в свою очередь, довольно скоро встретится с дорогой в парк Рональда Рейгана, где Уэйт и жил в одноэтажном домике вместе с матерью. Отец его давным-давно сбежал в холмы, туда ему и дорога. Грунтовка поросла травой, ею редко пользовались. Правда, порой здесь останавливались машины — затем, зачем останавливаются машины в подобных местах. Пробираясь сквозь последний кордон подлеска, Уэйт увидел, что сейчас там как раз стоит автомобиль.

Тени под деревьями уже разрослись и окутали все мраком, лишь немного не дотянув до настоящей ночи; правда, если взглянуть вверх, то в небе еще можно было найти отголоски дня — бледно-фиолетовая тень у горизонта сливалась с абрикосовой желтизной. Машина остановилась на небольшом склоне, и поэтому Уэйт не сразу узнал ее. Только подойдя ближе, он увидел, что это «универсал» миссис Презар. Водительская дверь была распахнута.

Уэйт остановился за несколько шагов до автомобиля; почему-то он почувствовал удушье. Сначала ему показалось, что машина пуста. Из нее не доносилось ни звука, только тихое потрескивание из-под капота — очевидно, это остывал двигатель. Потом он разглядел на заднем сиденье темноволосого мальчика, четырехлетнего сына миссис Презар, все еще пристегнутого к детскому креслу. Мальчик уткнулся подбородком в грудь, его глаза были закрыты. Похоже, он спал.

Уэйт огляделся в поисках миссис Презар или Бакстера, но кромка леса и берег пруда были пусты. Он не мог понять, как можно оставить малыша одного, спящего в открытой машине. Но потом, присмотревшись повнимательнее, он увидел, что миссис Презар тоже сидит в машине. Она так сгорбилась на водительском сиденье, что Уэйту была видна лишь макушка блестящих светлых волос над рулем.

Он не сразу сумел шевельнуться. Ему стоило труда сделать шаг к машине. Его глубоко встревожила эта сцена, хотя он не мог объяснить почему. Маленький мальчик, спящий на заднем сиденье, напугал его. В сумерках лицо ребенка казалось опухшим и синеватым.

Уэйт осторожно подошел к автомобилю и снова остановился, пригвожденный к месту открывшимся зрелищем. Миссис Презар едва заметно покачивалась вперед и назад. У нее на коленях лицом кверху лежал Бакстер. Его широко открытые глаза неподвижно уставились в никуда. Кепка с логотипом бейсбольной команды куда-то делась, обнажив короткий, почти бесцветный ежик волос. Губы мальчика были ярко-красного цвета, будто накрашенные помадой. Голова Бакстера откинулась назад под таким углом, что Уэйту на миг показалось, будто тот смотрит прямо на него. Ему сразу бросилась в глаза рана на шее мальчика — черная яркая линия, по форме напоминающая рыболовный крючок. Вторая рана была на щеке. На очень белом лице она выглядела, как длинная черная личинка насекомого.

Глаза миссис Презар тоже были открыты, они покраснели и наполнились слезами, однако плакала она совершенно беззвучно. Ее лицо пересекали четыре неровных пятна крови — следы от пальцев ее сына. Она тяжело и прерывисто дышала.

— О господи. — Каждый выдох сопровождался шепотом. — О Бакстер. О господи.

Уэйт инстинктивно отпрянул и одной ногой наступил на пластиковый стаканчик. Раздался хруст. Миссис Презар вздрогнула и обернулась. Вид у нее был безумный.

— Миссис Презар, — проговорил Уэйт и с трудом узнал свой голос в этом сиплом шепоте.

Он ожидал рыданий и стенаний, но она заговорила тихо и монотонно, каким-то онемевшим голосом:

— Пожалуйста, помогите нам.

Только тут Уэйт заметил, что на земле возле раскрытой дверцы валяется ее сумочка. Часть содержимого вывалилась в грязь.

— Я позову кого-нибудь, — сказал он и уже начал разворачиваться, чтобы бежать, лететь со всей мочи к шоссе. Он неплохо бегают, он будет у 17К через пару минут и остановит первую же попавшуюся машину.

— Нет, — сказала она ему с неожиданной настойчивостью. — Не уходи. Я боюсь. Я не знаю, куда он делся. Может, он все еще где-то неподалеку. Может, он просто пошел помыться. — Она бросила перепуганный взгляд в сторону пруда.

— Кто? — спросил он и тоже посмотрел на пруд — крутой берег, жалкие пучки растительности. Его тревога вспыхнула с новой силой.

Она не ответила, заговорила о другом

— У меня есть мобильный телефон. Только не знаю, где он. Он забрал его, но вроде бы тут же выронил рядом с машиной. О боже, боже мой. Поищи его. Господи, только бы он не вернулся.

Во рту у Уэйта пересохло, внутренности свернулись в клубок, но он послушно двинулся к машине, осматривая почву вокруг упавшей сумки. Он опустился на корточки, чтобы лучше видеть и чтобы его самого не заметил никто, приближающийся к автомобилю с другой стороны, обращенной к пруду. Из сумки выпали какие-то бумаги и легкий шарф. Один конец шарфа — шелковые переливы красного и желтого — плавал в луже.

— Он может быть в вашей сумочке? — спросил он, запуская внутрь руку.

— Не знаю. Наверное.

Он перевернул содержимое: бумаги, помада, пудреница, другая косметика — телефона не было. Он откинул сумку и пристально взгляделся в землю у автомобиля, но в сумерках почти ничего не различил.

— Он пошел к воде? — спросил Уэйт, чувствуя, как бьется в горле пульс.

— Ах, я не помню. Он забрался в машину на светофоре. Пока я ждала зеленого света на углу Юнион-стрит. Он сказал, что ничего не сделает нам, если я буду выполнять его требования. О боже, Бакстер. Прости, прости меня. Я не уберегла тебя.

При упоминании имени Бакстера Уэйт вскинул глаза. Он не мог не поддаться ужасному импульсу еще раз посмотреть на него. И с удивлением обнаружил, что незаметно для себя подобрался так близко к водительской двери, что чуть не уткнулся мальчику в лицо. Его голова свисала с бедра матери менее чем в ярде от него. Уэйт видел лицо Бакстера перевернутым темная колотая рана в щеке, гротескно красные губы (от жевательной конфеты, а не от крови, понял Уэйт, озаренный внезапной вспышкой памяти), круглые изумленные глаза. Бакстер невидяще смотрел куда-то за плечо Уэйта остекленевшим взглядом; и вдруг этот взгляд ожил и остановился на Уэйте.

Уэйт закричал. Вскочил на ноги.

— Он не... — выдавил он, задышав. Ему не хватало кислорода, он не мог говорить. Сглотнув, он попытался снова: — Он не... — И посмотрел на миссис Презар. И снова умолк.

До этого момента он не замечал ее правую руку, лежащую на ноге Бакстера. Пальцами она сжимала рукоятку ножа.

Уэиту нож показался знакомым. В хозяйственный магазин Миллера недавно завезли пластиковые упаковки различных ножей. Они лежали на прилавке слева от входа, сразу за вешалкой с камуфляжными костюмами. Уэйт запомнил один из них: десятидюймовое лезвие, край зазубрен, сталь отполирована до зеркального блеска. Он тогда случайно зашел в магазин и сразу его заметил. И, кажется, даже попросил показать. Любопытно бы привлечь внимание на такой нож — среди остальных он бросался в глаза. А еще Уэйт вспомнил, как миссис Презар

прижимала к своей куртке руку, выходя из магазина. И у нее не было ни пакета, ни сумки.

Она увидела, что Уэйт куда-то смотрит как зачарованный, и проследила за его взглядом, а потом сама уставилась на нож с выражением полного непонимания — словно понятия не имела, как этот предмет оказался у нее в руке, и даже не знала, зачем нужен такой инструмент. Затем она перевела взгляд на Уэйта.

— Это он уронил, — сказала она, глядя на Уэйта почти с мольбой. — У него руки были в крови, а нож застрял в теле Бакстера. Он пытался выдернуть, и нож выскользнул у него из рук. Упал на пол, а я успела поднять его. Вот почему он не убил меня. Потому что у меня был нож. И тогда он убежал.

Рука, сомкнувшаяся на тефлоновой рукоятке, была залита кровью. Кровь оттенила ямки между ее костяшками, обвела кутикулу большого пальца. Капли крови падали на рукав непромокаемой куртки, стекали на кожу сиденья.

— Я сбегая за помощью, — пробормотал Уэйт, не уверенный, что она слышит.

Он говорил так тихо, что сам едва слышал себя. Руки он вытянул перед собой ладонями наружу, словно обороняясь. Он не знал, давно ли он их так держит.

Миссис Презар поставила одну ногу на землю, собираясь встать. Резкое движение напугало Уэйта, и он попятился. Но что-то случилось с его правой ногой: он хотел отступить назад, а нога, как пришитая, не сдвигалась с места. Он посмотрел вниз и только успел заметить, что стоит на развязанном шнурке, как уже падал навзничь, размахивая руками.

У него перехватило дыхание. Он растянулся на влажном ковре опавшей листвы. Глаза его невольно обратились на небо, уже ставшее темно-фиолетовым. То тут, то там поблескивали самые первые, самые яркие звезды раннего вечера. На глазах Уэйта выступили слезы. Он поморгал и сел.

Она уже вышла из машины и стояла в ярде от него. В одной руке она держала его кроссовку, а в другой — нож. Значит, он умудрился выдернуть ногу из кроссовки. Правая стопа осталась только в сером спортивном носке. Уэйт почувствовал, как кожу холодит ледяная сырость прелых листьев.

— Он уронил его, — повторила миссис Презар. — Тот человек, что напал на нас. Я бы никогда... Мои малышки. Я бы никогда им ничего не сделала. Я просто подобрала его.

Уэйт кое-как поднялся на ноги и отпрыгнул от нее на шаг, стараясь не переносить вес на правую ногу, чтобы не погружать ее в холодную кашу из листьев. Бежать наполовину разутым не хотелось. Он посмотрел на кроссовку — женщина молча протягивала ее ему, — а потом на нож. Правая рука, сжимавшая нож, безвольно висела вдоль туловища.

Она вновь проследила за его взглядом, тоже взглянула на нож и подняла глаза на Уэйта. Она медленно водила головой из стороны в сторону в немом отрицании.

— Я бы никогда... — повторила миссис Презар и выронила нож. Она потянулась к нему, протягивая кроссовку. — Возьми.

Он продвинулся к ней на один осторожный шаг и взялся за кроссовку. Но женщина не отпускала ее, а когда все-таки разжала пальцы, то лишь для того, чтобы вцепиться в его руку. Ее ногти утонули в мягких тканях внутренней стороны запястья, взрыли кожу. Эта внезапная хватка, эти острые ногти напугали его до смерти.

— Не я, — повторяла она. Уэйт старался высвободить руку. А миссис Презар второй рукой уже хватала его за ворот расстегнутой куртки, за свитер, оставляя повсюду кровавые следы. Она спросила: — Что ты скажешь людям?

В панике он не понял, что она говорит, да и не хотел понимать. Он хотел только, чтобы она отпустила его. Ее ногти больно впивались в руку, к тому же она пачкала его кровью — ладонь, запястье, свитер. Кровь была липкой и теплой, и Уэйта мучило оттого, что кровь попадала на голую кожу. Он схватил миссис Презар за левую руку и попытался заставить ее разжать пальцы. Он давил с такой силой, что у нее захрустели кости, выскакивая из суставов. А женщина все рыдала и теснила его. Правой рукой она вцепилась ему в плечо, запустила пальцы под ключицу, и он ударил миссис Презар — не сильно, просто чтобы оттолкнуть от себя. Она выпучила глаза и издала жуткий сдавленный вопль. Ее правая рука взлетела в

воздух и обрушилась на его лицо, ее ногти разрывали кожу Уэйта. Свежие царапины обжигало вечерним холодом.

Рука скребла его щеку, как грабли. Он поймал ее и загнул пальцы назад, так что они чуть не коснулись тыльной стороны ладони. Потом он ткнул миссис Презар кулаком в грудь и услышал, как из нее вышел весь воздух. Когда женщина согнулась, Уэйт ударил ее в лицо с такой неистовой силой, что ободрал суставы пальцев. Она как пьяная повалилась на него, схватила за свитер и, падая, увлекла за собой. Она по-прежнему держала его за запястья, вонзая ногти все глубже. Больше всего на свете Уэйту хотелось вырваться из ее хватки. Он вцепился в волосы миссис Презар, рывком дернул ее голову назад и загнул почти к самой спине, насколько хватило сил, не думая, что неестественно удлинившаяся шея может сломаться. Она хватала ртом воздух, потом разжала пальцы, чтобы оттолкнуть его, и тогда он опустил ребро ладони поперек ее горла.

Она сдавленно охнула. Уэйт отпустил волосы, и голова женщины перекатилась вперед, на грудь. Миссис Презар обеими руками взяла себя за шею и осталась сидеть на коленях, сгорбив плечи. Ее лицо прятали пряди волос, она надсадно дышала. Потом она вдруг обернулась на нож, лежащий позади нее на земле. Она отняла правую руку от горла и потянулась к ножу, но недостаточно быстро. Уэйт опередил ее, бросился вперед и подхватил оружие, а затем взмахнул им в воздухе, чтобы миссис Презар не вздумала к нему приближаться.

Он стоял в нескольких футах от нее и старался отдышаться, не спуская с нее глаз. Миссис Презар тоже следила за ним. Под взлохмаченными прядями, слипшимися от крови и падавшими ей на лицо, Уэйт различал только белки ее глаз. Теперь она дышала ровнее. Так они изучали друг друга секунд пять.

— Помогите, — простонала она хрипло. — Помогите.

Он не двигался.

Миссис Презар неуверенно встала на ноги.

— Помогите! — крикнула она в третий раз, уже громче.

Левая, расцарапанная, половина лица Уэйта саднила. Особенно сильна была боль в уголке глаза.

— Я всем расскажу, что вы сделали, — сказал он.

Она задержала на нем взгляд еще на секунду, после чего повернулась и побежала.

— Помогите! — кричала она — Кто-нибудь, помогите!

Уэйт сначала хотел бежать за миссис Презар, но потом передумал: он не знал, как остановить ее, и решил дать ей убежать.

Он сделал несколько шагов к ее машине, положил руку на открытую дверцу и привалился к кузову. У него кружилась голова. Тем временем женщина удалялась — ее темная фигура еле виднелась на фоне чуть более светлого леса.

Уэйт постоял так, приходя в себя. Случайно его взгляд упал вниз, и он увидел бледное и тонкое лицо Бакстера.

На него смотрели широко раскрытые глаза мальчика. На Уэйта накатила новая волна шока, когда он заметил, что между ярко-красных губ ребенка шевелится язык, как будто пытается что-то сказать.

Желудок Уэйта свело судорогой. Он едва держался на ослабевших ногах, но продолжал смотреть на мальчика, на разрезанное горло, на эту рану, так напоминавшую рыболовный крючок: она начиналась за правым ухом и загибалась под самым адамовым яблоком. С высоты своего роста он смотрел на рану под таким углом, что было видно, как из нее медленными густыми толчками сочится кровь. Сиденье под головой Бакстера превратилось в лужу.

Уэйт обошел дверцу и встал над мальчиком. Он посмотрел, не торчат ли в замке зажигания ключи, надеясь, что сможет доехать до шоссе, а дальше... Но ключей не оказалось. Кровотечение. Самое главное в подобных ситуациях — остановить кровотечение. Он видел, как это делается, в сериале про «скорую помощь». Нужно взять полотенце,

свернуть в шар, приложить к ране и давить до тех пор, пока не придет врач. Полотенца у него не было, но где-то он видел шарф — на земле, в луже. Уэйт упал на колени, наткнулся сначала на перевернутую сумку, а потом нашел и шарф. Один конец совершенно промок, с него капала грязь. Лишь миг он боролся с подступающей тошнотой, затем решительно скомкал шарф и сунул в рану на шее мальчика. Даже сквозь несколько слоев ткани он чувствовал, как билась под его пальцами кровь.

Шарф — тонкий, почти прозрачный кусок шелка, уже намокший в луже — мгновенно пропитался кровью. Кровь заструилась и по рукам Уэйта. Он выкинул никчемный шарф и, не думая, обтер ладони о рубашку.

Бакстер все время следил за ним потрясенным, зачарованным взглядом. Глаза у него были голубые, как у матери.

Уэйт заплакал. Он не знал, что плачет, пока не почувствовал влагу на щеках. Он и не помнил, когда в последний раз вот так лил слезы. В отчаянии он схватил листки, высыпавшиеся из сумки миссис Презар, и попытался засунуть их в рану, но они тоже оказались бесполезными. Гладкая плотная бумага совсем не впитывала жидкость. В вечернем сумраке Уэйт разглядел, что это банковские выписки, сложенные по несколько штук и сколотые скрепками. На верхнем листе стоял штамп красными чернилами: «Платеж просрочен».

Его мысли вернулись к сумке миссис Презар. Может, вывалить все на землю и поискать, из чего сделать компресс? Однако у него возникла идея получше: он сбросил с себя куртку, стянул через голову белый жилет, в котором ходил на работу, скатал его в шар и прижал к ране. Положив на жилет обе ладони, он с силой надавил, перенес на руки большую часть своего веса. В сумерках белизна жилета казалась почти люминесцентной, но почти сразу на нем образовалось темное пятно и поползло по ткани вверх. Уэйт лихорадочно пытался сообразить, что делать дальше, но в голову ничего не шло. Неожиданно ему вспомнилась Кенсингтон, промокающая салфеткой язык, и то, как быстро бумажный комок окрасился кровью. И его пронзила странная мысль: в ней соединились Кенсингтон с серебристым шариком в языке и рана поперек горла Бакстера. Он подумал, что любовь пронзает молодых, рвет и калечит невинные тела без причины — просто потому, что так хочется тем, кому они дороги.

Неожиданно Бакстер приподнял левую руку. Уэйт чуть не вскрикнул, когда заметил боковым зрением призрачно-белый силуэт, проплывший в темноте. Рука как будто тянулась в направлении горла. И Уэйт сообразил. Он взял левую ладонь Бакстера и положил ее сверху на компресс. Потом дотянулся до его правой руки и положил ее поверх левой. Когда он убрал свои руки, ладони Бакстера остались лежать, придавливая, хоть и слабо, окровавленный жилет к ране.

— Мне надо уйти, но я быстро вернусь, — сказал Уэйт. Его трясло. — Я найду какую-нибудь помощь. Добегу до шоссе и остановлю машину, а потом мы отвезем тебя в больницу. Ты поправишься. Главное — прижимай это к горлу. Ты поправишься, я обещаю.

Потускневший взгляд Бакстера ничего не выражал. Уэиту это не нравилось. Он поднялся на ноги и побежал. Через несколько ярдов остановился, скинул вторую кроссовку, что еще оставалась у него на ноге, и побежал дальше.

Уэйт бежал широким шагом, в полную силу, вдыхая сырой холодный воздух. Слышал он только тяжелый глухой стук — стук своих ног по твердой земле. Однако вскоре он почувствовал, что раньше двигался быстрее. В юности бег не стоил таких усилий. Вскоре в бок вонзился острый клык спазма. Уэйт пытался дышать как можно глубже, но воздуха в легких все равно не хватало. Наверное, из-за курения. Он опустил голову и продолжал бежать, закусив губу и стараясь не думать о том, насколько быстрее он бежал бы, если бы не боль в боку. Уэйт оглянулся и увидел, что преодолел лишь несколько сот ярдов — машина еще была видна. Он снова заплакал. Он бежал и молился. Слова вылетали свистящим шепотом с каждым выдохом.

— Пожалуйста, Господи, — шептал он в февральской темноте.

Он бежал и бежал, но не чувствовал, что приближается к шоссе. Такую же беспомощность он испытал в тот раз, когда на бейсбольном поле его загнали в ловушку; такое же ощущение падения в неизбежность. Он молил:

— Пожалуйста, сделай так, чтобы я бежал быстрее. Чтобы я сумел бежать, как раньше.

Дорога сделала поворот, и показалось шоссе 17К — всего в четверти мили. На перекрестке стоял фонарь, а под ним — машина. Это была коричневая «краун-виктория» с полицейскими огнями на крыше, сейчас выключенными. Джип полиции штата, с облегчением подумал Уэйт. Забавно — он ведь только что вспоминал о том, как его загоняли, выводя из игры. Может быть, это машина Трита Ренделла. Из джипа вышел человек — с такого расстояния различался лишь темный силуэт — и встал у капота. Уэйт закричал и стал махать руками, призывая на помощь.

ПЛАЩ

Мы были детьми.

Я играл в Красную Молнию и забрался на сухой вяз в дальнем углу двора, спасаясь от брата, который не желал ни в кого играть, а был просто собой. К нему собирались прийти друзья, и он хотел, чтобы я перестал существовать. Но с этим я ничего не мог поделать: я существовал.

Я взял старую маску брата и заявил, что, когда его друзья придут, я раскрою им его истинную сущность. Он сказал, что мне не жить, и стал бросать в меня камнями, но делал он это как девчонка, и я быстро взобрался повыше, куда он не попадал.

Он стал слишком взрослым, чтобы играть в супергероев. Случилось это внезапно, без предупреждения. Перед Хэллоуином он сутками напролет носил свой костюм Человека-Ветра, такого быстрого, что земля плавилась у него под ногами. А потом Хэллоуин закончился, и он перестал интересоваться героями. Более того: теперь он хотел, чтобы все забыли, что когда-то он был героем. Он и сам хотел бы забыть, но из-за меня не мог, поскольку я сидел на дереве с его маской, когда вот-вот должны появиться его друзья.

Вяз засох много лет назад. В плохую погоду ветер обламывал ветки и разбрасывал их по газону. Слоистая кора крошилась и ломалась под моими кроссовками. Брат за мной не полез — считал это ниже своего достоинства, и как же было здорово улизнуть от него!

Сначала я бездумно лез выше и выше, куда еще никогда не забирался. Я впал в некий транс, ведомый пьянящим чувством высоты и собственной семилетней ловкостью. Потом я услышал крики брата, что ему на меня наплевать (значит, на самом деле не наплевать!), и вспомнил, с какой целью решил взобраться на вяз. Я заметил длинную горизонтальную ветку — на нее можно сесть, свесить ноги и довести брата до белого каления, не опасаясь возмездия. Я откинул плащ за спину и дальше лез уже целенаправленно.

Мой плащ начал свою жизнь как голубое детское одеяльце и сопровождал меня по жизни с тех пор, как мне исполнилось два года. Со временем одеяло выцвело и из ослепительно голубого превратилось в серое (цвета усталого голубя). Мама сшила из него накидку вроде плаща Супермена и пристрочила посередине красную стрелу молнии из куска войлока. Место нашлось и для флотской нашивки, принадлежавшей моему отцу. На ней изображалась девятка, пронзенная красной молнией. Нашивка прибыла к нам в дом из Вьетнама вместе с другими отцовскими вещами, а сам отец не приехал. Мама вывесила над крыльцом черный флаг с надписью «Военнопленный», но даже я знал, что в плену отца никто не держит.

Я надевал свой плащ, как только возвращался из школы, я сосал обшитый атласом подол, пока смотрел телевизор, я вытирал им рот за столом и засыпал, завернувшись в него. Мне было больно снимать этот плащ. Без него я чувствовал себя голым и беззащитным. Плащ был довольно длинным — я наступал на подол, если был невнимателен.

Я добрался до намеченной ветки, перекинул через нее ногу и уселся верхом. Если бы того, что случилось в следующие минуты, не видел и мой брат, я бы не поверил собственным

ощущениям. Потом я бы убедил себя, что от страха у меня разыгралась фантазия и мой мозг создал иллюзию под влиянием ужаса и шока.

Никки стоял на земле в шестнадцати футах от меня. Он задрал голову и рассказывал, что сделает со мной, когда я слезу. Я поднял его маску — черную повязку с прорезями для глаз — и помахал ею в воздухе.

— Чего же ты ждешь, Человек-Ветер? Вот он я!

— Так и знай, тебе придется остаться на этом дереве навечно.

— Человек-Ветер, не пускай ветры!

— Ну все. Теперь ты точно покойник, — сказал он. Мой брат отвечал на колкости так же неудачно, как бросал камни.

— Ветер, ветер, ветер! — запел я, потому что само его прозвище было насмешкой.

И я пополз по ветке, напевая новую дразнилку. Плащ соскользнул с одного моего плеча, и в какой-то момент я прижал его к ветке ладонью. Когда после этого я попытался продвинуться, зажатый плащ меня не пустил, и я потерял равновесие. Раздался звук рвущейся материи. Я грудью плюхнулся на ветку и оцарапал подбородок, я размахивал руками. Ветка подо мной согнулась книзу, потом выпрямилась, согнулась... и я услышал треск, сухой хруст, прорезавший морозный ноябрьский воздух. Брат побелел.

— Эрик, — крикнул он. — Эрик, держись!

Зачем он велел мне держаться? Ветка обламывалась — нужно скорее слезать с нее. Был ли он слишком напутан, чтобы сообразить это, или какая-то глубоко спрятанная часть его сознания хотела моего падения? Я замер, лихорадочно решая, что делать дальше. Но пока я колебался, ветка рухнула.

Никки отскочил. Обломившийся сук, все пять футов, приземлился прямо у его ног и содрогнулся, разбросав вокруг прутья и кору. Надо мной завертелось небо. Желудок совершил тошнотворный кувырок.

Я не сразу осознал, что не упал. Что я смотрю на двор сверху, словно по-прежнему сию на ветке дерева.

Я бросил недоуменный взгляд на брата. Тот смотрел на меня снизу, разинув рот.

Мои колени были поджаты к груди. Руки — раскинуты в стороны, словно для равновесия. Я парил в воздухе, меня ничто не поддерживало. Меня покачнуло вправо. Потом накренило налево. Я колебался, как яйцо на краю стола, когда оно все никак не скатится на пол.

— Эрик? — слабым голосом произнес брат.

— Никки? — ответил я таким же голосом.

Порыв ветра набросился на голые ветви вяза, они забились, застучали друг о друга. Плащ у меня на спине вздулся.

— Спускайся, Эрик, — попросил брат. — Спускайся.

Я собрал все свое мужество и заставил себя поглядеть поверх коленей прямо на землю. Брат вытянул руки к небу, словно хотел ухватить меня за щиколотки и стянуть вниз, хотя до меня было очень высоко и стоял он не под деревом, а гораздо дальше — бесполезно тянуть руки.

Краем глаза я заметил какой-то блеск прямо под собой и опустил голову, чтобы посмотреть. Мой плащ держался на мне при помощи золотистой булавки, продетой в два противоположных угла одеяла. Но пока я полз по суку, булавка прорвала один из углов и теперь беспомощно висела на другом. Тут я вспомнил звук рвущейся ткани, который слышал, когда падал на ветку. Плащ просто лежал на мне, его ничто не удерживало.

Под очередным порывом ветра застонал вяз. Ветер взьерошил мои волосы и подхватил со спины плащ. Я видел, как плащ поплыл прочь, извиваясь, будто кто-то дергал его за невидимые нити. Вместе с ним уплыла и сила, поддерживавшая меня в воздухе. В следующий миг я полетел вперед, и земля набросилась на меня столь стремительно, что я даже не успел вскрикнуть.

Удар был сильным. Я приземлился на упавшую ветку, превратив ее в крошево

обломков. Одна длинная щепка воткнулась мне в грудь, прямо под ключицу. Когда рана зажила, от нее остался блестящий шрам в форме полумесяца — самая интересная отметина на моем теле. Я сломал малую берцовую кость, раздробил левую коленную чашечку и пробил череп в двух местах. Кровь шла из носа, рта и глаз.

Я не помню, как приехала «скорая помощь», хотя говорят, что полностью я сознания не терял. Зато помню белое испуганное лицо брата, склонившееся надо мной во дворе. В руках он комкал мой плащ. Бессознательно вязал на нем узлы.

Если у меня оставались сомнения в том, было ли это на самом деле, через два дня их не осталось. Я еще лежал в больнице, когда Никки привязал мой плащ на шею и прыгнул с верхней ступеньки лестницы нашего дома. Он катился до самого низа, все восемнадцать ступеней, и ударился лицом об угол последней. Его поместили в мою палату, но друг с другом мы не разговаривали. Большую часть времени он лежал спиной ко мне, уткнувшись лицом в белую стену. Не знаю, почему он не хотел смотреть на меня — может быть, сердился за то, что для него плащ не сработал? Или злился на себя, потому что поверил в удачу? А может быть, он предвидел, как его будут дразнить — ведь другие дети узнают, что он разбил себе лицо, изображая Супермена. Зато я отлично понимал, почему мы не разговаривали: он сломал себе нижнюю челюсть. Потребовалось шесть стержней и две дополнительные операции, чтобы его черты стали хотя бы отдаленно напоминать прежнее лицо.

Когда мы вернулись домой, плаща уже не было. Мама сказала, что выбросила его. Сложила в мусорный мешок и отвезла на свалку, чтобы там его сожгли. В доме Шутеров никаких полетов больше не будет.

После того падения я стал другим. Мое колено ныло, когда я слишком много ходил, когда шел дождь, когда было холодно. Яркий свет вызывал у меня ужасную мигрень. Я не мог долго удерживать внимание на чем-нибудь одном, мне трудно было высидеть урок от начала до конца, иногда посреди контрольной работы я погружался в мечты. Бегать я тоже не мог, поэтому в спорте не преуспел. Я не мог думать, и мои школьные успехи оставляли желать лучшего.

Я не поспевал за своими сверстниками ни в чем, поэтому предпочитал после уроков сидеть дома и читать комиксы. Не знаю, кто был моим любимым героем. Не помню ни одного сюжета. Я читал комиксы запоем, без особого удовольствия и без особых мыслей, читал их просто потому, что не мог не читать. Стоило мне увидеть комикс, как я накидывался на него. Дешевая бумага, аляповатые краски и таинственные персонажи поработили меня. Комиксы приобрели надо мной власть, подобную наркотической зависимости. Только взмывающие в небо герои казались мне реальными. А все остальное — недостаточно четкое, звук приглушен, цвета не такие яркие.

Десять с лишним лет я не летал.

По природе своей я не коллекционер. Если бы не брат, прочитанные комиксы я бы отбрасывал и терял. Но Ник, разделивший мою страсть, многие годы собирал их в полиэтиленовые пакеты и раскладывал по алфавиту в длинных белых коробках.

Однажды (мне было пятнадцать, а Ник заканчивал школу) он пришел домой с девушкой — событие из ряда вон выходящее. Он оставил ее со мной в гостиной, сказал, что поднимется вверх положить рюкзак, а сам помчался к нам в комнату и выбросил все комиксы, свои и мои, почти восемьсот выпусков. Побросал их в два больших мешка и вытащил на задний двор.

Я понимаю, почему он это сделал. Встречи с девушками давались ему нелегко. Он очень переживал из-за своего перекроенного лица, хотя на самом деле все было не так уж плохо. Подбородок и нижняя челюсть были немного грубоваты, кожа обтягивала их чуть туже, чем обычно, так что иногда он напоминал карикатуру на задумавшегося нарисованного героя. Но уродом его назвать было нельзя, хотя что-то жуткое в его попытках улыбнуться было. Казалось, что ему больно шевелить губами, обнажая белые, крепкие — как у Кларка Кента — фальшивые зубы. Он постоянно смотрелся в зеркало, отыскивая в лице признаки

уродства. Он искал в себе порок, который заставляет окружающих избегать его общества. С девушками ему приходилось трудно. Я был тремя годами младше, но ходил на свидания чаще, чем он. При таком раскладе он не мог позволить себе никакой слабости. Нашим комиксам пришлось отправиться на помойку.

Ее звали Энджи. Она была моего возраста, появилась в нашей школе недавно и еще не знала, что мой брат — неудачник. От нее исходил аромат пачулей, на голове она носила вязаную шапку цветов ямайского флага — красного, золотого и зеленого. Мы с ней пересекались на уроках английского и литературы, и она узнала меня. На следующий день у нас намечалась контрольная по «Повелителю мух». Я спросил, как ей нравится книга. Она ответила, что еще не дочитала, и я предложил ей помочь, если она не против.

К тому времени, когда Ник избавился от комиксов и вернулся, мы лежали на животах перед включенным телевизором. Я держал в руках книгу и кратко пересказывал подчеркнутые мною абзацы... обычно я в книгах никаких пометок не делал. Как я уже говорил, учеником я был слабым, без каких-либо амбиций, но «Повелитель мух» задел меня за живое и завладел моим воображением на пару недель. Я тоже захотел жить на острове, нагой и босой, с собственным племенем мальчишек, повелевать ими и придумывать дикие ритуалы. Я читал и перечитывал эпизоды, где Джек раскрашивает лицо, и меня снедало желание размазать грязь по собственному лицу и стать первобытным, непознаваемым и свободным.

Ник сел по другую руку от Энджи и надулся, потому что не хотел делить ее со мной. Говорить о книге он не мог — ни разу не читал ее. Он всегда посещал уроки английского языка и литературы для продвинутых учеников, где проходили Мильтона и переводы Данте. А я едва успевал в группе для будущих дворников и слесарей. Мы были тупыми ленивыми детьми, ни к чему в жизни не стремились, и за это нас награждали самыми интересными книжками.

Время от времени Энджи прерывала наши занятия, чтобы проверить, что показывают по MTV, и задать пару провокационных вопросов:

— Парни, а как вам эта девица? Горячая штучка, а? Как вы думаете, если тебе накостыляет участница боев в грязи, это позорно или, наоборот, — круто?

Она не обращалась ни к кому конкретно, поэтому отвечал я — просто чтобы не повисало молчание. Ник вел себя так, будто ему опять наложили на челюсть гипс, и только сердито улыбался своей натужной улыбкой, если мои ответы вызывали у Энджи смех. Один раз я пошутил особенно удачно, и она особенно заливисто рассмеялась, прикоснувшись ко мне рукой. Ник насупился еще больше.

После двух лет дружбы с Энджи случился наш первый поцелуй — мы напились на вечеринке и заперлись в кладовке, пока остальные стучали в дверь и хохотали. Тремя месяцами позднее у нас был первый секс. Мы лежали в моей комнате, и из раскрытого окна нас обдувал прохладный, сладко пахнущий сосновой хвоей ветерок. После того первого раза она спросила меня, что я хочу делать, когда стану взрослым. Я сказал, что хотел бы научиться летать на дельтаплане. Мне было восемнадцать, и ей было восемнадцать. Ответ удовлетворил нас обоих.

Вскоре после того, как она окончила медицинское училище и мы вместе сняли квартиру в центре города, она снова спросила меня, чем я хочу заниматься. Я летом работал маляром, а другого дела пока не нашел. Энджи сказала, что надо составить серьезные планы на жизнь.

Она хотела, чтобы я вернулся в колледж. Я сказал, что подумаю. Пока думал, я пропустил сроки подачи документов. Она предложила мне поступить на курсы санитаров скорой помощи и даже начала собирать необходимые бумаги: заявления, анкету, заявку на финансовую поддержку. Тонкая стопка листков некоторое время лежала на столе возле холодильника, собирая на себе кофейные пятна, пока мы не выкинули бумаги. Меня останавливала не лень — я просто не мог заставить себя заняться этим. Брат учился на врача

в Бостоне. Он обязательно решит, что я стремлюсь быть похожим на него, и от одной этой мысли я покрывался мурашками отвращения.

Энджи говорила, что должно найтись какое-то занятие, которому я хотел бы посвятить себя. Я сказал, что хочу жить на Аляске, за Полярным кругом, вместе с ней и кучей детей и собак. Выращивать в теплице овощи: помидоры и стручковую фасоль, а то и грядочку травы. Зарабатывать мы могли бы, катая туристов на собачьих упряжках. Мы бы отказались от мира супермаркетов, широкополосного Интернета и туалетов при спальне. Мы бы забыли о телевидении. Зимой небеса над нами расцветит северное сияние. Летом наши дети будут жить полудикой вольной жизнью, бегать по безымянным холмам и кормить с руки игривых тюленей на мостках за домом.

Мы только приступили к трудному делу — жизни во взрослом мире; мы делали первые шаги совместного существования. Когда я мечтал о том, как наши дети будут играть с тюленями, Энджи смотрела на меня таким взглядом, что я слабел и переполнялся надеждой... надеждой на то, что из меня получится что-то стоящее. У Энджи были большущие глаза, похожие на тюленьи, — карие с золотистой каемкой. Она смотрела на меня, не мигая, приоткрыв рот, она внимала каждому слову из моих фантазий о будущем — так ребенок слушает любимую сказку на ночь.

Но после того, как меня арестовали за вождение под воздействием алкоголя, любое упоминание Аляски встречалось гримасой. Из-за того ареста я лишился работы — потеря небольшая, надо признать, поскольку в то время я пробовал себя в качестве разносчика пиццы, и бремя оплаты наших счетов легло на плечи Энджи. Она беспокоилась обо всем, причем делала это в одиночестве, по возможности избегая меня, — нелегкая задача, если живешь в скромной трехкомнатной квартире.

Тем не менее я пытался заводить старые разговоры об Аляске, надеясь вернуть ее расположение, но вместо этого лишь давал ей повод вылить раздражение. Она спрашивала, на что же будет похож наш дом в глуши, если я не в состоянии поддерживать порядок в городской квартире? Она красочно описывала, как наши дети играют среди куч собачьего дерьма, как проваливается крыльцо, как двор захламляется ржавыми снегоходами, а повсюду шныряют одичавшие псы-полукровки. Она говорила, что от моих слов ей хочется кричать, до того они жалкие и не имеют никакого отношения к жизни. Она опасалась, что у меня проблемы со здоровьем, алкоголизм или клиническая депрессия. Она хотела, чтобы я сходил к врачу, хотя денег на лечение у нас не было.

Но это никак не объясняет, почему она ушла от меня — сбежала, не сказав ни слова. Дело тут не в заведенном на меня деле, не в моем пристрастии к выпивке и не в отсутствии у меня ясных целей. Настоящая причина ее ухода куда более ужасна, чем все это, вместе взятое. Ужасна до такой степени, что мы никогда не говорили о ней. Если бы на нее сослалась Энджи, я бы высмеял ее. А сам я никогда не заговорил бы об этом, потому что такова была моя политика — притворяться, будто ничего не случилось.

Однажды вечером я готовил нам на ужин завтрак — яичницу с беконом. Энджи вернулась с работы. К ее приходу еда должна была быть готова, это являлось частью моего плана: доказать ей, что, даже если я подавлен, я не безнадёжен. Я обронил несколько фраз о том, что на Юконе мы заведем собственных свиней, будем коптить бекон, а на Рождество закалывать молочного поросенка. Она сказала, что это уже не смешно. И сказала это таким тоном... Тогда я запел песню из «Повелителя мух»: «Свинью бей! Глотку режь!» — пытаюсь выжать смех из того, что изначально совсем не было смешным.

Она сказала:

— Прекрати. — И крикнула пронзительно: — Немедленно прекрати!..

В этот момент у меня в руке был нож, которым я нарезал бекон, а она стояла спиной к кухонному столу в нескольких футах от меня. В голове у меня неожиданно возникла яркая картина: я вообразил, как нож взрезает ее горло. Я мысленно увидел, как ее рука взлетает к шее, как распахиваются от удивления тюленьи глаза, увидел, как по свитеру течет кровь — ярко-красная, словно клюквенный сок.

Представляя все это, я случайно глянул на горло Энджи, потом ей в глаза. И она смотрела на меня — со страхом. Она поставила стакан с апельсиновым соком на стол и сказала, что у нее нет аппетита, что сегодня ей хочется пораньше лечь спать. Через четыре дня я вышел в магазин за хлебом и молоком, а когда вернулся, ее уже не было. Она позвонила потом от своих родителей и сказала, что какое-то время нам стоит пожить отдельно.

Это была лишь мысль. Время от времени все о чем-то думают, верно?

Не получая пару месяцев платы за квартиру, домовладелец предупредил, что выдворит меня на законных основаниях. Я решил съехать сам и вернулся в родительский дом. Мать как раз делала ремонт, и я сказал, что помогу ей. Я действительно хотел помочь. Мне отчаянно хотелось чем-нибудь занять себя. Уже четыре месяца я нигде не работал и в декабре должен был предстать перед судом.

Перегородки в моей бывшей комнате уже снесли и вынули рамы. Дыры в стене мать закрыла пластиковыми панелями. Пол скрывался под слоем кусков штукатурки и гипсобетона. Я устроился в цокольном этаже, поставив раскладушку напротив стиральной машины и сушилки. В изголовье на деревянном ящике нашел свое место телевизор. Оставить его в квартире я не мог — мне нужна хоть какая-то компания.

Мать в качестве компании не подходила. В первый день после моего вселения она сказала мне только одну фразу: я не могу пользоваться ее машиной. Если я пожелаю напиться и во что-нибудь врезаться, то могу купить свои четыре колеса. В основном она общалась со мной невербально. О том, что пора вставать, она уведомляла громким топотом у меня над головой. Она показывала мне свое отвращение ледяными взглядами поверх лома, которым вскрывала пол в моей бывшей комнате. В яростном молчании она вырывала доску за доской, словно хотела уничтожить все следы моего детства в этом доме.

Ремонт в цокольном этаже тоже не был закончен: голый бетон на полу и лабиринт низко висящих труб под потолком. Зато здесь имелся отдельный туалет — посреди грязи и разгрома неожиданно чистенькое помещение, застланное линолеумом в цветочек, с освежителем воздуха на бачке унитаза. Когда я стоял там, справляя малую нужду, то закрывал глаза и вдыхал аромат хвойной отдушки. Мне чудился ветер, что колышет верхушки мощных сосен где-то на севере Аляски.

Однажды ночью я проснулся в своей полуподвальной каморке, совершенно продрогнув. Мое дыхание клубилось серебристо-голубыми облачками в свете телевизионного экрана — я забыл его выключить. Вечером я прикончил пару бутылок пива и теперь морщился от рези в переполненном мочевом пузыре. Надо было сходить отлить.

Обычно я укрывался большим стеганым одеялом, сшитым еще моей бабушкой, но днем пролил на него соус из китайской закусочной. В стиральную машину я его засунул, а вот высушить руки так и не дошли. Перед сном в поисках замены мокрому одеялу я перерыл стенной шкаф и набрал целую стопку одеял, оставшихся со времен нашего с братом детства: пышное голубое покрывало с рисунком из комиксов, красное одеяльце, усеянное целой флотилией трипланов. Все они были слишком малы, чтобы накрыть меня, но я разложил их на себе одно за другим — первое на ноги, второе на живот, третье на грудь.

Их хватило, чтобы я пригрелся и заснул, но пока я спал, они сбились в кучу, и я свернулся калачиком, согреваясь собственным теплом. Колени я подтянул почти к самому подбородку, обхватив их руками, но пятки торчали голые. Проснувшись, я не чувствовал пальцев ног, словно их уже ампутировал холод.

Спросонок я ничего не соображал. Знал только, что мне нужно в туалет и что я замерз. Я поднялся и поплыл сквозь темноту в ванную комнату, накинув на плечи одно из одеял, чтобы хоть немного согреться. Не совсем проснувшийся, я удивился ощущению, будто все еще прижимаю к груди колени, но все-таки двигался вперед. И только над унитазом, возясь с шириной на трусах, я случайно глянул вниз и увидел: мои колени действительно подняты к груди, а ноги не касаются пола. Они болтались в воздухе в футе от сиденья унитаза.

Стены поплыли, и у меня закружилась голова — не столько от шока, сколько от сонного

изумления. Нет, шока не было. Полагаю, в подсознании я надеялся все эти годы, что опять полечу. Я почти ожидал этого.

Хотя то, что я делал, полетом назвать трудно. Скорее, это походило на управляемое парение. Я превратился в яйцо, неустойчивое и неуклюжее. Руки беспокойно хватались за воздух. Я нечаянно задел пальцами стену, и это немного уравнило меня.

Потом я почувствовал, как по моим плечам скользит ткань, и осторожно скосил взгляд, боясь, что малейшее движение разрушит это чудо. Краем глаза я увидел синюю атласную кайму, часть какой-то заплатки — красно-желтой. Новая волна головокружения накрыла меня, и я закачался в воздухе. Одежда соскользнула, совсем как тринадцать лет назад, и свалилось на пол. Я упал в тот же миг, стукнулся коленом о край унитаза, а рукой угодил в слив, по локоть окунув ее в ледяную воду.

Когда высокие окна полуподвала окрасились первым серебристым румянцем рассвета, я сидел и разглядывал свой старый плащ, разложив его на коленях.

Плащ был еще меньше, чем мне запомнилось, — размером с большую наволочку. Середину его по-прежнему украшала красная молния из войлока, хотя несколько стежков лопнули и края стрелы отошли от ткани. Нашивка моего отца тоже сохранилась — это ее я увидел ночью: желтый зигзаг на фоне пламени. Конечно, мать не выкинула его на свалку. Она ничего не выбрасывала из вещей, считая, что все когда-нибудь пригодится. Ее скопидомство со временем переросло в манию. Нежелание тратить деньги стало навязчивой идеей. О ремонте жилья она не имела ни малейшего представления, но мысль о том, чтобы за деньги поручить работу профессионалу, не приходила ей в голову. Я знал: теперь моя комната будет открыта всем стихиям, а я сам буду спать в полуподвале до тех пор, пока мать от старости снова не наденет памперсы. И менять их придется мне. То, что она считала силой характера и самодостаточностью, на деле являлось упрямством «белых голодранцев». После возвращения домой это очень скоро стало раздражать меня, и я перестал помогать ей.

Обшитый атласом край плаща был достаточно длинным для того, чтобы я повязал его себе на шею.

Долгое время я сидел на краю раскладушки на корточках — вылитый голубь на жердочке — в плаще, доходившем мне до копчика. Расстояние от пола составляло всего полфута, но мне представлялось, будто я сижу на краю пропасти. Наконец я оттолкнулся.

И повис. Покачался судорожно вперед-назад, но не упал. Горло сжалось, воздух застрял где-то за диафрагмой, и лишь через несколько секунд я смог заставить себя выдохнуть — громко, как лошадь.

В девять утра над моей головой загрохотали деревянные подошвы материнских сандалий, но я проигнорировал их. В десять она предприняла вторую попытку на этот раз даже приоткрыла дверь и громко спросила, собираюсь ли я подниматься. Я проорал в ответ, что уже поднялся. И это было правдой: я поднялся на два фута от пола.

К тому времени я летал уже несколько часов... но это слово, наверное, создает неверное впечатление. Это не похоже на полет Супермена. Вообразите вместо него человека, сидящего на ковре-самолете с подтянутыми к подбородку коленями. А теперь уберите ковер, и получите почти точный образ.

Скорость у меня была одна, и я назвал бы ее величавой. Я двигался, как колесная платформа на параде. Чтобы скользнуть вперед, достаточно было посмотреть вперед — меня тут же подхватывал некий мощный, но невидимый поток газа, этакий метеоризм богов.

Поначалу возникли проблемы с поворотами, но в конце концов я научился менять направление, действуя, как гребцы на каноэ. Плывая через комнату, я вытягивал одну руку в сторону, а другую прижимал к телу. И без усилия заходил на вираж вправо или влево, в зависимости от того, какое метафорическое весло опускал в воду. Как только я понял этот механизм, маневрирование стало восхитительным и легким делом: на повороте я как будто прибавлял газу, и это неожиданное ускорение порождало внизу живота приятную щекотку.

Вверх я поднимался, откидываясь назад, как в глубоком кресле. Попробовав этот прием

в первый раз, я взмыл вверх слишком быстро и стукнулся головой о медную трубу — достаточно сильно, чтобы перед глазами завертелись созвездия черных точек. Но я лишь рассмеялся и потер гудящую шишку в центре лба.

Остановился я только в полдень, в полном изнеможении. Я лег на постель. Мышцы живота беспомощно подергивались от нагрузки, которую им пришлось вынести, удерживая колени в нужном положении. Я забыл поесть и теперь чувствовал слабость и пустоту в голове от низкого уровня сахара в крови. Но даже лежа в медленно нагревающемся коконе простыней, я все еще парил. Я закрыл глаза и унесся в безграничные просторы сна.

Уже ближе к вечеру я снял плащ и поднялся наверх сделать себе сэндвичи с беконом. Зазвонил телефон, и я автоматически снял трубку. Это был мой брат.

— Мама говорит, что ты не помогаешь ей, — сказал он.

— Привет, спасибо, все в порядке. А ты как?

— А еще она говорит, что ты целыми днями сидишь внизу и смотришь телевизор.

— Не целыми, — возразил я. Прозвучало это, к моему неудовольствию, как оправдание. — Раз ты так за нее волнуешься, почему сам не приедешь и не поиграешь в плотника и каменщика?

— Если готовишься стать врачом, нельзя просто взять и приехать. Я даже в туалет должен отпрашиваться заблаговременно. На прошлой неделе, например, я провел в отделении скорой помощи десять часов. Надо было уйти, но поступила женщина с вагинальным кровотечением... — Здесь я хихикнул, и моя реакция была встречена неодобрительным молчанием. Потом Ник продолжил: — Короче, пришлось задержаться еще на час и убедиться, что с ней все в порядке. Я бы хотел, чтобы и у тебя появилось в жизни какое-то дело. Оно подняло бы тебя над твоим маленьким мирком.

— В моей жизни есть дело.

— Какое? Например, что ты делал сегодня?

— Сегодня... Сегодня необычный день. Я не спал всю ночь. Я... как бы это сказать... я парил то туда, то сюда. — Я ничего не мог с собой поделать и снова захихикал.

Он помолчал. Потом сказал:

— А если начнется свободное падение, поймешь ли ты, что с тобой происходит, а, Эрик?

Я соскользнул с края крыши, как пловец соскальзывает в воду с края бассейна. Желудок свело, по черепу побежали обжигающе-ледяные мурашки, тело сжалось, ожидая невесомости свободного падения. Вот чем все закончится, подумал я. И вдруг мне пришло в голову, что та ночь, то парение в полуподвале было иллюзией, шизофренической фантазией, а теперь я упаду и разобьюсь, и гравитация еще раз докажет свою реальность. Но вместо этого я нырнул, а потом поднялся. У меня за плечами развевался мой детский плащ.

Дожидаюсь, пока мать уляжется спать, я раскрасил себе лицо. Для этого я стащил у нее тюбик помады и в своей ванной нарисовал на лице жирную красную маску — пару соединенных петель вокруг глаз. Я не хотел бы, чтобы меня заметили парящим в небе. Если это случится, красные круги отвлекут потенциальных свидетелей от остальных моих черт. Кроме того, раскрашивать лицо было приятно; меня странно возбудило ощущение твердого и гладкого цилиндра губной помады, скользящего по коже. Закончив, я постоял перед зеркалом, любуясь собой. Красная маска понравилась мне. Очень простая, она изменила мою внешность до неузнаваемости. Мне было любопытно, что за новый человек смотрит на меня из зеркала. Чего он хочет. Что он может.

Когда мать закрылась в своей спальне, я прокрался наверх, пролез сквозь дыру в стене моей бывшей комнаты, где раньше было мансардное окошко, и выбрался на крышу. Несколько черных прямоугольников кровли не хватало, другие истрепались и хлопали на ветру. Вот еще одна статья экономии: мать починит кровлю сама и сэкономит несколько грошей. Правда, есть риск поскользнуться, упасть и сломать себе шею. Что угодно может

случиться здесь, где мир касается неба. Никто не знал этого лучше, чем я.

Холод обжигал щеки, руки немели. Я долго растирал и мял пальцы, собираясь с духом, чтобы превозмочь сотни тысяч лет эволюции. Они вопили мне в лицо, что я умру, если оторвусь от крыши. Но я оторвался от крыши и повис в ясном морозном воздухе в тридцати футах над газоном.

Наверное, вы думаете, что меня переполнял восторг, что я завопил от безудержной радости полета? Ничего подобного. Мои ощущения были гораздо тоньше. Мой пульс участился. На минуту я забыл о дыхании. А потом на меня снизошел покой — как штиль на море. Я полностью ушел в себя, стал балансировать на верхушке воображаемого пузыря. (Это сравнение может создать ложное впечатление, будто я чувствовал под собой некую опору. Нет, никакой опоры не было, и именно поэтому мне приходилось переносить центр тяжести в поисках равновесия.) Инстинктивно, а также и по привычке ноги я держал поджатыми к груди, а руки расставил в стороны.

Лунный серп был узок, в первой четверти, но достаточно ярок, чтобы разбросать по земле темные тени с резкими краями. Заиндевелые дворы в сорока ярдах подо мной блестели так, словно каждая травинка покрыта хромом.

Я скользил вперед. Я выписывал петли вокруг безлистных крон красного клена. Сухой вяз давно исчез с нашего двора: лет восемь назад сильная буря переломила его надвое. Верхняя часть упала на дом, и одна длинная ветка разбила стекло в моей комнате. Должно быть, старое дерево все еще желало меня убить.

Было холодно, и чем выше я поднимался, тем ниже падала температура. Меня это не беспокоило. Я хотел вознестись выше всех.

Наш город стоял на склонах долины — грубая темная чаша, расцвеченная огоньками. Слева вдруг раздался заунывный крик, и сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди. Я оглядел чернильные небеса и увидел дикого гуся с черной головой и шеей поразительного изумрудного цвета. Он бил крыльями и с любопытством поглядывал на меня. Однако я заинтересовал его ненадолго; вскоре он нырнул, развернулся к югу и пропал.

Поначалу я летел, не думая о направлении. Меня заставляла нервничать мысль о том, что я не смогу спуститься с высоты восьмисот футов и упаду. И все же, когда пальцы мои перестали гнуться, а лицо потеряло чувствительность, мне пришлось поэкспериментировать. Я осторожно наклонился вперед, и земля стала приближаться — у меня получился тот плавный спуск, что я часами отрабатывал в своем полуподвале.

Внезапно подо мной показались дома Пауэлл-авеню, и я осознал, куда держу путь. Три квартала я проплыл над проезжей частью, один раз взлетев повыше, чтобы обогнуть подвешенный над дорогой светофор, затем заложил левый поворот и понесся, как во сне, к дому Энджи. Она как раз должна была вернуться после вечернего дежурства в больницу.

Но она задержалась почти на час. Я сидел на крыше гаража, когда наш старый бронзовый «сивик» вывернул на подъездную дорожку. У него по-прежнему не доставало бампера и был помят капот — после того, как я врезался в мусорный бак в неудачной попытке скрыться от полиции.

Она подкрасила глаза и губы и надела ту самую светло-зеленую юбку с тропическими цветами по подолу, которую раньше носила только на ежемесячные собрания у себя на работе. Собрания проводились в конце месяца, а до него было еще далеко. Я сидел на жестяной кровле гаража и следил за тем, как она семенит на высоких каблуках к двери и входит в дом.

Возвращаясь с работы, она всегда принимала душ. А мне больше нечем было заняться.

Я соскользнул с конька гаражной крыши, покачался с боку на бок, как воздушный шарик, и подлетел к третьему этажу высокого узкого дома ее родителей. Свет в ее спальне не горел. Я прижался к стеклу, вглядываясь в темноту, и приготовился ждать, когда откроется дверь ее комнаты. Но она уже была там и в следующий миг зажгла настольную лампу как раз у окна, на низком трюмо. Энджи посмотрела в окно прямо на меня. Мне оставалось только неподвижно висеть за стеклом и смотреть на нее. От неожиданности я не мог шевельнуться,

не мог издать ни звука. В ее взгляде была усталость. Ни интереса, ни удивления. Она не видит меня. Она не видит меня из-за собственного отражения в темном стекле. Да видела ли она меня вообще когда-нибудь?

Я парил за окном, а она сняла через голову юбку, стянула скромное нижнее белье. Ванная комната примыкала к ее спальне, и Энджи оставила дверь между ними открытой. Сквозь прозрачное стекло душевой кабинки я наблюдал за тем, как она принимает душ. Купалась она долго, поднимала руки, чтобы откинуть за спину волосы цвета меда, подставляла горячим струям грудь. Я и раньше видел, как она моется, но так интересно мне еще никогда не было. Я надеялся, что она начнет мастурбировать гибкой головкой душа (она сама рассказывала мне, что делала так в юности), но она не стала.

Через некоторое время стекло запотело, и я различал только розовый силуэт, перемещающийся по комнате. Потом послышался ее голос. Она говорила по телефону. Спросила кого-то: неужели и в субботу нужно заниматься? Сказала, что ей скучно, что она хотела бы поиграть. В ее интонациях звучали нотки капризного флирта.

В центре оконного стекла появилось прозрачное пятнышко и стало расширяться — окно отпотевало, медленно раскрывая передо мной картину во всех деталях. В облегающей белой майке и черных хлопчатобумажных трусиках, с тюрбаном из полотенца на мокрых волосах она сидела за столом. Телефонный разговор она закончила и теперь раскладывала на компьютере пасьянс, время от времени отвечая на электронные сообщения. Рядом с клавиатурой стоял бокал белого вина. Я смотрел, как она пьет. В кино вуайеристы наблюдают за тем, как модели расхаживают в шикарном белье, но и повседневность возбуждает достаточно: губы на краешке винного бокала, резинка простеньких трусов на белом бедре.

Когда Энджи выключила компьютер, она казалась вполне довольной, но несколько возбужденной. Она забралась в постель, включила маленький телевизор и принялась переключать каналы. Остановилась она на программе о тюленях: показывали, как животные спариваются. Один тюлень забрался другому на спину и наяривал вовсю, тряся складками жира. Энджи с тоской оглянулась на компьютер.

— Энджи, — позвал я.

Она как будто не сразу отдала себе отчет в том, что услышала. Потом села в кровати и прислушалась к тихому дому. Я снова позвал ее по имени. Ее ресницы затрепетали. Она повернула голову к окну почти неохотно, но опять не увидела меня из-за своего отражения... пока я не постучал по стеклу.

Она испуганно вздернула плечи. Ее рот раскрылся в немом крике. Через миг она слезла с кровати и на негнущихся ногах приблизилась к окну. Она пригляделась. Я помахал ей рукой. Взглядом она поискала подо мной лестницу, затем перевела глаза на мое лицо. Она пошатнулась, и ей пришлось схватиться за трюмо, чтобы не упасть.

— Открой, — попросил я.

Энджи долго возилась с рамой, пока не подняла окно вверх.

— Боже мой, — сказала она. — Боже мой. Боже мой. Как ты это делаешь?

— Не знаю. Можно войти?

Я опустил на подоконник, сел и свесил ноги наружу, но одной рукой я уже был в ее комнате.

— Нет, — сказала она. — Я не верю.

— Да. Это правда.

— Как?

— Не знаю. Честно. — Я теребил пальцами край своего плаща. — Я умел это делать и раньше. Очень давно. Помнишь шрам у меня на груди? И колено всегда болит? Я тебе говорил, что упал с дерева, помнишь?

На лице ее читалось удивление, вдруг сменившееся пониманием.

— Да. Ветка обломилась и упала. А ты — нет, не сразу. Ты остался в воздухе. На тебе был плащ, и ты чудом не упал.

Она все знала! Она уже все знала — неизвестно откуда, потому что я ей этого не

говорил. Я могу летать. Она ясновидящая.

— Мне рассказывал Никки, — пояснила она, заметив мою озадаченность. — Он сказал, что, когда сук рухнул, ты, как ему показалось, остался висеть в воздухе. Он был так в этом уверен, что сам попытался летать и поэтому повредил лицо. Мы заговорили об этом, когда он объяснял мне, почему у него все зубы вставные. Он сказал, что в те годы был совсем сумасшедшим. Вы оба были сумасшедшими.

— Когда он рассказал тебе про зубы? — спросил я.

Мой брат не преодолел свой комплекс по поводу лица, и особенно зубов. Он не любил рассказывать, что у него вставные зубы.

Она покачала головой:

— Не помню.

Я развернулся на подоконнике и поставил ноги на ее трюмо.

— Хочешь попробовать?

В ее глазах светилось недоверие. Она приоткрыла рот в растерянной, изумленной улыбке. Потом склонила голову набок и прищурилась.

— Как ты это делаешь? — спросила она. — Seriously!

— Это связано с моим плащом. Не знаю, как именно. Что-то вроде волшебства. Когда плащ на мне, я могу летать. Вот и все.

Она прикоснулась пальцем к моему виску, и я вспомнил о своей маске, нарисованной помадой.

— Что у тебя на лице? Зачем это?

— Так я чувствую себя сексуальным.

— Да ты и вправду чокнутый. И я прожила с тобой два года! — Она смеялась.

— Так ты хочешь полетать?

Я окончательно забрался в комнату и сел на комод, свесив ноги.

— Садись ко мне на колени. Я покатаю тебя по комнате.

Она переводила взгляд с моих колен на мое лицо, в ее улыбке смешались недоверие и лукавство. В открытое окно влетел ветерок, шевельнул мой детский плащ. Энджи поежилась, обхватила свои плечи руками, а потом оглядела себя и вспомнила, что на ней почти ничего нет. Она тряхнула головой, скидывая полотенце с еще влажных волос.

— Подожди минутку, — попросила она.

Она подошла к шкафу, раздвинула двери и нырнула в ящик со свитерами. Пока она одевалась, мое внимание привлекли звуки, несущиеся с телеэкрана. Один тюлень кусал шею другого, яростно мотая головой, а его жертва надрывно выла. Голос за кадром рассказывал, что доминирующие самцы используют все данные им природой средства, чтобы не допустить потенциальных соперников к самкам стада. Лед окрасился клюквенно-алыми пятнами крови.

Я так увлекся, что забыл про Энджи. Ей пришлось прокашляться, чтобы напомнить о себе, и когда я обернулся, то успел заметить раздраженно поджатую полоску губ. Со мной это случалось постоянно: миг — и я уже засмотрелся на какую-нибудь телепередачу, хотя она меня вовсе не интересует. Ничего не могу с собой поделать. Словно у меня отрицательный заряд, а у телевизора — положительный. Нас замыкает друг на друга, а все, что остается вне этой связи, перестает существовать. Так же было и с комиксами. Да, это слабость, я признаю, но ее осуждение было мне неприятно.

Она заправила за ухо влажную прядь и одарила меня быстрой эльфийской улыбкой, будто не смотрела на меня только что с раздражением. Я оперся руками о комод, и она неловко устроилась у меня на бедрах.

— Почему-то мне кажется, что все это — глупая шутка, преследующая цель усадить меня к тебе на колени, — сказала она. Я наклонил корпус вперед, готовясь взлететь. — Мы сейчас свалимся...

Я скользнул с края комода в воздух. Меня болтало в разные стороны, а Энджи обхватила меня за шею и восторженно рассмеялась: радостный и одновременно испуганный

смех.

Я не особенно крепок физически, но летать с Энджи на руках — это совсем не то же, что носить ее на руках. Она словно сидела у меня на коленях, а я качался в кресле — в невидимом кресле-качалке. Изменился лишь центр тяжести, и теперь я боялся перевернуться, как перегруженное каноэ.

Мы облетели ее кровать, потом перелетели через стол. Она снова кричала, и смеялась, и опять кричала.

— Это самая безумная вещь... — бормотала она. — О боже мой, в это никто не поверит! — воскликнула она. — А знаешь, ты ведь станешь самым знаменитым человеком на всей земле!

Потом она просто уставилась мне в лицо огромными сияющими глазами — так же, как смотрела на меня раньше, когда я рассказывал ей о нашем будущем на Аляске.

Я сделал вид, будто лечу обратно к трюму, но, добравшись до него, не остановился, а продолжил движение. Только пригнул голову, вылетая из окна. И мы очутились на улице.

— Нет! Что ты делаешь? Господи Иисусе, какой холод! — Она так крепко обнимала меня за шею, что мне было трудно дышать.

Я поднялся к бледной прорехе месяца.

— Потерпи, — сказал я. — Всего одну минутку. Разве оно того не стоит? Полетать? Как во сне?

— Да, — согласилась Энджи.

— Невероятно, правда?

— Ага.

Она вся дрожала, что сопровождалось забавной вибрацией ее груди под тонкой тканью. Я поднимался все выше — к флотилии облаков, окаймленных ртутью. Мне нравилось, как Энджи прижимается ко мне, и нравилось, как она дрожит.

— Я хочу домой, — сказала она

— Не сейчас.

Моя рубашка немного распахнулась, и она уткнулась ледяным носом в мою голую грудь.

— Я хотела поговорить с тобой, — сказала она. — Хотела позвонить тебе сегодня вечером. Я думала о тебе.

— А кому ты позвонила вместо меня?

— Никому, — ответила она. И тут же сообразила, что я висел за окном и, вероятно, слышал разговор. — Ханне. Ты ее знаешь. С моей работы.

— Она учится где-то? Я слышал, ты говорила, что она в субботу должна заниматься.

— Давай вернемся.

— Конечно.

Она снова зарылась лицом мне в грудь. Носом она водила по моему шраму: серебряной дуге, похожей на серебряный месяц в небе. Я продолжал подъем к луне. Казалось, она уже совсем близко. Энджи прикоснулась к старому шраму пальцем.

— Это невероятно, — прошептала она. — Тебе так повезло. Подумай, что случилось бы, пройди ветка парой дюймов ниже. Она проткнула бы твое сердце.

— Она и проткнула, — сказал я, нагнулся вперед и отпустил ее.

Энджи цеплялась за меня, била ногами, и мне пришлось отрывать от себя ее пальцы один за другим, пока она не упала.

Когда мы с братом играли в супергероев, роль злодея всегда доставалась мне.

Кто-то же должен играть эту роль.

Брат сказал, что мне надо как-нибудь собраться и прилететь к нему в Бостон. И мы с ним сходим куда-нибудь выпить. Думаю, он хочет дать мне пару советов, как старший младшему. Хочет сказать, чтобы я взялся за ум и определился наконец со своей жизнью. А

может, он намерен поделиться со мной своей печалью. Уверен, ему есть о чем печалиться.

Что ж, как-нибудь я действительно соберусь и... слетаю к нему. Покажу ему свой плащ. Посмотрим, не захочет ли он примерить его. Посмотрим, не захочет ли он спрыгнуть с пятого этажа.

Может быть, он не захочет. После того, что случилось в прошлый раз, скорее всего — не захочет. Может быть, ему понадобится помощь. Небольшой толчок со стороны младшего братика

И кто знает, вдруг и он взлетит в моем плаще? Поднимется, а не упадет, и поплывет в холодные неподвижные объятия неба.

Но вряд ли. Когда мы были детьми, у него ничего не получилось. Значит, и сейчас не получится. Никогда не получится.

Ведь это мой плащ.

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

Примерно около полудня в дверь вошла семья — мужчина, женщина и их сын. В тот день они были первыми и, насколько Элинджер знал по опыту, последними посетителями: в музей никогда не заходило много народу. Элинджер был совершенно свободен и мог провести для них экскурсию.

Он встретил их в гардеробе. Женщина одной ногой все еще стояла на лестнице, колеблясь: идти дальше или нет. С вопросительным видом она смотрела на мужа поверх головы сына. Муж в ответ хмурился. Руками он уже взялся за лацканы пальто, но, казалось, еще не решил, снимать ли его. Элинджер наблюдал эту картину сотни раз. Стоило людям войти внутрь и заглянуть из фойе в погребальный сумрак демонстрационного зала, как их начинали одолевать сомнения: а туда ли они попали, не лучше ли уйти, пока не поздно. Только мальчик не испытывал сомнений в своих действиях; он уже скинул куртку и повесил ее на один из нижних крючков — специально для детей.

Пока они не сбежали, Элинджер дал о себе знать, прокашлявшись. На его памяти никто не осмелился уйти после того, как их заметили. В битве между сомнением и правилами хорошего тона всегда побеждают последние. Он сложил ладони и улыбнулся посетителям — как он надеялся, доброжелательно и по-отечески. Однако эффект вышел обратный. Элинджер был худым, мертвенно-бледным и очень высоким стариком; его виски тонули в глубоких впадинах. Мелкие серые зубы (все свои, несмотря на восемьдесят лет) производили неприятное впечатление, как будто их подпиливали напильником. Отец семейства напрягся. Женщина взяла сына за руку.

— Добрый день. Меня зовут доктор Элинджер. Прошу вас, проходите.

— Э-э... здравствуйте, — пробормотал отец. — Извините за беспокойство.

— Никакого беспокойства. Мы открыты.

— А-а. Отлично! — откликнулся отец, не очень убедительно изображая энтузиазм. — Так что мы... — И его голос оборвался.

Мужчина замолчал, то ли забыв, что собирался сказать, то ли не находя слов, то ли испугавшись. Ему на помощь пришла жена:

— Нам сказали, что здесь анатомический музей. Что-то связанное с дыханием.

Элинджер вновь одарил их улыбкой, и правое веко отца беспомощно задергалось.

— Не совсем так, — сказал Элинджер. — Мы не занимаемся дыханием вообще. Это музей последнего вздоха.

— Чего? — не понял отец.

Женщина нахмурилась:

— Я не понимаю вас.

— Пойдем, мам, — сказал мальчик, освобождая руку из пальцев матери. — Папа, пошли. Я хочу посмотреть, что здесь.

— Прошу вас, — сказал Элинджер, отступая назад и поводя тощей рукой с длинными

костлявыми пальцами в сторону экспозиции. — Буду рад провести для вас экскурсию.

Из-за опущенных гардин зал, погруженный в сумрак и отделанный панелями красного дерева, напоминал театр — перед тем, как поднимется занавес для начала представления. Однако витрины освещались тщательно направленными источниками света, утопленными в потолке. На подставках и пьедесталах стояло нечто вроде пустых стеклянных колб, отполированных до яркого блеска. Сияние их округлых боков делало полумрак еще гуще.

К каждой колбе с помощью прозрачного клея был присоединен некий прибор, напоминающий стетоскоп: так, чтобы диафрагма прижималась к стеклу. Рядом в ожидании, когда ими воспользуются, лежали наушники. Первым пошел мальчик, за ним следовали его родители, замыкал короткую процессию Элинджер. Все остановились у первой же витрины, справа у входа. В витрине на мраморном пьедестале стояла запечатанная склянка.

— Здесь ничего нет, — сказал мальчик. Он оглядел зал, уставленный такими же склянками. — Они все пустые.

— Ха, — невесело усмехнулся отец.

— Пустые, да не совсем, — сказал Элинджер. — Эти колбы герметично запечатаны. В каждой из них содержится последний вздох какого-то человека. У меня представлена самая крупная коллекция последних вздохов в мире, более сотни экземпляров. Некоторые принадлежат весьма известным людям.

Теперь засмеялась женщина — но не напоказ, а по-настоящему, от души. Она зажала рот рукой, но все равно вздрагивала, не в силах справиться со смехом. Элинджер терпеливо улыбнулся. Он уже много лет показывает свою коллекцию. Он видел все возможные реакции.

Мальчик же с интересом снова обернулся к витрине. Он взял в руки наушники прибора — они выглядели как стетоскоп.

— Что это? — спросил он.

— Это смертоскоп, — пояснил Элинджер. — Очень чувствительный прибор. Если хочешь, можешь надеть его и услышать последний вздох Уильяма Р. Съеда.

— Он знаменитость? — спросил мальчик.

Элинджер кивнул.

— Был когда-то. Если только преступника можно назвать знаменитостью. Во всяком случае, он был объектом гнева и изумления общественности. Сорок два года назад его казнили на электрическом стуле. Я сам подписывал акт о его смерти. Его последний вздох занимает в моей коллекции почетное место — он стал первым дыханием, которое мне удалось законсервировать.

Женщина справилась с приступом смеха, хотя все еще держала у рта носовой платок и выглядела так, словно с большим трудом удерживается от того, чтобы не рассмеяться снова.

— А что он сделал?

— Он душил детей, — ответил Элинджер. — Потом хранил их в морозилке и время от времени вынимал, чтобы полюбоваться. Я всегда говорил, что люди коллекционируют самые странные вещи. — Он согнулся, чтобы его лицо оказалось на одном уровне с лицом мальчика, и они оба воззрились на банку. — Не бойся. Возьми наушники, если хочешь послушать.

Мальчик взял наушники и надел их на голову. Его немигающий взгляд замер на играющем отблесками света сосуде. Через некоторое время выражение глубокой сосредоточенности сменилось недовольством.

— Я ничего не слышу. — Он потянулся руками к наушникам, чтобы снять их.

Элинджер остановил его.

— Подожди. Существует много видов тишины. Тишина морской раковины. Тишина после ружейного выстрела. Последний вздох заключен в колбе. Твоим ушам сначала надо привыкнуть. Через несколько минут ты сумеешь различить этот особый вид тишины.

Мальчик опустил голову и закрыл глаза. Взрослые наблюдали за ним.

Потом глаза ребенка распахнулись, и он поднял сияющее пухлое личико.

— Услышал? — спросил Элинджер.

Мальчик сдвинул наушники с одного уха.

— Он как будто икнул, только наизнанку. Понимаете? Вроде как... — Он изобразил короткий беззвучный вздох.

Элинджер взъерошил мальчику волосы и выпрямился. Мать промокала уголки глаз платком.

— Вы врач? — поинтересовалась она.

— На пенсии.

— Вам не кажется, что это несколько ненаучно? Даже если вы и вправду сумели законсервировать ту самую последнюю молекулу окиси углерода, которую кто-то выдохнул...

— Двуокиси, — поправил он.

— В любом случае, она не издает звуков. Невозможно сохранить в бутылке звук последнего вдоха

— Нет, — согласился доктор. — Но я и не сохраняю звук. Только определенного рода тишину. Мы все производим разные типы тишины. Вот вы, дамочка, никогда не замечали, что ваш муж, когда всем доволен, молчит совсем иначе, чем когда сердится? Наши уши способны уловить разницу между конкретными видами тишины.

Ей не понравилось, что ее назвали «дамочкой». Она сузила глаза и приготовилась сказать Элинджеру что-то резкое, но ее муж заговорил раньше, давая доктору повод отвернуться. Только тогда она заметила, что муж подошел к банке на столике у стены, рядом с темным пуфиком.

— А как вы собираете эти последние дыхания?

— С помощью аспиратора. Это маленький насос, он закачивает выдох в вакуумный контейнер. Я всегда ношу его в своем врачебном саквояже. Разработал прибор я сам, хотя подобные аппараты существуют с начала девятнадцатого века.

— Тут написано «По», — сказал отец, водя пальцем по карточке цвета слоновой кости, стоящей перед банкой.

— Да, — подтвердил Элинджер и тихо кашлянул. — Последнее дыхание известных людей собирают с тех пор, как это стало технически возможным. Признаюсь, мое хобби стоит дорого. За данный выдох я заплатил двенадцать тысяч долларов. Его мне предложил правнук врача, присутствовавшего при кончине По.

Женщина снова засмеялась.

Элинджер терпеливо продолжал:

— Вам может показаться, что я потратил огромную сумму на пустоту, но поверьте, это выгодная сделка. Скримм, парижский коллекционер, заплатил за последний вздох Энрико Карузо в три раза больше.

Отец прикоснулся к смертоскопу, подсоединенному к колбе с дыханием По.

— Некоторые виды тишины каким-то образом резонируют с нашим чувственным восприятием, — сказал Элинджер. — Мы почти ощущаем, как эта тишина артикулирует некую идею. Многие из услышавших последний вздох По говорят, что они уловили некое произнесенное слово или невысказанное, но совершенно конкретное желание. Может быть, вы тоже почувствуете это.

Отец семейства нагнулся и надел наушники на голову.

— Это смешно, — сказала за его спиной женщина.

Отец напряженно прислушивался. Его сын нетерпеливо ждал рядом, прижавшись к его ноге.

— Можно и мне послушать, пап? — попросил мальчик. — Теперь моя очередь.

— Ш-ш, — отмахнулся отец.

Они замолчали, а женщина что-то шептала себе под нос с видом снисходительного удивления.

— Виски, — одними губами произнес наконец мужчина.

— Переверните карточку с именем, — сказал Элинджер.

Отец перевернул карточку цвета слоновой кости с именем По на верхней стороне. На обратной стороне было написано: «Виски».

С торжественным лицом, уважительно поглядывая на банку, отец снял наушники.

— Разумеется. Алкоголизм. Бедняга. Знаете, в шестом классе я выучил наизусть его «Ворона», — вспомнил отец. — И читал перед классом без единой ошибки.

— Ой, да хватит, — протянула женщина. — Это какой-то фокус. Скорее всего, под колбой спрятан микрофон. Когда ты берешь наушники, включается запись, где кто-то шепчет слово «виски».

— Я не слышал шепота, — ответил ей муж. — Мне просто подумалось... как будто в голове моей раздался чей-то голос... такое разочарование...

— Громкость стоит на минимуме, — возразила жена. — И запись действует только на подсознание. Вроде того, как делают в открытых кинотеатрах.

Мальчик тем временем тоже надел наушники, чтобы *не услышать* то же самое, чего не слышал его отец.

— А здесь только известные люди? — спросил мужчина.

Он побледнел, и лишь на скулах рдели два темных пятна, как будто у него начиналась лихорадка.

— Вовсе нет, — сказал Элинджер. — Я запечатаваю в колбы последнее дыхание студентов, чиновников, литературных критиков — обычных людей. Одно из самых интересных молчаний в моей коллекции — это последний вздох привратника.

— Кэрри Мэйфилд, — прочитала женщина имя на карточке перед высокой пыльной пробиркой. — Это одна из ваших обычных людей? Должно быть, домохозяйка.

— Нет, — качнул головой Элинджер. — Пока в моей коллекции нет домохозяек. Кэрри Мэйфилд была юной мисс Флорида, невероятной красавицей. С женихом и родителями она направлялась в Нью-Йорк, чтобы сняться на обложке женского журнала. Большой прорыв к славе. Но их самолет упал в национальный парк Эверглейдс.¹ Погибло множество людей, про ту катастрофу много писали. Но Кэрри выжила Ненадолго. Выбираясь с места катастрофы, она упала в горящее топливо. Ожоги покрыли восемьдесят процентов ее тела. Она потеряла голос, пока звала на помощь. В реанимации она прожила неделю. В те годы я занимался преподаванием и привел своих студентов посмотреть на нее как на любопытный случай. Тогда редко можно было увидеть живого человека со столь глубокими и обширными ожогами. Некоторые части ее тела сплавились в единое целое. К счастью, мой аспиратор был при мне — она умерла, когда мы осматривали ее.

— Никогда не слышала ничего ужаснее, — сказала женщина. — А как же ее родители? И жених?

— Они умерли сразу, в момент падения самолета. Сгорели у нее на глазах. Не уверен, что их тела нашли и опознали. Аллигаторы...

— Я вам не верю. Ни единому слову. Я не верю ничему, что вы нам тут наговорили. Должна вам заметить, что существуют более умные способы выманивать деньги у честных людей.

— Дорогая, послушай... — заволновался ее муж.

— Если вы помните, платы за вход я с вас не брал, — сказал Элинджер. — Это бесплатная экспозиция.

— Ой, папа, смотри! — крикнул мальчик с другого конца зала, восторженно тыча в карточку. — Тут человек, написавший книгу «Джеймс и персик-великан»!²

Элинджер повернулся к мальчику, готовый поведать историю данного экспоната, но заметил краем глаза, что женщина двинулась к колбе Кэрри Мэйфилд. Он дернулся вслед за ней.

¹ Вероятно, имеется в виду реальная авиакатастрофа 1972 года, по которой впоследствии были созданы книга и фильм «Призрак рейса 401».

² Автор детской сказки в стихах — английский писатель Роальд Даль (1916–1990).

— Я бы порекомендовал вам сначала послушать кого-нибудь другого, — торопливо заговорил Элинджер. Но она уже надевала наушники. — Большинству посетителей не очень нравится то, что они не слышат в колбе Кэрри.

Она проигнорировала его слова, поправила наушники и приготовилась слушать, поджав губы. Элинджер прижал руки к груди и склонился к ней, следя за выражением ее лица.

Вдруг, без малейшего предупреждения, она отшатнулась от колбы. Наушники были у нее на голове, и резкое движение протащило банку по столу. Элинджер перепугался и подхватил банку, спасая ее от падения на пол. Женщина сдергивала с себя наушники. Ее движения вдруг стали неуклюжими.

— Роальд Даль, — сказал отец, кладя руку на плечо сына и восхищенно глядя на банку, обнаруженную мальчиком. — В самом деле? Значит, вы интересуетесь и литературными светилами, да?

— Мне здесь не нравится, — сказала женщина. Невидящим взглядом она уставилась на склянку с последним дыханием Кэрри Мэйфилд. Похоже, ей было трудно дышать: она шумно сглатывала, прижимая к горлу руку.

— Дорогая? — позвал ее муж. Он пересек зал и озабоченно посмотрел на нее. — Ты уже хочешь уйти? Экскурсия только началась!

— Мне все равно, — ответила она. — Мы уходим.

— Ну, мама! — заныл мальчик.

— Надеюсь, вы распишетесь в моей гостевой книге, — промолвил Элинджер и последовал за супружеской парой в гардероб.

Отец семейства заботливо поддерживал жену под локоть, беспокойно поглядывал на нее.

— Ты подождешь нас в машине? Мы с Томом еще немного походим здесь.

— Я хочу, чтобы мы немедленно ушли отсюда, — произнесла женщина тусклым неживым голосом. — Мы все.

Муж помог ей с пальто. Мальчик засунул руки в карманы и обиженно пинал старый докторский саквояж, притулившийся у стойки с зонтами. Потом до него дошло, что он пинает. Он опустил на корточки и без капли стеснения расстегнул саквояж, чтобы посмотреть на aspirator.

Женщина надела замшевые перчатки, очень тщательно натягивая каждый палец. Она, казалось, глубоко погрузилась в какие-то мысли, и Элинджер удивился, когда она вдруг поднялась, развернулась на каблуках и направила на него тяжелый взгляд.

— Вы ужасный человек, — заявила она — Ничуть не лучше тех, кто грабит могилы.

Элинджер сложил на груди руки и сочувственно улыбнулся. Он уже много лет демонстрирует свою коллекцию. Он сталкивался со всеми возможными реакциями.

— Дорогая, — вмешался ее муж. — Посмотри на это с другой точки зрения.

— Я иду в машину, — сказала она и опустила голову, вновь замыкаясь в себе. — Догоняйте.

— Подожди! — крикнул ей вслед муж. — Подожди нас.

Он еще не надел пальто, а мальчик все еще занимался aspirатором. Он сидел на коленях перед раскрытым саквояжем и кончиками пальцев ощупывал прибор, внешне напоминавший металлический термос с резиновыми трубочками и пластиковой маской для лица.

Женщина не слышала мужа и продолжала идти к выходу. Дверь за собой она не закрыла. Не поднимая глаз, она спустилась по гранитным ступеням на тротуар. Ее покачивало из стороны в сторону, как лунатика, когда она вышла на проезжую часть и направилась к их машине, припаркованной на другой стороне улицы.

Элинджер доставал из шкафа гостевую книгу — он надеялся, что мужчина все-таки оставит запись, — когда раздался визг тормозов и металлический хруст, будто машина на полной скорости врезалась в дерево. Но он уже знал, что это было не дерево.

Отец издал вопль, потом еще один. Элинджер обернулся и только успел заметить, как

тот летит вниз по лестнице. На улице, развернувшись под невероятным углом, стоял черный «кадиллак». Из-под смятого капота вырывались клубы пара. Водительская дверца была распахнута, и водитель стоял на дороге, теребя в руках шляпу.

Даже сквозь звон в ушах Элинджер слышал бормотание несчастного водителя:

— Она даже не посмотрела. Вышла прямо на дорогу. Боже праведный. Что я мог сделать?

Отец не слушал. Он опустился посреди улицы на колени и обнял ее. Мальчик замер в гардеробе, просунув одну руку в рукав куртки, и смотрел на улицу. На его лбу надулась и пульсировала синяя вена.

— Доктор! — крикнул отец. — Пожалуйста! Доктор! — Он оглянулся на Элинджера.

Элинджер не пошел сразу на улицу, а задержался на минутку, чтобы надеть пальто. Стоял март, в такую погоду легко простыть. До восьмидесяти лет он дожил исключительно благодаря тому, что всегда был осторожен и ничего не делал в спешке. Мимоходом он погладил мальчика по голове. Но не успел он спуститься до середины лестницы, как ребенок окликнул его.

— Доктор, — с запинкой произнес мальчик, и Элинджер оглянулся.

Мальчик протягивал Элинджеру саквояж, так и не удосужившись его застегнуть.

— Ваша сумка, — сказал мальчик. — Может быть, вам что-нибудь понадобится.

Элинджер улыбнулся ласково, поднялся по ступеням и взял из холодных рук мальчика саквояж.

— Спасибо, — сказал старик. — Очень может быть.

ДЕРЕВЬЯ-ПРИЗРАКИ

Существует мнение, что привидения бывают не только у людей, но и у деревьев. В литературе по парапсихологии встречается немало описаний таких явлений. Самым известным из них можно назвать белую сосну из Уэст-Белфри в штате Мэн — мощное хвойное дерево с невиданным гладким белым стволом и иголками цвета полированной стали. Ее срубили в тысяча девятьсот сорок втором году и построили на ее месте чайную и постоянный двор. Вскоре было замечено, что в желтой столовой в одном из углов есть холодное пятно — зона пронизывающей стужи размером как раз с диаметр ствола белой сосны. Над желтой гостиной располагалась спальня, но постояльцы отказывались ночевать в ней. Те же, что рискнули, не могли уснуть из-за настойчивых порывов несуществующего ветра: стонали и стучали потревоженные ветки, взлетали со стола бумаги, колыхались занавеси на окнах. В марте стены сочились смолой.

В тысяча девятьсот пятом году в Ханаанвилле, штат Пенсильвания, появился целый лес-призрак. Его наблюдали двадцать минут, и даже сохранились фотографии феномена. Случилось это в районе новостроек, где вдоль бесконечно петляющих дорог десятками вырастали современные бунгало на одну семью. Одним воскресным утром жители района проснулись и обнаружили, что лежат посреди берез — они выросли, казалось, прямо из пола их спален. В бассейнах на задних дворах покачивались заросли болиголова. Призрачный лес распространился до соседнего торгового центра. Первый этаж порос ежевичником, уцененные юбки повисли на ветках норвежских кленов, а в ювелирном отделе расположилась стайка воробьев — они деловито стучали клювами по жемчужинам и золотым цепочкам.

То, что бывают деревья-призраки, в каком-то смысле логичнее существования призраков-людей. Стоит только представить себе дерево: оно сотни лет стоит на одном и том же месте, купается в солнечном свете, впитывает из атмосферы и почвы влагу, без устали черпает из-под земли жизнь, как человек черпает ведром воду из бездонного колодца. После того как дерево срубят, его корни еще долгие месяцы пьют из подземного источника. Привычка к жизни настолько сильна, что бросить ее мгновенно деревья не могут. Очевидно, деревья не могут сразу признать свою смерть — ведь они никогда не знали, что жили.

После твоего ухода — не сразу, а где-то к концу лета — я спилил ольху, под которой мы с тобой расстилали одеяло твоей матери и читали, а потом засыпали, слушая жужжание пчел. Дерево состарилось, начало гнить, в нем завелись жучки, хотя по весне еще появлялись новые побеги на старых сучьях. Я говорил себе, что не хочу рисковать — сильный ветер может повалить ольху, и она упадет на дом, хотя, если честно, в сторону дома она не клонилась. Теперь я стал замечать, что порой в оголенном дворе ни с того ни с сего поднимается и воет ветер. И мне кажется, вместе с ним воет что-то еще.

ЗАВТРАК У ВДОВЫ

Киллиан не стал снимать одеяло с Гейджа — ему не хотелось его брать. Он оставил Гейджа там, где тот лежал, на небольшом холме над пересохшим ручьем где-то на востоке Огайо. Почти целый месяц после этого он нигде не останавливался, а все лето девятьсот тридцать пятого года провел в товарняках, идущих на север или на восток. Казалось, он по-прежнему придерживается их первоначального плана — навестить к любимой кухне Гейджа, обитавшей где-то в Нью-Гэмпшире; но на самом деле это было не так. Теперь Киллиан никогда не сможет познакомиться с ней. Он понятия не имел, куда держит путь.

На несколько дней он задержался в Нью-Хейвене, но не остался и там. Однажды вечером, дождавшись темноты, он вышел к тому месту, о котором ему рассказывали, — рельсы там описывали широкую дугу и поездам приходилось притормаживать, чтобы пройти ее. Он стал ждать. Рядом с ним, у основания насыпи, пристроился мальчишка в грязном пиджаке не по размеру. Когда появился поезд, идущий на северо-восток, Киллиан подскочил и побежал вдоль состава. Выждав удобный момент, он запрыгнул в товарный вагон. Следом в вагоне очутился и мальчишка.

Так они и ехали вдвоем, в темноте; качались из стороны в сторону вагоны, стучали и визжали колеса на стыках рельсов. Киллиан задремал и проснулся от того, что пацан дергал его за пряжку ремня. Он сказал, что ему нужен четвертак, но у Киллиана не было четвертака. А если бы и был, он потратил бы его с большим толком.

Киллиан схватил мальчишку за руки и оттолкнул от себя. Пришлось даже применить силу, чтобы тот отцепился: Киллиан намеренно вдавил ногти в мягкую кожу детских запястий, причиняя боль. Он велел мальчишке сидеть смирно. На вид он такой хороший ребенок, сказал Киллиан, зачем же так вести себя? И еще, сказал Киллиан, пусть малый разбудит его, когда поезд остановится в Уэстфилде. Мальчишка злобно посверкивал глазами из другого конца вагона и молчал, прижав колени к груди и обхватив их руками. Иногда сквозь щели деревянной стенки вагона падал серый утренний свет. Он медленно скользил по липу мальчика, выхватывая из мрака его лихорадочный ненавидящий взгляд. Под этим взглядом Киллиан снова заснул.

К тому времени, когда он проснулся, мальчишка исчез. Уже совсем рассвело, но было еще довольно рано и весьма холодно. Киллиан встал у полуоткрытой двери. Его дыхание срывалось и улетало прочь облаками мороженого пара. Он придерживал дверь рукой — выставленные наружу пальцы обжигал колющий ледяной поток воздуха. Рубашка Киллиана давно уже порвалась под мышкой, и в дыру задувал холодный ветер. Он не знал, проехали они Уэстфилд или еще нет, но чувствовал, что спал долго. Значит, скорее всего, Уэстфилд остался позади. Мальчишка, наверное, там и спрыгнул. После Уэстфилда поезд идет без остановок до самого Нортгемптона, а Киллиану вовсе не хотелось туда. Холодный ветер хлестал его лицо и руки. Иногда ему казалось, что он умер вместе с Гейджем и с тех пор по земле бродит его привидение. Но это было не так, о чем ему напоминало многое: например, ноющая боль в шее от неудобной позы, в которой он спал, или холодный воздух, задувающий сквозь дыру в рукаве.

На товарной станции в Лайме Киллиана и Гейджа застукал охранник: они спали под одним одеялом, спрятавшись в служебной пристройке. Он пинками разбудил их и велел убраться. Решив, что они двигаются недостаточно быстро, охранник ударил Гейджа

дубинкой по голове так, что тот повалился на колени.

Следующие несколько дней Гейдж, просыпаясь по утрам, говорил Киллиану, что у него двоится в глазах. Он находил это забавным. Несколько минут он сидел на одном месте и поворачивал голову в разные стороны, смеясь над размноженным миром. Чтобы зрение вернулось в норму, ему приходилось моргать и долго тереть глаза. Позднее, дня через три после случая в Лайме, Гейдж начал падать. Допустим, идут они вдвоем куда-нибудь, и Киллиан вдруг замечает, что шагает в одиночестве. Тогда он оглядывается и видит, что Гейдж сидит на земле, побелевший и испуганный. Они остановились в одном месте, чтобы отдохнуть денек-другой; но зря они там остановились, лучше бы Киллиан не соглашался на тот привал. Лучше бы они дошли куда-нибудь, где есть доктор. Теперь Киллиан понимал это. На следующее же утро, у сухого русла, Гейдж умер с открытыми удивленными глазами.

Потом Киллиан слышал у ночных костров рассказы об охраннике по прозвищу Лаймский Стукач. Из описаний он догадался, что это тот самый человек, что ударил Гейджа. Говорили, что Лаймский Стукач иногда даже стрелял в нарушителей. Однажды он, угрожая пистолетом, заставил кого-то прыгнуть с поезда, идущего со скоростью пятьдесят миль в час. Лаймский Стукач славился своими подвигами. По крайней мере, среди бродяг.

На сортировочной станции в Нортгемптоне работал охранник по имени Арнольд-Удавка. Поговаривали, что тот был еще злее Лаймского Стукача, и именно поэтому Киллиан не хотел туда ехать. После долгого ожидания у открытой двери вагона ему наконец показалось, что поезд замедляется. Почему, Киллиан не знал — никакого населенного пункта впереди не было видно. Наверное, они приближались к стрелке. Киллиан ждал, не остановится ли поезд, но он не остановился и через несколько секунд торможения резкими толчками снова начал набирать ход. Киллиан прыгнул. Скорость была не так уж мала, и Киллиан тяжело приземлился на левую ногу. Под каблуком захрустело, посыпался гравий. Нога подвернулась, и левую лодыжку пронзила острая боль. Он не закричал, когда падал лицом в мокрые кусты.

Стоял октябрь или даже ноябрь, точнее Киллиан не знал, и лес вдоль железнодорожных путей был укрыт ковром прелой листвы цвета ржавчины и масла. Киллиан побрел по этому коврику, припадая на ушибленную ногу. С деревьев опали не все листья, кое-где остались еще сполохи алого и пятна янтарно-оранжевого. Между березами и елями низко стелился холодный белый пар. Киллиан ненадолго присел на сырой пенек, нежно помял пальцами больную лодыжку, а солнце тем временем поднялось выше, и утренняя дымка растаяла. Ботинки Киллиана давно расползлись по швам, и подошвы держались на месте только потому, что он примотал их к ногам тряпками. Но пальцы ног все равно замерзли до потери чувствительности. У Гейджа ботинки были крепче, но Киллиан оставил ему все — и ботинки, и одеяло. Он пытался прочитать молитву над телом Гейджа, но не смог вспомнить из Библии ни строчки, только одну фразу: «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем».¹ Но это было связано с рождением Иисуса и, кажется, вовсе не годилось для молитвы над мертвым телом.

День будет теплым, определил Киллиан, хотя под сенью сосновых крон было еще холодно, когда он наконец поднялся с пня. Он шел по еле видной тропе до тех пор, пока пульсирующая боль в ноге не вынудила его остановиться. Он присел у насыпи и снова отдохнул. Лодыжка сильно опухла, и если он переносил на нее вес тела, кость простреливал электрический разряд боли. Раньше он всегда полагался на Гейджа в выборе момента для прыжка. Он всегда и во всем полагался на Гейджа.

Между деревьев виднелся белый коттедж. Киллиан бросил на него взгляд и снова вернулся к больной ноге, затем еще раз поднял голову и повнимательнее присмотрелся к деревьям. На одном из сосновых стволов кто-то соскреб кору и вырезал ножом букву «Х», закрасив букву углем, чтобы ее было лучше видно. Говорят, что нет никакого тайного языка бродяг, а если и есть, то Киллиан его не знал, и Гейдж тоже не знал. Но вот буква «Х» иногда означала, что в непосредственной близости от нее можно получить миску еды. Киллиан

¹ Лука, 2-19.

ощутил пустоту в желудке с особой остротой.

Нетвердой походкой он прошел мимо деревьев к забору позади коггеджа и застыл на краю леса. Краска на стенах облупилась, окна покрылись серой пленкой грязи. Прямо у задней стены дома была вскопана грядка — длинный прямоугольник темной почвы размером с могилу. На ней ничего не росло.

Разглядывая дом, Киллиан не сразу заметил девочек — скорее всего, потому что они не двигались и молчали. Он приблизился к коттеджу с тыла, но лес подступал к дому и с торца. Там-то девочки и сидели, опустившись коленями в папоротник, к Киллиану спиной. Чем они занимались, он не видел, но они замерли неподвижно. Их было две: обе в нарядных воскресных платьях, длинные белокурые волосы блестят чистотой и убраны в прически с помощью медных гребешков.

Киллиан стоял и наблюдал за тем, как они стоят на коленях, не шевелясь. Потом одна из них повернула голову и взглянула прямо на него. У нее было личико в форме сердца и глаза льдисто-голубого цвета. Выражение на лице отсутствовало. Через миг обернулась и вторая девочка, взглянула на него и слегка улыбнулась. Той, что улыбалась, было лет семь. Неулыбчивая девочка выглядела на несколько лет постарше. Киллиан поднял руку в приветственном жесте. Старшая задержала на нем взгляд еще на миг и отвернулась. Он по-прежнему не видел, что находилось перед ней, но что бы там ни было, оно поглощало ее внимание полностью. Младшая тоже не ответила на его приветствие, но едва заметно кивнула перед тем, как вернуться к тому, что их так занимало. Молчание и неподвижность девочек производили на Киллиана тягостное впечатление.

Он пересек двор и подошел к задней двери. Сетчатая дверь была оранжевой от ржавчины и выгибалась наружу, кое-где оторвавшись от рамы. Он снял шляпу, собрался взойти на крыльцо и постучаться, но не успел: внутренняя дверь открылась, и за сеткой появилась женщина. Киллиан сгорбился, стиснул в руках шляпу и изобразил на лице нижайшую просьбу.

Женщине могло быть и тридцать, и сорок, и все пятьдесят лет. Лицо ее казалось истощенным, губы — тонкие и бесцветные. За поясом фартука висело кухонное полотенце.

— Добрый день, мэм, — сказал Киллиан. — Я голоден. Не найдется ли у вас чего-нибудь поесть? Кусочек хлеба, может быть?

— Ты уже завтракал сегодня?

— Нет, мэм.

— В «Святом сердце» дают бесплатные завтраки. Ты разве не знаешь?

— Мэм, я даже не знаю, где это.

Она коротко кивнула

— Я приготовлю тебе тостов. Если хочешь, могу сделать и яичницу. Будешь яичницу?

— Ну, если вы ее поджарите, я не стану выкидывать ее на дорогу.

Гейдж всегда так говорил, когда ему предлагали больше, чем он просил, и в ответ хозяйки смеялись. Но эта женщина не засмеялась — наверное, потому, что он не Гейдж и в его устах эти слова звучат иначе. Вместо улыбки она снова кивнула и сказала:

— Хорошо. Вытри ноги... — Она глянула на его ботинки и оборвала фразу на полуслове. — Вижу, ботинки твои совсем прохудились. Как войдешь в дом, сними их и оставь у порога.

— Да, мэм

Проходя в дом, Киллиан обернулся и посмотрел на девочек еще раз, но они по-прежнему сидели к нему спиной и не обращали на него внимания. В доме он разулся и грязными босыми ногами прошлепал по прохладному линолеуму в кухню. Каждый раз, как он наступал на левую ногу, в щиколотке появлялось болезненное жжение. Когда он сел, на сковороде уже скворчали яйца.

— Я знаю, как ты вышел к моей задней двери. Знаю, почему ты здесь оказался. По той же причине, по какой здесь оказываются остальные, — сказала хозяйка, и он решил, что она имеет в виду букву «Х» на дереве, но не угадал. — Потому что в четверти мили отсюда есть

стрелка на путях, и поезда притормаживают, а вы спрыгиваете, чтобы не встретиться с Арнольдом-Удавкой в Нортгемптоне. В этом все дело? Ты тоже спрыгнул на стрелке?

— Да, мэм

— Из-за Арнольда-Удавки?

— Да, мэм. Говорят, от него стоит держаться подальше.

— Так говорят только потому, что у него такое прозвище. А сам он совсем не страшный. Он старый и толстый, а если и попытается кого догнать, далеко не убежит — свалится через три шага. Да он и не побежит ни за кем. Единственное, что заставит его спешить, — это известие, что где-то продаются бургеры по десять центов за пару, — добавила она. — А ты послушай меня. На этой стрелке поезда идут тридцать миль в час. Они почти не тормозят. Прыгать на такой скорости гораздо опаснее, чем встречаться с Арнольдом.

— Да, мэм, — сказал он и потерял левую ногу.

— Вот в прошлом году одна девушка — беременная — спрыгнула здесь, угодила в дерево и сломала шею. Слышишь?

— Да, мэм

— Беременная девушка. Она ехала с мужем Ты рассказывай всем об этом случае. Пусть знают, что надо дожидаться, пока поезд остановится. Целее будут. Вот твоя яичница. Хочешь джема к тостам?

— Если вас не затруднит, мэм. Спасибо, мэм. Не могу выразить, как вкусно все пахнет.

Она оперлась о кухонный прилавок и с ложкой в руках наблюдала за тем, как он ест. Он не разговаривал, быстро ел, и все это время она смотрела на него и молчала.

— Что ж, — произнесла она, когда он закончил. — Пожалуй, пожарю-ка я еще парочку яиц.

— Что вы. Я наелся.

— Больше не хочешь?

Киллиан колебался, не зная, что ответить. Это был трудный вопрос.

— Хочешь, — решила за него женщина и разбила в сковородку еще два яйца.

— Я выгляжу настолько голодным?

— Голодным — не то слово. Ты выглядишь как бездомный пес, готовый перерывать помойку ради куска чего-то съедобного.

Она поставила перед ним тарелку с яичницей, и он предложил:

— Если в доме найдется какая-нибудь работа для меня, я с удовольствием выполню ее.

— Спасибо. Но никакой работы нет.

— Может, вы еще подумаете. Вы пригласили меня к себе на кухню и накормили, и я очень ценю это. И хочу отплатить. Я не боюсь никакой работы.

— Откуда ты?

— Из Миссури.

— Я так и думала, что ты с юга. У тебя странный выговор. А куда держишь путь?

— Не знаю, — ответил он.

Больше она ничего не спрашивала, прислонившись к стене с ложкой в руках, и некоторое время смотрела, как он ест. Потом она молча вышла, оставив его на кухне одного.

Доев, он остался сидеть у стола, не зная, что делать. Не следует ли ему встать и уйти? Пока он мучился в нерешительности, женщина вернулась с парой низких черных сапог в одной руке и черными носками в другой.

— Примерь вот это, может, подойдет, — велела она Киллиану.

— Нет, мэм. Я не могу.

— Можешь. Давай, надевай. Размер, похоже, подходящий.

Он надел носки и сунул ноги в сапоги. С левой ногой он старался быть осторожным, но щиколотка все равно вспыхнула болью. Он со свистом втянул в себя воздух.

— У тебя что-то с ногой? — спросила женщина.

— Я подвернул ее.

— Когда спрыгивал с поезда?

— Да, мэм.

Она укоризненно покачала головой:

— А кто-то просто разобьется. И все из-за страха перед старым толстяком с шестью зубами во рту.

Сапоги были великоваты, но только на размер. Они застегивались на молнию. Черная чистая кожа лишь слегка потерлась на носках.

— Ну и как они тебе?

— Сидят хорошо. Но я не могу их взять. Они совсем новые.

— И что же? Мне от них толку никакого, а мужу они больше не нужны. Он умер в июле.

— Мне очень жаль.

— Мне тоже, — сказала она, ничуть не изменившись в лице. — Ты кофе хочешь? Я забыла предложить тебе кофе.

Он промолчал, и она налила ему и себе по чашке кофе и сама села за стол.

— Он погиб в аварии, — сообщила она. — Перевернулся грузовик. Погиб не он один, там было еще пятеро. Может, ты слышал. В газетах много об этом писали.

Он не ответил. Об этой аварии он ничего не слышал.

— За рулем сидел мой муж. Кое-кто считает, что он виноват. Что он был недостаточно внимателен. Даже проводили расследование. Кто знает, быть может, это и вправду его вина. — Она помолчала и заговорила вновь: — В том, что он погиб, есть одна хорошая сторона: по крайней мере, ему не пришлось жить дальше с этой виной. Жить и думать, что люди погибли из-за него. Это бы съело его изнутри.

Как бы Киллиан хотел, чтобы он был Гейджем! Гейдж нашел бы, что сказать. Гейдж потянулся бы через стол и прикоснулся к ее руке. А Киллиан сидел в сапогах погибшего мужчины и боролся с немотой. Наконец он выпалил:

— Самое плохое обычно случается с лучшими из людей. С самыми добрыми. И чаще всего без причины. Просто такая дурацкая судьба. Если вы не знаете наверняка, что виноват он, зачем мучаете себя мыслями, будто это так? Потеря близкого человека и без того тяжела.

— Хм... Да, постараюсь не думать об этом, — ответила она. — Я скучаю без него. Но каждый день я благодарю Бога за те двенадцать лет, что мы провели вместе. Благодарю Бога за наших дочерей. В их глазках я вижу его глаза.

— Да, — кивнул он.

— Они не знают, что делать. Совсем растерялись и не знают, что делать.

— Да, — опять кивнул Киллиан.

Они посидели за столом в молчании, и потом женщина сказала:

— Ты вроде одного с ним роста Погоди-ка, я принесу тебе еще рубашку и брюки.

— Не стоит, мэм. Мне неловко. Я не могу брать у вас вещи, если мне нечем расплатиться.

— Не говори ерунды. Плата тут ни при чем. После того ужасного события я пытаюсь найти в жизни как можно больше хорошего. Я хочу, чтобы ты взял его одежду. Так мне будет легче, — сказала она и улыбнулась.

Сначала он решил, будто у нее седые волосы. Теперь же, когда она сидела у окна в водянистом луче солнца, он разглядел, что скромный узел волос на затылке не седой, а белокурый, почти белый — как у ее дочерей.

Она поднялась и снова покинула кухню. Пока ее не было, Киллиан помыл за собой посуду. Женщина вскоре вернулась с парой брюк на подтяжках, плотной рубашкой в клетку и нижней рубашкой. Она провела Киллиана в маленькую спальню за кухней и оставила его там переодеваться. Рубашка была велика. У нее был слабый, но отчетливый мужской запах, нельзя сказать, что неприятный. Еще от нее пахло табачным дымом. Киллиан видел над плитой курительную трубку из кукурузного стебля.

Он вышел в кухню, держа свою рваную и грязную одежду под мышкой и ощущая себя чистым, свежим, сытым и таким же, как все люди. Женщина сидела у стола и вертела в руках

один из его старых ботинок. Со слабой улыбкой она срывала запекшиеся тряпицы, которыми Киллиан подвязывал подошвы.

— Эти ботинки заслужили покой, — сказал он. — Мне почти стыдно за то, как я с ними обращался.

Она подняла голову и рассмотрела его новое одеяние. Задержалась на брюках. Киллиану пришлось закатать штанины.

— Я не знала, подойдет ли тебе его одежда, — сказала она. — Мне казалось, что он крупнее тебя, но я не была уверена. Думала, это моя память делает его больше.

— Что ж. Он был высоким, как вам и казалось.

— Он становится все больше, — сказала она, — Чем дальше я уйду от него.

Киллиан никак не мог отплатить за одежду и еду. Женщина сказала ему, что до Нортгемптона три мили, и ему лучше отправиться в путь сразу, потому что пока он туда доберется, он проголодается снова, а в «Святом сердце» при церкви Девы Марии раздают бесплатные обеды. Там он получит миску бобов и кусок хлеба. Еще она сказала, что на восточном берегу реки Коннектикут стоит Гувервилл, но если он туда забредет, лучше не оставаться там надолго, потому что тамошняя полиция часто устраивает рейды и арестовывает людей за бродяжничество. Уже выйдя на крыльцо, она сказала, что лучше быть арестованным на товарной станции, чем прыгать с быстро идущего поезда. Она попросила его больше никогда не прыгать с поездов, только когда те остановятся или совсем уж медленно двигаются; не то в следующий раз он не отделается подвернутой лодыжкой. Он кивнул и спросил еще раз, не сделать ли для нее что-нибудь. Она ответила, что только что рассказала, что он должен для нее сделать.

Киллиан хотел взять ее за руку. Гейдж взял бы ее за руку и пообещал молиться за нее и за мужа, которого она потеряла. Он хотел рассказать ей о Гейдже. Однако он понял, что не в силах прикоснуться к ее руке, что он вообще не может шевельнуться и отчего-то неожиданно потерял голос. Его потрясала до глубины души щедрость людей, которые сами почти ничего не имели. Порой их безграничная доброта заставляла Киллиана бояться, что какая-то хрупкая часть его организма не выдержит благодарности и сломается.

Пересекая двор в новой одежде, он глянул в сторону леса и увидел, что девочки по-прежнему среди папоротников, но уже не сидят, а стоят. В руках у каждой из них было по букетику поникших полевых цветов, и обе они смотрели вниз, на землю. Он остановился, гадая, чем они занимаются и что лежит среди папоротников, скрытое от его взгляда. Пока он так стоял, обе повернули к нему свои белые головки — сначала старшая, а за ней и младшая, совсем как в первый раз — и молча воззрились на него.

Киллиан неуверенно улыбнулся и заковылял к ним. В зарослях мокрого от росы папоротника, не дойдя до девочек пару шагов, он остановился. Перед ними обнаружился расчищенный от травы участок. Там, на куске черной холстины, лежала третья девочка — моложе двух других, в белом платье с кружевным воротником и манжетами. Ее белые, как слоновая кость, ручки сложены на груди, под них подсунут букетик. Глаза ее оставались закрыты. Лицо девочки подрагивало, словно она боролась со смехом. Ей было не больше пяти лет. У нее в голове лежал венок из вялых маргариток, в ногах — еще один. Сбоку — раскрытая Библия.

— Наша сестра Кейт умерла, — сказала старшая девочка.

— Мы ее хороним, — сообщила средняя сестра.

Кейт неподвижно лежала на черной тряпке. Глаза она не открывала, но, чтобы не смеяться, ей пришлось закусить губу.

— Хотите поиграть с нами? — спросила средняя сестра. — В эту игру? Можете лечь. Тогда вы будете покойником, а мы покроем вас цветами, будем читать над вами Библию и петь гимны.

— Я буду плакать, — предложила старшая сестра. — Я могу заплакать, когда захочу.

Киллиан стоял и смотрел на девочку, лежащую на земле, и на двух плакальщиц. Наконец он сказал:

— Боюсь, мне такая игра не очень нравится. Я не хочу быть покойником
Старшая девочка оглядела его с ног до головы и остановила взгляд на его лице.
— А почему? — спросила она. — Вы одеты для этой роли.

МАСКА МОЕГО ОТЦА

По дороге на озеро Биг-Кэт мы играли в игру. Ее придумала мама. Когда мы выехали на федеральную трассу и в небе не осталось света, за исключением холодного бледного сияния на западе, она сказала, что за мной гонятся.

— За тобой гонятся карточные люди, — объяснила она, — дамы и короли. Они такие плоские, что могут проскальзывать под закрытыми дверями. Они двигаются нам навстречу, со стороны озера. В поисках нашей машины. Хотят перехватить нас. Ты должен прятаться всякий раз, когда покажется встречный транспорт. Мы не можем защитить тебя от них на дороге. Ой, скорее ложись. Вон едет один из них.

Я растянулся на заднем сиденье и смотрел, как по потолку движется свет фар приближающейся машины. Я не знал, подыгрываю ли я маме или просто устроился поудобнее для долгой дороги. Я хандрил. Меня пригласил в гости с ночевкой мой друг Люк Редхилл, вечер я надеялся провести за игрой в пинг-понг, а потом до утра смотреть телевизор вместе с Люком, его длинноногой старшей сестрой Джейн и пышноволосой подружкой Джейн — Мелиндой. Но когда я вернулся из школы домой, то обнаружил, что на крыльце стоят чемоданы. Отец загружал их в машину. Только тогда я узнал, что мы едем в домик дедушки на озере Биг-Кэт. Сердиться на родителей за то, что они не предупредили меня о своих планах заранее, я не мог — скорее всего, они и сами о них не знали. Это вполне в их стиле — придумать поездку на озеро за обедом. У моих родителей не было планов. У них были импульсы и тринадцатилетний сын, и они не видели никаких причин для того, чтобы последний как-то помешал первым.

— Почему вы не можете меня защитить? — спросил я.

Мама ответила:

— Потому что есть вещи, от которых материнская любовь и отцовская храбрость не в силах спасти. И потом, кто мог бы сразиться с ними? Ты ведь знаешь, какие они, эти карточные люди. Всегда ходят с золотыми секирами и серебряными пиками. Ты никогда не обращал внимания на то, как хорошо вооружены старшие карты в колоде?

— Недаром первая карточная игра, в которую учатся играть дети, это «Война», — вставил отец, небрежно придерживая руль одной рукой. — Вариации вечной темы: метафорические короли сражаются за ограниченные запасы денег и девиц в этом мире.

Мать развернулась на сиденье и посмотрела на меня серьезными, светящимися в темноте глазами.

— У нас проблемы, Джек, — сказала она. — У нас ужасные проблемы.

— Понятно, — кивнул я.

— Это продолжается уже несколько лет. Мы не говорили тебе раньше, потому что не хотели тебя пугать. Но ты должен знать. Ты имеешь право. Мы... э-э... видишь ли... у нас больше нет денег. Виной тому карточные люди. Они вредили нам, губили наши инвестиции, истощали в канцелярских проволочках наш капитал. Они распространяли мерзкие слухи о твоём отце у него на работе. Не стану огорчать тебя подробностями. Они угрожали нам по телефону. Звонили мне, когда я была дома одна, и рассказывали, что они собираются сделать со мной. И с тобой. Со всеми нами.

— Буквально вчера они подсыпали мне что-то в соус из моллюсков. Как же мне было плохо! — добавил отец. — Я думал, что умру. А недавно из химчистки нам вернули одежду в каких-то странных белых пятнах. Это тоже их рук дело.

Мама засмеялась. Говорят, что у собаки есть шесть разновидностей лая, каждый со своим значением: «вот чужак», или «давай играть», или «мне нужно справить нужду». У моей матери имелось несколько разновидностей смеха, и все они имели собственное

значение и звучание. Таким смехом, как этот, — залившимся и конвульсивным она отвечала на грязные шутки, а также на обвинения, когда ее уличали в шалости.

Я засмеялся вместе с ней и сел. Мой желудок успокоился. У нее был удивленный и торжественный вид, и на миг я забыл, что она все придумала.

Она потянулась к отцу и провела пальцем по его губам, будто закрывая их на «молнию».

— Я сама все расскажу, — объявила она. — А тебе говорить запрещаю.

— Если у нас так плохо с деньгами, я могу пожить некоторое время у Люка, — предложил я. «И у Джейн», — добавил я про себя. — Не хочу сидеть у вас на шее в трудное время.

Мама снова оглянулась на меня.

— Деньги меня не волнуют. Завтра в домик у озера приезжает оценщик. В этом доме масса замечательных вещей, оставшихся от твоего прадедушки. Часть из них мы попытаемся продать.

Мой прадедушка Аптон умер годом раньше, причем смерть его оказалась так ужасна, что мы предпочитали не говорить о ней. Этой смерти не нашлось места в его жизни, как в развеселой комедии неуместен финал из фильма ужасов. Это случилось в Нью-Йорке, где он имел квартиру на пятом этаже особняка в Ист-Сайде, одну из множества других его квартир. Он вызвал лифт и, когда двери раскрылись, шагнул внутрь. Только лифта за дверями не было, и Аптон летел пять этажей вниз. Падение не убило его. Он прожил еще целый день на дне шахты. Лифт в особняке был старым и медленным, он громко жаловался каждый раз, когда ему приходилось двигаться (как и многие жильцы этого дома). Криков Аптона никто не слышал.

— А давайте продадим коттедж! — осенило меня. — Тогда мы будем купаться в золоте.

— О, продать его мы не можем. Во-первых, он не наш. Он — общая семейная собственность: моя, твоя, тети Блейк, близнецов Гринли. Но даже если бы он принадлежал нам, мы бы его не продали. Он всегда был в нашей семье.

Впервые с того момента, как мне объявили о поездке на озеро, я догадался, зачем на самом деле мы туда едем. Наконец-то я увидел, что мои планы на выходные принесены в жертву интерьерному дизайну. Моя мать обожала заниматься дизайном жилья. Она любила выбирать занавески, стеклянные абажуры для настольных ламп, уникальные железные ручки для шкафчиков. Кто-то поручил ей заново обставить домик на озере. А вероятнее всего — она сама поручила себе это. А начать решила с избавления от старого хлама.

Я чувствовал себя полным болваном из-за того, что позволил ей выманить меня из мирка дурного настроения и увлечь в одну из своих игр.

— А я хотел остаться на ночь у Люка, — сказал я.

Мать бросила на меня хитрый всезнающий взгляд из-под полуопущенных ресниц, и я вдруг смутился. Этот взгляд говорил, что она догадывалась об истинных причинах моей дружбы с Люком Редхиллом — грубоватым и добродушным увальнем, которого я считал гораздо ниже себя по интеллектуальному развитию.

— Там ты подвергался бы опасности. Карточные люди нашли бы тебя, — сказала она весело и несколько жеманно.

Я посмотрел на потолок машины.

— Ладно.

Некоторое время мы ехали молча.

— А что им от меня нужно? — спросил я, хотя игра мне надоела и я хотел закончить ее.

— Все из-за того, что нам необычайно везет. Никто не должен быть таким удачливым, это вызывает у них ненависть. Но если они заполучат тебя, счет сравняется. Не важно, что раньше тебе везло: как только ты теряешь ребенка, ты в проигрыше.

Конечно, мы удачливы; возможно, мы удачливее всех. И дело не только в том, что мы хорошо обеспечены, как и наши многочисленные родственники, живущие на доходы от ренты. Мой отец имеет возможность посвящать мне больше времени, чем другие отцы —

своим детям. На работу он едет после того, как я уйду в школу, а когда я возвращаюсь, он уже дома. Если других дел у меня нет, мы садимся в машину и едем в гольф-клуб закатить по парочке мячей. Мама моя — красивая молодая женщина (ей всего тридцать пять лет) с врожденной склонностью к озорству, из-за чего она пользуется огромной популярностью среди моих друзей. Подозреваю, что кое-кто из них, и в том числе Люк Редхилл, включали ее в свои эротические фантазии, чем и объясняется их хорошее отношение ко мне.

— Ну и почему же на озере Биг-Кэт я буду в безопасности? — спросил я.

— Кто сказал, что там ты будешь в безопасности?

— Тогда зачем мы туда едем?

Она отвернулась от меня.

— Затем, чтобы вечером посидеть перед уютным камином, утром подольше поспать, съесть омлет на завтрак, до обеда ходить в пижаме. Даже если наша жизнь под угрозой, это не повод портить выходные. — Она положила ладонь на шею отца и стала играть с его волосами. Потом она напряглась, и ее ногти впились в его затылок. — Джек, — сказала она мне. Она глядела мимо отца, через водительское боковое окно куда-то в темноту. — Ложись, Джек, скорее!

Мы ехали по трассе 16 — ровному длинному шоссе с узкой разделительной полосой, поросшей травой. На разрыве для разворота стоял автомобиль, и когда мы проезжали мимо, его фары зажглись. Я повернул голову и проводил их взглядом, а потом снова упал на сиденье, чтобы меня не увидели. Автомобиль — обтекаемый серебристый «ягуар» — выехал на дорогу и полетел за нами.

— Я же говорила, что тебя никто не должен видеть, — сказала мама. — Поезжай быстрее, Генри. Мы должны оторваться от них.

Наша машина прибавила скорости, прорезая темноту. Цепляясь за обшивку сиденья, я встал на колени и осторожно приподнял голову, выглядывая в заднее окно. С какой бы скоростью мы ни ехали, «ягуар» держался за нами на одной и той же дистанции, проходя изгибы дороги с холодной и грозной уверенностью. Я не дышал, завороченный. Дорожные знаки проносились мимо так быстро, что я не успевал их читать.

«Ягуар» следовал за нами три мили, а затем свернул на парковку перед придорожной закусочной. Когда я повернулся вперед, мама зажигала сигарету от оранжевого пульсирующего кольца прикуривателя. Отец тихо напевал что-то и потихоньку сбавлял газ. Он покачивал из стороны в сторону головой в такт мелодии, что мне показалась незнакомой.

Я мчался сквозь ночь, опустив голову, чтобы спрятаться от кинжальных ударов ветра, и не глядя перед собой. Следом за мной бежала мама. Мы наперегонки неслись к крыльцу. Коттедж на берегу был погружен во тьму. Отец выключил зажигание и фары, а дом стоял в лесу, в конце грунтовой дороги, где не было ни единого фонаря. Сразу за домом я уловил блеск озера — этой дыры посреди мира, где плескалась чернота.

Мать открыла дверь и пошла зажигать везде свет. В центре коттеджа была большая квадратная комната; потолок пересекали мощные балки; с бревенчатых стен свисали рыжие ошметки коры. Слева от двери стоял комод с зеркалом, скрытым за двумя черными покрывалами. Спрятав руки в рукавах куртки, чтобы согреться, я медленно подошел к комоду. Сквозь полупрозрачную ткань я увидел смутные контуры человеческой фигуры, шедшей из зеркала мне навстречу. При виде своего отражения меня охватило неприятное чувство: я не знал эту безликую тень, что кралась ко мне из-под черного шелка. Я отбросил покрывало в сторону, но увидел лишь себя самого. Мои щеки были обожжены ветром.

Я уже хотел отойти прочь от комода, когда заметил маски. Зеркало удерживалось на двух изящных стойках, и с каждой свисало несколько масок — того типа, что прикрывают глаза и часть носа, как у Одиноквого Рейнджера. У одной из масок имелись усы, и всю ее покрывали блестки — наверное, для создания образа мыши в драгоценностях. Другая, сделанная из черного бархата, подошла бы для куртизанки на эдвардианском маскараде.

Масками был искусно украшен весь коттедж. Они болтались на дверных ручках и на

спинках стульев. Огромная алая личина мрачно взираала с каминной полки сюрреалистическим демоном из лакированного папье-маше, с изогнутым клювом и перьями вокруг глаз — идеальный костюм для того, кто получит роль Красной Смерти в постановке по рассказам Эдгара По.

Самая пугающая маска свисала со шпингалета на одном из окон. Она была сделана из мягкого, но абсолютно прозрачного пластика и выглядела как человеческое лицо, отлитое из тонкого льда. Она почти сливалась с оконным стеклом, и я вздрогнул, заметив ее краем глаза. Мне показалось, что это человек — призрачный, бесплотный, парящий за окном и наблюдающий за мной.

Хлопнула входная дверь, и в дом вошел отец, нагруженный нашим багажом. В тот же миг у меня за спиной зазвучал мамин голос:

— Когда мы были молодыми, совсем еще детьми, мы с твоим отцом любили приезжать сюда потихоньку от всех. Погоди-ка... Погоди, я придумала! Давай сыграем в игру. Ты должен угадать, в какой комнате тебя зачали.

Ей нравилось время от времени смущать меня непрошеными интимными подробностями их с отцом отношений. Я нахмурился и сурово, как я надеялся, посмотрел на нее. Она снова залилась смехом, и мы остались довольны друг другом: в очередной раз идеально разыграли свои роли.

— А почему здесь все зеркала закрыты?

— Не знаю, — пожала она плечами. — Может, тот, кто приезжал сюда перед нами, сделал это в память о твоём дедушке. Есть такая еврейская традиция: когда кто-то умирает, скорбящие прикрывают зеркала во избежание тщеславия.

— Но мы же не евреи, — заметил я.

— Все равно традиция хорошая. Надо поменьше о себе думать.

— А при чем тут маски?

— Во всяком доме, куда люди приезжают на отдых, должны быть маски. А вдруг тебе захочется отдохнуть от собственного лица? Лично мне смертельно надоедает изо дня в день быть одним и тем же человеком. Кстати, как тебе эта маска, нравится?

Я рассеянно водил пальцем по прозрачной маске, висевшей на окне. Когда мама обратила внимание на то, что я делаю, я тут же отдернул руку. По моему телу пробежал мороз.

— Примерь-ка ее, — воскликнула мама настойчиво и нетерпеливо. — Надо посмотреть, пойдет ли она тебе.

— Гадкая маска, — сказал я.

— Я приготовила тебе комнату. Ты не будешь бояться спать на непривычном месте? Если что, перебирайся к нам. Между прочим, ты так и сделал, когда мы были здесь в прошлый раз. Правда, тогда ты был гораздо моложе.

— Ничего, как-нибудь сам. Не хочу мешать вам, вдруг вы захотите зачать кого-нибудь еще.

— Будь осторожен в пожеланиях, — сказала мать. — История повторяется.

В маленькой комнате, отведенной мне, стояла лишь узкая кровать с пахнущими нафталином простынями и шкаф. На одной из стен — зеркало, спрятанное под шаль. С карниза свисала полумаска: зеленые листья, скрепленные вместе и украшенные изумрудными блестками. Она понравилась мне, но, когда я выключил свет, темнота все изменила. Листья превратились в панцирь некоего ящероподобного существа с черными провалами вместо глаз. Я снова включил свет и вышел из кровати, чтобы развернуть маску к стене.

Деревья подступали к самому дому, и иногда от ветра по стенам стучали ветки. От каждого их удара я просыпался, думая, что кто-то стучится в дверь. Я просыпался, задремывал, просыпался опять. Ветер усиливался, его шум перешел в высокий вой, и откуда-то доносился равномерный металлический скрип: пинг-пинг-пинг, — словно вращалось

велосипедное колесо. Я подошел к окну и выглянул наружу, не особенно надеясь что-то увидеть. Однако луна стояла высоко; когда деревья гнулись под порывами ветра, ее белый свет пробегал по черной земле стайками серебристых рыбок, что живут на глубине и светятся в темноте.

Возле одного из деревьев стоял велосипед — старинная модель с огромным передним колесом и до смешного маленьким задним. Переднее колесо вращалось: пинг-пинг-пинг. По траве к велосипеду шагал светловолосый мальчик в белой ночной сорочке. При виде мальчика меня почему-то охватил первобытный ужас. Он взялся за руль велосипеда, а потом вдруг склонил голову, будто прислушиваясь, и я отпрянул от стекла. Мальчик повернул голову и уставился на меня своими серебряными глазами, а я мгновенно очнулся в пахнущей нафталином постели. В моем горле еще хрипели сдавленные стоны.

Когда наступило утро и в последний раз за ночь я вынырнул из сна, оказалось, что я лежу в комнате родителей под толстым стеганым одеялом и мне на лицо падают косые лучи солнца. На подушке рядом со мной еще сохранился отпечаток головы матери. Я не помнил, как перебрался сюда во мраке ночи, и был этому рад. В тринадцать лет я оставался ребенком, но знал, что такое гордость.

Как ящерица на камне, я нежился на солнце — не до конца проснувшийся, но уже не спящий, и вдруг в другом конце комнаты вжикнула «молния». Я обернулся и увидел отца; он открывал сумку, стоящую на комоде. Шуршание одеяла привлекло его внимание, он поднял голову и взглянул на меня.

Он был обнажен. Утреннее солнце золотило его невысокое ладное тело. Лицо скрывала прозрачная пластиковая маска, которая вечером висела на окне в большой комнате. Она смяла лицо, до неузнаваемости сплющила отцовские черты. Он посмотрел на меня безучастно, словно не видел, что я лежу в кровати, или вообще не знал меня. Его толстый пенис покоился среди густых рыжеватых волос. Я довольно часто видел его голым, но в маске он стал чужим, и его нагота смутила меня. Он молча смотрел на меня — и это тоже внушало мне странную тревогу.

Я открыл рот, чтобы поздороваться, но в горле у меня все пересохло. Мне вдруг пришло в голову, что это действительно незнакомец и я его никогда раньше не видел. Я не мог выдержать его взгляда, поэтому отвернулся, затем выскользнул из-под одеяла и прошел в большую комнату, с трудом удерживаясь от того, чтобы припустить со всех ног.

На кухне звякнула посуда. С шипением полилась из крана вода. Звуки привели меня к маме — она наполняла водой чайник. Она услышала шлепанье моих босых ног и глянула на меня через плечо. При виде ее лица я застыл как вкопанный. Она надела маску черной кошки с блестящими усами, отделанную по краю стразами. На матери была футболка, доходящая до середины бедра, а ноги оставались голыми. Когда она наклонилась над раковиной, я заметил полоску узких черных трусов. Меня немного успокоило, однако, что она усмехнулась мне, а не просто молча смотрела, как будто мы раньше никогда не встречались.

— Омлет в духовке, — сказала она.

— Зачем вы с отцом носите маски?

— Так Хэллоуин же!

— Ничего подобного. Хэллоуин в следующий четверг.

— А что, есть какой-то закон, запрещающий начинать праздновать пораньше? — спросила она. И замолчала: прихватка в одной руке, чайник в другой. Потом снова бросила на меня косой взгляд. — В самом деле? *В самом деле.*

— Начинается. Грузовик сдает назад. Кузов приподнимается. Сейчас на землю повалится дерьмо.

— В этом доме всегда Хэллоуин. Он так и называется: Дом маскарадов. Но это тайна. И в этом доме есть одно правило: каждый, кто в нем живет, должен носить маску. Так было всегда.

— Я предпочту дождаться Хэллоуина.

Она вытащила из духовки блюдо с омлетом, положила мне кусок, налила чашку чая.

Потом села напротив меня и стала смотреть, как я ем.

— Ты должен надеть маску. Карточные люди видели тебя вчера. Теперь они найдут тебя здесь. А если ты будешь в маске, они тебя не узнают.

— Ага, как же. Я же узнал тебя, хоть ты и в маске.

— Это тебе только кажется, — сказала она, и в ее глазах с длинными ресницами вспыхнуло озорство. — Карточные люди не узнают твоего лица под маской. Это их ахиллесова пята. Они обо всем судят по внешности. Они мыслят в одном измерении.

— Ха-ха, — сказал я. — Когда придет оценщик?

— Придет когда-нибудь. После обеда, точно не знаю. Я даже не уверена, что оценщик существует. Может, я придумала его.

— Я проснулся всего двадцать минут назад, и мне уже скучно. Неужели трудно было оставить меня дома? Ехали бы вдвоем на свой дурацкий уик-энд-маскарад и без помех делали бы ребенка.

Я сказал это и тут же почувствовал, что краснею. И все же я был доволен, что сумел поддеть ее и насчет масок, и насчет черного нижнего белья, и насчет их карикатурной игры — они думали, будто я слишком мал, чтобы понять ее.

Она сказала:

— Мне хотелось взять тебя с собой. Чтобы ты не натворил дел с этой девчонкой.

Румянец на моих щеках вспыхнул еще жарче, как раздутые угли.

— Какая еще девчонка?

— Какая именно — не уверена Или Джейн Редхилл, или ее подружка. Скорее всего, подружка. Та, из-за которой ты все время рвешься в гости к Люку.

Мелинда, подружка Джейн, нравилась Люку; мне же нравилась Джейн. Тем не менее мамина догадка была достаточно близка к истине, чтобы встревожить меня. Чем дольше длилось мое потрясенное молчание, тем шире становилась ее улыбка.

— А она симпатичная, эта подружка Джейн, а? Они обе красотки. Но подружка, мне кажется, больше тебе подходит. Как ее звать? Мелинда? Она носит мешковатые штаны и, должно быть, целыми днями сидит в домике на дереве, что построила с отцом, и читает. Наверняка сама насаживает червей на крючок и гоняет в футбол с мальчишками.

— Люк запал на нее.

— Значит, Джейн.

— С чего ты взяла, что мне нравится одна из них?

— Должна же быть причина, почему ты вечно торчишь у Люка. Кроме самого Люка. — Потом она сказала: — Несколько дней назад Джейн заходила к нам. Продавала подписку на благотворительный журнал для своей церкви. Такая активная. Жаль, что у нее нет чувства юмора. Вот тебе мой совет: когда станешь чуть постарше, как бы нечаянно столкни Люка Редхилла в старый карьер. Несчастная Мелинда упадет в твои объятия, и вы вместе будете скорбеть по безвременно ушедшему другу. Скорбь бывает очень романтична. — Она взяла мою пустую тарелку и встала. — Найди себе маску. Включайся в игру.

Она поставила тарелку в раковину и вышла. Допив сок, я побрел в большую комнату вслед за ней, но успел лишь увидеть, как она приоткрывает дверь и скрывается в спальне. Там ее ждал тот, кого я принял за своего отца. Он по-прежнему был в маске из мягкого льда, однако уже натянул джинсы. На мгновение, пока открывалась и закрывалась дверь, наши взгляды встретились — его глаза оставались бесстрастными и незнакомыми. Он по-хозяйски положил руку на бедро матери. Потом дверь закрылась, и они исчезли.

Я пошел в свою спальню, сел на кровать, сунул ноги в кроссовки. Под навесом крыши завывал ветер. Меня одолевало смутное беспокойство и скука, я хотел домой, не представлял, чем занять себя. Поднимаясь с койки, я глянул на зеленую маску из шелковых листьев. Она вновь была развернута лицом в комнату. Я взял ее, потер между пальцами, словно проверяя ее гладкость. Потом, почти безотчетно, я надел маску.

Мама сидела в гостиной, выйдя из душа.

— Это ты, — протянула она. — Вылитый Дионис. Или Пан. Нужно найти подходящее полотенце и сделать тебе симпатичную тогу.

— Ага, будет здорово. Пока не наступит переохлаждение.

— Да, сквозняки здесь сильные. Давай-ка разожжем камин. Правда, кому-то придется сходить в лес за сушняком.

— Ума не приложу, кто бы это мог быть.

— Подожди. Мы превратим это в игру. Будет очень интересно.

— Я не сомневаюсь. Что может быть интереснее, чем бродить утром по холодному лесу в поисках дров.

— Послушай. Главное — не сходи с тропы. В лесу реальна только тропа, остальное — иллюзия. Дети, которые сворачивают с тропы, теряются навсегда. А еще самое важное: нельзя, чтобы тебя увидел кто-нибудь, кроме людей в масках. Все, кто в масках, прячутся от карточных людей, как и мы.

— Если лес так опасен для детей, не лучше ли мне остаться дома, а тебе или папе — отправиться за дровами. Он вообще сегодня выйдет из спальни?

Но она качала головой:

— Взрослым нельзя в этот лес. Для людей моего возраста нет спасения даже на тропе. Я ее просто не увижу. Когда становишься взрослым, она для тебя пропадает. Я знаю про нее, потому что мы с твоим отцом гуляли по ней раньше, когда приезжали сюда в детстве. Только юные способны найти путь сквозь чудеса и иллюзии темного леса.

Под голубиною цвета небом было сыро и холодно. Я обошел дом по периметру, надеясь обнаружить поленницу дров. Когда я проходил мимо окна спальни, в стекло изнутри постучал мой отец. Я приблизился к окну, чтобы узнать, чего он хочет, и был немало удивлен собственным отражением: я до сих пор не снял маску из зеленых шелковых листьев и забыл о том, что она на мне.

Отец опустил верхнюю половину рамы и высунулся на улицу. Его лицо по-прежнему подминала под себя маска из прозрачного пластика. В льдисто-голубых глазах застыла отрешенность.

— Ты куда?

— Пройдусь по лесу. Мама послала меня за дровами для камина.

Он положил руки на край рамы и направил взгляд на двор. Он долго следил за тем, как ветер несет по траве листья цветы ржавчины.

— Как бы мне хотелось погулять по лесу.

— Так походи и погуляй.

Он глянул на меня и улыбнулся, впервые за весь день.

— Нет. Не сейчас. Знаешь что? Ты иди, а я найду тебя попозже.

— Хорошо.

— Забавно. Как только уезжаешь из этого места, тут же забываешь, как... чисто здесь. Как пахнет воздух. — Он смотрел на траву и на озеро еще несколько секунд, затем повернул голову, поймал мой взгляд. — Забывается и многое другое. Джек. Послушай, мне бы не хотелось, чтобы ты забыл о...

У него за спиной в дальнем конце спальни открылась дверь. Отец замолчал. В дверях стояла мама. Она уже надела джинсы и свитер и теребила пальцами широкую пряжку на ремне.

— Мальчики, о чем разговор? — спросила она.

Папа не оглянулся на нее, а продолжал смотреть на меня, и под его новым лицом из мягкого хрусталя я уловил то ли смущение, то ли досаду, словно его поймали на каком-то мелком обмане вроде жульничества в пасьянсе. И я вспомнил, как прошлым вечером мама провела пальцем по его губам, закрывая воображаемую «молнию». В голове моей возникла неприятная пустота и легкость. Мне подумалось, что передо мной разыгрывается очередной эпизод их нездоровой игры, и чем меньше я буду знать об этом, тем лучше.

— Ни о чем, — сказал я. — Я сказал папе, что иду погулять. Так я пошел. Гулять. — Я

говорил это, одновременно пятясь от окна.

Мать кашлянула. Отец медленно поднял раму на место, не отводя от меня взгляда. Он повернул ручку замка и прижал ладонь к стеклу в прощальном жесте. Когда он отнял руку, на стекле остался ее отпечаток. Эта призрачная рука таяла у меня на глазах, пока не исчезла вовсе. Отец закрыл занавески.

Я почти сразу забыл о том, что меня отправили собирать дрова. Насколько я мог судить, родители просто хотели выпроводить меня из дома, чтобы им никто не мешал, и эта мысль раздражала меня. В самом начале тропинки я стянул с головы маску и повесил ее на первую попавшуюся ветку.

Я шагал, опустив голову и засунув руки в карманы куртки. Поначалу тропа бежала вдоль озера — за зарослями болиголова проглядывали осколки холодной синевы. Слишком занятый брюзгливыми размышлениями о том, почему родители не нашли способа уехать на озеро Биг-Кэт без меня, если так стремились поразвлечься, я не сразу заметил, что тропа повернула прочь от воды. Я не поднимал головы, пока не услышал приближающиеся звуки — стальной скрип, хруст нагруженной металлической рамы. Прямо передо мной тропа разделялась и с двух сторон огибала валун, размером и формой похожий на полузакопанный в вертикальном положении гроб. За валуном тропа сливалась воедино и убегала в сосны.

Непонятно отчего, я встревожился. То ли всему виной внезапный порыв ветра, заставивший деревья хлестать ветвями по небу. То ли мне передалось беспокойство опавшей листвы, прошелестевшей мимо моих щиколоток, словно она спешила убраться с моего пути. Я безотчетно присел за валуном спиной к камню, поджав колени к груди.

Через секунду из-за моего левого плеча появился мальчик — тот самый, что приснился мне ночью, и на том же старинном велосипеде. Он даже не взглянул в мою сторону. Он был так же одет в ночную сорочку. Белые ремни удерживали у него на спине два скромных белых крыла. Может быть, ночью я не заметил их из-за темноты. Он с шумом проехал мимо меня, и я успел разглядеть пухлые щеки в ямочках и белокурую челку. Его черты выражали спокойную уверенность, а взгляд был задумчивым и отстраненным. Я проследил за тем, как ловко он между камнями провел свой велосипед, напоминавший о фильмах Чаплина, повернул — и скрылся.

Если бы я не видел его ночью, то решил бы, что он едет на костюмированный праздник. Правда, было слишком холодно, чтобы дети разгуливали по лесу в ночнушках. Я захотел вернуться обратно в коттедж и спрятаться от завывающего ветра под крылом родителей. Эти деревья, хлещущие воздух и друг друга, наводили на меня жуть.

Но когда я снова тронулся в путь, я пошел в том же направлении, куда двигался раньше. Я поминутно оглядывался, не едет ли за мной велосипедист. Повернуть обратно я не посмел, потому что мальчик на двухколесном антиквариате был где-то там, между мной и коттеджем.

Я заторопился, рассчитывая выйти на дорогу или к одному из летних домиков на берегу озера; мне хотелось поскорее покинуть лес. Но куда бы я ни шел, минут через десять вновь и вновь возвращался к валуну в форме гроба. Камень был приметным — рядом с ним стояла сосна с прибитой табличкой, потемневшей от времени и дождей: «КУДА УГОДНО», а почва вокруг была вытоптана. Очевидно, здесь недавно разбивали лагерь. В черном кострище валялось несколько обуглившихся ветвей. Кто-то построил между двумя большими камнями навес — наверное, дети. Камни были примерно одного размера и стояли под углом друг к другу, так что положить между ними кусок фанеры не представляло сложности. Со стороны кострища к укрытию подтащили бревно. На нем могли сидеть люди, и одновременно оно служило барьером: нужно было перелезть через него, чтобы проникнуть под навес.

Я стоял у потухшего кострища и собирался с мыслями. От дальнего конца стоянки в лес уходили две тропки. Большой разницы между ними не было — два узких прохода в кустах, и ни единой подсказки, в какие места они ведут.

— Куда ты собираешься идти? — раздался слева от меня веселый девичий голос.

Я подпрыгнул, отскочил на полшага в сторону, оглянулся. Из укрытия между камнями

выглядывала девочка, опираясь руками о бревно. Я не заметил ее раньше, мне помешала тень от фанеры. Черноволосая, немного старше меня — лет шестнадцати — и, как мне показалась, красивая. Точнее сказать я не мог, потому что она была в черной с блестками маске, украшенной по бокам пучками страусиных перьев. Сразу за девочкой, скрытый полумраком, сидел мальчик. Верхнюю половину его лица закрывала гладкая пластиковая маска цвета молока.

— Я ищу дорогу назад, — ответил я.

— Куда назад? — спросила девочка.

Мальчик, стоящий позади нее на коленях, медленно перевел взгляд на ее отставленный зад в потертых джинсах. Она, осознанно или нет, слегка водила бедрами из стороны в сторону.

— Здесь неподалеку наш летний домик. Только я не знаю, какая тропа туда ведет.

— Можешь пойти тем же путем, каким пришел сюда, — посоветовала она, но с озорными нотками в голосе — словно знала, что я боюсь той тропы.

— Нет, туда мне идти не хочется, — промямлил я.

— А зачем ты вообще сюда шел? — спросил мальчик.

— Мама послала меня набрать дров.

— Это что, начало волшебной сказки? — фыркнул он. Девочка бросила на него неодобрительный взгляд, который он проигнорировал. — Причем плохой сказки. Родители больше не могут прокормить своего ребенка и отсылают его прочь, чтобы он заблудился в лесу. В итоге его съедает на ужин ведьма. Варит из него похлебку. Надеюсь, эта сказка не про тебя.

— Хочешь поиграть с нами? — спросила девочка и показала мне колоду карт.

— Я хочу вернуться домой. Родители будут волноваться.

— Садись и поиграй с нами, — велела девочка. — Мы сыграем на вопросы. Победитель задаст проигравшим по вопросу, а они должны будут отвечать правду. То есть, если ты обыграешь меня, то сможешь спросить, как тебе добраться до дому и не встретить мальчика на старом велосипеде. А мне придется ответить.

Значит, она видела его и догадалась обо всем остальном. Она была довольна собой, показав мне, как легко меня раскусила. Я обдумал ее предложение, потом кивнул.

— Во что вы играете? — поинтересовался я.

— Это вроде покера Называется «холодная партия», потому что играть в нашу игру можно только в холода.

Мальчик качнул головой:

— Она сама придумывает правила, да еще и меняет их по ходу игры. — Его ломающийся голос мне кого-то очень напоминал.

Я перелез через бревно, и девочка опустилась на колени, скользнув в тень под фанерной крышей, чтобы дать мне место. Тасуя колоду засаленных карт, она без умолку тараторила:

— Правила простые. Я сдаю каждому по пять карт лицом вверх. Выигрывает тот, у кого будет лучший расклад. На первый взгляд игра кажется слишком легкой, но есть еще несколько забавных правил. Если ты улыбнешься во время игры, то игрок слева от тебя получает возможность обменять одну из своих карт на твою. Если тыстроишь из первых трех карт домик, а другие игроки не сумеют сдуть его одним дыханием, то следующую карту ты выберешь себе из колоды сам. Если тебе выпадет черный фант, другие игроки могут забросать тебя камнями до смерти. Если во время игры у тебя возникают вопросы, ты не имеешь права задавать их — спрашивает только победитель. Любой, кто задаст вопрос до окончания игры, считается проигравшим. Понял? Начинаем.

Первым мне выпал Ленивый валет. Я понял это по надписи внизу карты, а также по картинке: золотоволосый валет лежал на подушках, девушка в гаремном облачении делала ему педикюр. Когда девочка вручила мне вторую карту — тройку колец, — я вспомнил о том, что она говорила про черный фант.

— Погодите-ка, — начал я, — а что такое...

Девочка подняла брови с самым серьезным выражением лица.

— Не важно, — сказал я.

Мальчик издал какой-то невнятный звук, и девочка воскликнула:

— Он улыбнулся! Теперь ты можешь обменять любую свою карту на любую из его карт.

— Я не улыбался!

— Улыбался, — настаивала она. — Я видела. Возьми у него даму в обмен на валета.

Я отдал ему Ленивого валета и взял даму Простыней. На этой карте изображалась девушка, спящая на резной кровати посреди смятых простыней и одеял. У нее были длинные каштановые волосы, и она напоминала подружку Джейн, Мелинду. После этого мне выпал Грошовый король — рыжебородый парень с мешком монет, полным до краев. Я почти не сомневался в том, что девочка в черной маске придержала эту карту для меня внизу колоды. Она видела, что я заметил ее уловку, и с вызовом посмотрела на меня.

Когда у всех набралось по три карты, мы прервались и попытались построить домики так, чтобы их невозможно было сдуть. Но наши старания не увенчались успехом. Затем мне сдали королеву Цепей и карту, на которой были написаны правила игры в криббидж.¹ Я чуть не спросил, не случайно ли она попала в колоду, но вовремя прикусил язык. Черный фант никому не попался. Я до сих пор не знал, какая это карта.

— Джек выиграл! — объявила девочка, и это удивило меня: ведь я не называл своего имени. — Джек — победитель! — Она припала ко мне и крепко обняла. Потом выпрямилась и сунула выигравшие карты в нагрудный карман моей куртки. — Вот, держи, можешь взять их себе. В память о том, как весело нам было. Не волнуйся, в колоде все равно не хватает и других карт. Я не сомневалась, что ты выиграешь!

— Конечно, — сказал мальчик. — Сначала ты придумываешь такую игру, что никто, кроме тебя, ничего не понимает, а потом подыгрываешь тому, кого выберешь.

Она засмеялась залихватистым смехом, и у меня похолодел затылок. Но еще до этого смеха я догадался, с кем играю в карты.

— Это мой секрет. Если хочешь избежать проигрышей, играй только в те игры, что придумал сам, — сказала она. — Ну, давай, Джек. Спрашивай обо всем, что хочешь. Это твое право.

— Как мне попасть домой, не возвращаясь прежним путем?

— Это просто. Иди по тропе, что ближе к табличке «КУДА УГОДНО», и она приведет тебя туда, куда тебе будет угодно. На ней так и написано. Только ты должен быть уверен в том, что действительно хочешь прийти в коттедж, а иначе можешь не попасть туда.

— Понятно. Спасибо. Интересная игра. Я не совсем понял правила, но все равно было весело. — И я перелез через бревно.

Я не успел отойти далеко, когда она окликнула меня. Я оглянулся: она и мальчик сидели бок о бок, облокотившись о бревно и глядя мне вслед.

— Ты забыл, — напомнила она мне. — Ты можешь задать вопрос и ему.

— Я вас знаю? — спросил я.

— Нет, — ответил мальчик. — На самом деле ты нас не знаешь.

Рядом с машиной моих родителей стоял «ягуар». Его салон был отделан полированным вишневым деревом, а сиденья выглядели так, будто на них никогда никто не сидел. Машина словно минуту назад выехала из салона. Через вершины деревьев на двор падали косые лучи заходящего солнца. День клонился к вечеру. Я поверить не мог, что уже так поздно.

Я взошел на крыльцо, но только протянул руку к двери, как из дома мне навстречу вышла мама — по-прежнему в маске сексуальной кошечки.

— Почему ты без маски? — спросила она. — Куда ты ее дел?

— Выбросил, — ответил я.

Я не сказал ей, что повесил маску на ветку, потому что стеснялся ходить в ней. Теперь же мне вдруг захотелось снова надеть ее. Не знаю почему.

¹ Криббидж — карточная игра.

Она беспокойно оглянулась на дверь, потом присела на корточки передо мной.

— Знаю. Я следила за тобой. Надень-ка вот это. — Она протянула мне маску из прозрачного пластика — ту, что утром носил отец.

Несколько секунд я смотрел на маску и вспоминал, как испугался, увидев ее впервые, и как она смяла папино лицо в нечто холодное и чужое. Но когда я натянул ее на голову, она подошла мне как влитая. Внутренняя поверхность маски все еще хранила слабый аромат, присущий отцу запах кофе и морской свежести лосьона после бритья. Я с удовольствием вдохнул — близость отца действовала на меня успокаивающе.

Мама сказала:

— Мы скоро уезжаем. Пора домой. Только дождемся, когда закончится оценка. Иди в дом, собери свои вещи. У нас всего несколько минут.

Я прошел за ней внутрь, но остановился сразу за порогом. На диване в большой комнате сидел отец, без рубашки и босой. Его тело выглядело так, будто его подготовили к хирургической операции: пунктиром и стрелками кто-то отметил расположение печени, селезенки, кишечника. Его лицо ничего не выражало, глаза смотрели в пол.

— Папа? — позвал я.

Он поднял глаза, перевел их с мамы на меня и обратно. На лице не отразилось ни единой эмоции.

— Ш-ш, — шепнула мне мама. — Не мешай папе, он занят.

Справа от меня застучали по деревянному полу каблучки — из спальни появился оценщик. Я почему-то думал, что оценщик — мужчина, но это оказалась женщина средних лет в твидовом пиджаке. В ее курчавых волосах соломенного цвета проглядывала седина, у нее были строгие, величественные черты лица — высокие скулы и выразительные изогнутые брови английских аристократов.

— Вы нашли что-нибудь интересное для себя? — спросила у нее мать.

— У вас есть несколько весьма любопытных вещей, — ответила оценщица. Ее взгляд остановился на голых плечах моего отца.

— Я рада, — кивнула мама. — Не обращайтесь на меня внимания. — Она легонько ущипнула мою руку и скользнула мимо, шепнув мне на ухо: — Остаешься за хозяина, детка. Я сейчас вернусь.

Мама кивнула оценщице, из вежливости улыбнулась одними губами и скрылась в спальне, оставив нас втроем.

— Я с прискорбием узнала о смерти Аптона, — обратилась ко мне оценщица. — Ты скучаешь по нему?

Вопрос прозвучал столь неожиданно и прямо, что я растерялся. Возможно, дело было в ее интонации: вместо сочувствия в ней слышалось плохо скрываемое любопытство, желание посмаковать чужое горе.

— Немного. Мы редко виделись, — сказал я. — Но думаю, он прожил хорошую жизнь.

— Да, разумеется, — согласилась она.

— Я буду рад, если моя жизнь хотя бы наполовину сложится столь же счастливо, как его.

— У тебя все будет замечательно.

С этими словами она встала за спинкой дивана, положила руку на затылок моего отца и стала нежно поглаживать его.

Это был такой интимный жест, что меня замутило. Я отвел взгляд — не мог не отвести — и случайно посмотрел в зеркало на комод. Покрывала слегка сдвинулись в сторону, и в отражении я увидел, что моего отца ласкает картонная женщина — пиковая дама. Ее чернильные глаза надменно устремлены вдаль, на теле — нарисованные черной краской одежды. В ужасе я снова взглянул на диван. Теперь на лице отца блуждала мечтательная полусонная улыбка; видно было, что он с наслаждением отдается прикосновениям рук женщины. Оценщица поглядывала на меня из-под полуопущенных век.

— Это не твое лицо, — сказала она мне. — Ни у кого не может быть такого лица. Оно

сделано изо льда. Что ты прядешь?

Мой отец напрягся, улыбка на его лице поблекла. Он выпрямил спину и наклонился вперед, высвобождаясь из ее пальцев.

— Вы уже все посмотрели, — сказал он оценщице. — Вы выбрали, что вы хотите?

— Для начала я хочу все, что есть в этой комнате, — ответила она и снова очень нежно положила руку ему на плечо. Поиграла завитком отцовских волос и уточнила: — Я могу брать все, не так ли?

Из спальни вышла мать, она несла два чемодана. Мать взглянула на руку оценщицы, лежащую на шее отца, и тихонько усмехнулась (ее смех прозвучал как короткое «ха» и означал примерно то же самое), потом поволокла чемоданы к выходу.

— Вы первая, выбирайте, — сказал отец. — Мы готовы обсудить любое предложение.

— А кто не готов? — заметила оценщица.

Мама поставила передо мной один из чемоданов и кивком головы велела взять его. Я проследовал за ней на крыльцо, но в дверях оглянулся. Оценщица перегнулась через спинку дивана, отец закинул голову назад, и их губы слились. Мама протянула руку и закрыла дверь.

В сгущающихся сумерках мы пошли к машине. На газоне перед домом сидел мальчик в ночной рубашке, рядом на траве лежал его велосипед. Обломком рога мальчик снимал шкуру с мертвого кролика. Из вспоротого живота поднимался пар. Мальчик оглянулся на нас, когда мы проходили мимо него, и ухмыльнулся, обнажив розовые от крови зубы. Мать заботливо обняла меня за плечи.

Сев в машину, она сняла маску и бросила ее на заднее сиденье. Я свою маску снимать не стал. Когда я делал глубокий вдох, я все еще чувствовал запах отца.

— Что происходит? — спросил я. — Разве он с нами не едет?

— Нет, — сказала мама и завела машину. — Он останется здесь.

— А как он вернется домой без машины?

Она искоса взглянула на меня и сочувственно улыбнулась. Небо из синего превращалось в черное, облака алели, словно ожог, но внутри машины уже стояла ночь. Я развернулся на кресле, сел на колени и стал смотреть, как деревья постепенно закрывают коттедж.

— Давай поиграем, — сказала мама. — Вообрази, что ты никогда не знал папу. Он ушел, когда ты еще не родился. Мы можем придумать про него разные истории. Например, что он служил на флоте и у него с тех времен осталась татуировка «Semper Fi». ¹ И еще одна — синий якорь. Эту татуировку он... — Тут ее голос дрогнул, как будто вдохновение вдруг покинуло ее. — Папа сделал ее, когда работал на буровой вышке в море. — Она засмеялась. — Точно. А еще вообрази, что эта дорога — волшебная. Называется Шоссе забвения. Когда мы приедем домой, мы оба поверим, что выдуманные истории — правда, что он действительно ушел от нас до твоего рождения. Все остальное станет сном — таким же реальным, как воспоминание. Выдуманное всегда лучше настоящего. То есть, конечно, он любил тебя и ради тебя готов был сделать что угодно. Но помнишь ли ты хоть один его интересный поступок?

Я был вынужден признать, что не помню.

— А помнишь, чем он зарабатывал на жизнь?

Я был вынужден признать, что не помню и этого. Страховым бизнесом?

— Правда, хорошая игра? — спросила мама — Кстати, об играх. Ты еще не потерял свои карты?

— Карты? — не сразу понял я, но потом вспомнил и прикоснулся к карману куртки.

— Береги их. Отличные карты. Грошовый король. Дама Простыней. Ты получил все, мой мальчик. Послушай моего совета: как приедем домой, сразу звони твоей Мелинде. — Она опять засмеялась, а затем погладила себя по животу. — Впереди у нас хорошее время, детка. У нас обоих.

Я пожал плечами.

¹ Semper Fi (от лат. semper fidelis — всегда верен) — девиз американских морских пехотинцев.

— Теперь можешь снять маску, — напомнила она мне. — Но если она тебе понравилась, то оставь. Тебе нравится носить ее?

Я опустил солнцезащитный козырек и с обратной его стороны открыл зеркало. Возле зеркальца зажглась подсветка. Я изучал свое новое ледяное лицо, а также старое лицо под ним — уродливую человеческую заготовку.

— Да, нравится, — сказал я. — Она — это я.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не знаю, для кого я все это пишу, кто захочет читать мои записи. Но для полиции здесь точно нет ничего полезного. Мне неизвестно, что случилось с моим братом, и я не могу сказать, где он. То, что я напишу, не поможет отыскать его.

Речь здесь пойдет не о его исчезновении... но я, конечно, буду упоминать пропавшего без вести человека, и нельзя утверждать, будто две эти вещи никак не связаны. Раньше я никогда не рассказывал о том, что знаю про Эдварда Прайора, который в октябре тысяча девятьсот семьдесят седьмого года вышел из школы, но так и не добрался до мамы, что ждала его с тарелкой чили и тушеной картошки. Долгое время, год или два после его исчезновения, я не хотел вспоминать о своем друге Эдди. Я всячески избегал всего, что с ним связано. Если я проходил мимо людей, обсуждавших его в школьном коридоре («Я слышал, что он прихватил травку, взял деньги матери и свалил в чертову Калифорнию!»), то устремлял глаза на некую отдаленную точку и притворялся, будто внезапно оглох. Если же кто-нибудь напрямую спрашивал меня о том, что я думаю о его исчезновении (а такое периодически случалось, ведь мы с ним считались друзьями), то изображал на лице полнейшее равнодушие и пожимал плечами.

— А мне-то какое дело? — говорил я.

Позднее я не думал об Эдди в силу выработавшейся привычки. Если что-то вдруг случайно напоминало о нем — похожий на него мальчик или сообщение в новостях о пропавшем подростке, — я тут же начинал думать о другом, даже не осознавая этого.

Однако в последние три недели, когда пропал мой младший брат Моррис, я стал задумываться об Эде Прайоре все чаще. Как я ни старался, повернуть мысли в другое русло мне не удавалось. Потребность рассказать о том, что я знаю, была так велика, что я не выдержал. Тем не менее моя история не для полицейских. Поверьте, для них в ней ничего нет, а мне она может существенно навредить. Я не в силах подсказать, где искать Эдварда Прайора, как не способен помочь и с поисками Морриса, — ведь нельзя рассказать то, чего не знаешь. Но если бы я рассказал все следователю, он наверняка задал бы мне несколько неприятных вопросов, а кое-кто (например, мать Эдди — она жива и даже вышла замуж третий раз) испытал бы излишние волнения.

Кроме того, существует вероятность, что обращение в полицию закончилось бы для меня направлением в то самое место, где мой брат провел последние два года жизни: Уэлбрукский центр ментального здоровья. Мой брат находился там добровольно, но в Уэлбруке есть специальное отделение для тех, кого необходимо изолировать от общества. Моррис участвовал в программе трудотерапии Центра: четыре дня в неделю он махал для них шваброй, а по пятницам ходил в то самое закрытое отделение и смывал со стен дерьмо пациентов. И их кровь.

Неужели я только что написал о Моррисе в прошедшем времени? Кажется, да. Я уже не надеюсь, что зазвонит телефон, в трубке раздастся встревоженный и захлебывающийся голос Бетти Миллхаузер из Уэлбрука и она расскажет мне, что Морриса нашли где-то в приюте для бездомных и теперь везут обратно. Не надеюсь, что кто-нибудь позвонит и сообщит мне, что его тело подняли со дна реки Чарлз.¹ Я вообще больше не жду звонка — разве что кто-то захочет сказать, что по-прежнему ничего не известно. Эти слова стали бы подходящей эпитафией на могиле Морриса. Возможно, стоит признать: я записываю это не для того,

¹ Чарлз — река в штате Массачусетс, США.

чтобы кому-нибудь показать, а потому что не могу иначе. Чистая страница — единственный слушатель, кому я без опаски доверяю эту историю.

Мой младший брат не говорил до четырех лет. Многие принимали его за умственно отсталого. Кое-кто в моем родном городе Пэллоу до сих пор считает его недоразвитым или аутистом. Справедливости ради замечу в детстве я и сам склонялся к мысли, будто он ненормальный, хотя родители утверждали, что это не так.

В одиннадцать лет ему поставили диагноз: подростковая шизофрения. Затем появились и другие диагнозы: депрессия, синдром навязчивых состояний, синдром Аспергера. Не знаю, дают ли вам эти слова представление о том, кем он был и чем страдал. Даже обретя дар речи, он нечасто пользовался им. Он всегда был мал для своих лет: невысокий мальчик с хрупкими костями, тонкими руками и длинными пальцами, с бледным лицом эльфа. Он редко проявлял эмоции, его чувства прятались слишком глубоко, чтобы отразиться на лице. Казалось, он никогда не моргает. Иногда брат напоминал мне закрученный завитком панцирь улитки: розовое внутреннее пространство, изгибаясь, по спирали переходило в некую туго свернутую тайну. Если приложить такую раковину к уху, можно услышать глубины ревающего бескрайнего океана, но на самом деле это лишь игра акустики. Звук в раковине — это всего лишь приливающий шум пустоты. Врачи ставили свои диагнозы, а я, достигнув четырнадцатилетнего возраста, поставил свой.

Из-за того, что Моррис был подвержен частым и болезненным ушным инфекциям, зимой ему не разрешали выходить на улицу. По мнению нашей матери, зима начиналась тогда, когда заканчивался чемпионат США по бейсболу, а заканчивалась к началу следующего бейсбольного сезона. Все, имевшие дело с маленькими детьми, знают, как трудно удержать их на продолжительное время в четырех стенах. Моему сыну сейчас двенадцать лет, он живет с матерью в Бока-Ратон,¹ но, пока ему не исполнилось семь лет, мы жили одной семьей, и я отлично помню, каким изматывающим и бесконечно долгим казался холодный или дождливый день, когда мы все вынуждены были сидеть взаперти. Для моего младшего брата каждый день был холодным и дождливым, но, в отличие от других детей, он не скучал дома. Он придумывал себе занятия. Придя домой из школы, он спускался в подвал и прилежно трудился там до самого вечера над одним из своих масштабных, расползающихся во все стороны, технически сложных и фундаментально бесполезных строительных проектов.

Его первым увлечением стали башни и замысловатые крепости. Он строил их из бумажных стаканчиков. Я припоминаю день, когда он впервые соорудил подобную конструкцию. Дело было вечером, и мы все — родители, Моррис и я — собрались в гостиной перед телевизором для одного из наших немногочисленных семейных ритуалов: ежевечернего просмотра сериала «Чертova служба в госпитале МЭШ». Однако ко времени второго перерыва на рекламу мы уже почти забыли о выходках Алана Алда со товарищи и наблюдали за Моррисом.

Отец сидел на полу рядом с Моррисом. Думаю, сначала он помогал брату строить. В некотором роде отец и сам был аутистом: застенчивый, неуклюжий мужчина, он не снимал пижамы по выходным, а его круг общения ограничивался нашей матерью. За всю жизнь он ни разу не выказал разочарования от того, каким вырос Моррис. Я помню, как он с удовольствием рисовал вместе с моим младшим братом наполненные солнечным светом выдуманные миры. Но в тот раз он отодвинулся в сторону, позволив сыну работать самостоятельно. Отец не меньше нас с матерью хотел, чтобы у Морриса все получилось. А Моррис строил, возводил, складывал, его длинные тонкие пальцы летали туда и сюда, ставили стаканчики один на другой так быстро, что выглядело это как волшебство или действия робота на сборочном конвейере — не колеблясь, почти бездумно, ни разу не сдвинув по ошибке уже установленный стакан. Иногда он вовсе не следил за тем, что делают его руки, а смотрел в коробку со стаканчиками, прикидывая, сколько их еще осталось. Башня

¹ Бока-Ратон — населенный пункт в штате Флорида, США.

поднималась все выше и выше, а стаканчики взлетали на ее верхушку с такой скоростью, что у меня перехватывало дыхание от удивления.

Была открыта и использована вторая коробка стаканчиков. Когда Моррис закончил (а это произошло лишь потому, что отец не нашел в доме больше ни одного стаканчика), башня поднялась выше самого Морриса, и ее окружала мощная защитная стена с открытыми воротами. Прорехи между круглыми боками стаканов создавали впечатление, что в стенах башни пробиты узкие арки, а верх башни и стену украшают зубцы. Мы зачарованно смотрели на то, как Моррис невероятными темпами и с небывалой уверенностью возводит эту конструкцию, но само строение не представляло собой ничего особенного. Любой пятилетний ребенок построил бы то же самое. Примечательно было другое: Морриса остановила только нехватка строительного материала. Он бы продолжал строить и дальше, добавил бы наблюдательные башни, внешние строения, целую деревню из стаканчиков. А когда коробка опустела, Моррис оглянулся и *засмеялся*. Я ни разу не слышал подобного звука — высокий, пронзительный клекот, неумелый и даже пугающий. Он засмеялся и хлопнул в ладоши — только один раз, как магараджа, отсылающий слугу.

Башня Морриса имела еще одно явное отличие от постройки другого ребенка его возраста: любой нормальный пятилетний мальчик соорудил бы такую конструкцию с одной-единственной целью — наподдать ногой и посмотреть, как с сухим шорохом стаканчики разлетятся. Точно могу сказать, что мне хотелось сделать с его башней (а я на три года старше Морриса): промаршировать по ней, топая ногами, дабы испытать восторг от разрушения чего-то большого и тщательно возведенного.

Подобную склонность имеет всякий нормальный в эмоциональном плане ребенок. Если быть до конца честным, во мне эта склонность получила большее развитие, чем в других детях. Страсть к разрушению не исчезла с годами и в конце концов задела мою жену. Она невзлюбила это мое качество и выразила свое недовольство, подав на развод. Развод происходил с участием желчного адвоката, обладавшего мягкостью рубильной машины для древесных отходов. С ее же эффективностью он истолок меня в порошок в зале суда.

А вот Моррис мгновенно потерял интерес к завершенному проекту и захотел сока. Отец повел его на кухню, обещая попутно, что завтра принесет целый ящик бумажных стаканов, чтобы построить еще более высокую башню в подвале. Я поверить не мог, что Моррис просто взял и ушел, оставив свою башню. Такой соблазн был выше моих сил. Я спрыгнул с дивана, бочком подскочил к сооружению — и тут мать схватила меня за руку. Наши взгляды скрестились, и в ее глазах я прочитал мрачное предупреждение: «Даже не думай». Мы не сказали ни слова, я выдернул руку из ее пальцев и тоже удалился.

Мать любила меня, но редко говорила это вслух. В эмоциональном плане она словно держала меня на расстоянии вытянутой руки. Она понимала меня, как никогда не понимал отец. Однажды, балуясь на мелководье в пруду Уолденского парка, я бросил камень в мальчика помладше за то, что тот брызгал в меня водой. На его предплечье, куда попал камень, набух сочный фиолетовый синяк. После этого моя мать до конца лета не разрешала мне купаться, хотя мы продолжали ходить на Уолденский пруд каждую субботу, чтобы Моррис мог поплюхаться в свое удовольствие. Кто-то убедил моих родителей, будто это для него полезно, и мать неуклонно следила за тем, чтобы он плавал — с той же твердостью, с какой не позволяла плавать мне. Мне разрешили сидеть рядом с ней на песке, а если я отходил, то должен был все время оставаться в поле ее зрения. На пляже мне можно было читать, но играть и даже разговаривать с другими детьми — нет. По прошествии лет я не сержусь на нее за то, что она излишне сурово наказывала меня — и тогда, и в других случаях. Она яснее других видела худшие мои качества, и они беспокоили ее. Она догадывалась, какой потенциал во мне заложен, и эти догадки заставляли ее строже относиться ко мне.

То, что Моррис создал за полчаса на полу гостиной, лишь намекало на то, что он мог бы произвести при наличии большего пространства и неограниченного запаса стаканчиков. На протяжении следующего года он упорно трудился над двухуровневой эстакадой: она петляла и изгибалась по всему нашему просторному и хорошо освещенному подвалу. Если бы

эстакаду выпрямили в одну линию, ее длина достигла бы четверти мили. Затем был гигантский сфинкс, а потом — круглый иглу с низким входом, куда приходилось проползать. Внутри его хватило места нам обоим.

После этого совершенно логичным был переход к возведению сложных, пусть и несколько безликих, метрополисов из конструктора «Лего», повторявших очертания реальных небоскребов разных городов мира. Еще через год Моррис дорос до домино и начал строить изящные соборы с десятками идеально сбалансированных шпилей высотой в полтора ярда. К девяти годам он получил известность — ненадолго и только в нашем городке, но тем не менее.

Это случилось, когда одна бостонская газета напечатала о нем статью. Моррис установил в спортзале своей школы для детей с особенностями развития восемнадцать тысяч костяшек домино. Они были составлены в форме огромного грифона, сражающегося с отрядом рыцарей. Местное телевидение снимало момент, когда брат толкнул первую костяшку, последующее оглушительное падение и появление красочной картины. Домино падали так, что в грифона полетели стрелы, и он бросился на одного из одетых в кольчуги рыцарей. Три алые полосы домино прорезали фигуру рыцаря, и все увидели кровоточащие раны. Потом я целую неделю изнемогал от ядовитой черной зависти. Я уходил при появлении Морриса, не в силах вынести, что всеобщее внимание сфокусировано на нем. Но мое недовольство произвело на него столь же мало впечатления, как и собственная слава. Моррис равнодушно отнесся и к одному, и к другому. Я перестал злиться, потому что кричать на стену бессмысленно, а потом и остальной мир забыл, что на какой-то миг Моррис представлял для него интерес.

Когда я перешел в старшие классы и подружился с Эдди Прайором, Моррис начал строить крепости из картонных коробок. Коробки отец приносил ему со склада, где работал экспедитором. Почти сразу стало ясно, что строения из коробок принципиально отличаются от конструкций из домино или стаканчиков. Предыдущие проекты всегда имели начало и конец, но ни одно из картонных сооружений не было закончено. Одна идея перетекала в другую, домик превращался в замок, замок оказывался катакомбами. Моррис красил внешние стены, отделявал внутренние помещения, стелил ковры, вырезал окна и двери, которые открывались и закрывались. Потом он без предупреждения или объяснений вдруг разбирал все, что было построено, и начинал новое строительство в соответствии с очередной архитектурной задумкой.

Еще я заметил, что в отличие от работы с бумажными стаканчиками и конструктором «Лего», всегда успокаивавшей Морриса, строительство из картонных коробок приводило его в состояние неудовлетворенности и беспокойства. Картонные произведения прерывались на стадии, когда оставалось добавить лишь пару коробок. Пока Моррис не чувствовал, что сделал все правильно, над ним тягостным грузом довлела расплывающаяся, смутно проступающая идея, которую он воплощал в подвале.

Я помню, как однажды в воскресенье я вошел в дом, протопал в зимних сапогах через кухню, чтобы взять что-нибудь из холодильника, бросил мимоходом взгляд в раскрытую дверь в подвал... и застыл на месте. На нижней ступеньке боком сидел Моррис — ссутулившийся, с нездоровым лицом неестественно белого цвета. Он болезненно сморщился и прижал одну ладонь ко лбу, будто потирал место ушиба. Медленно спускаясь по лестнице, я заметил еще более тревожную вещь. В подвале было довольно прохладно, а щеки Морриса блестели от пота, и на его белой футболке темнели влажные пятна. Когда до брата оставалось три ступени, я открыл рот, чтобы окликнуть его, и в это мгновение он поднял на меня глаза. Тут же гримаса боли стала исчезать с его лица, он расслабился и опустил плечи.

— Что с тобой? — спросил я. — Ты в порядке?

— Да, — ответил Моррис без выражения. — Просто... просто потерялся.

— Потерял ощущение времени?

Он как будто задумался над моим вопросом; его глаза сузились, взгляд заострился. Моррис смотрел на свою крепость — на тот момент она представляла собой большой

квадрат, образованный двумя десятками больших коробок. Примерно половина коробок была окрашена флуоресцентной желтой краской, в стенках у них вырезаны круглые окошки, вместо стекол — пищевая пленка, приклеенная скотчем. Моррис нагрел каждое окно феном, чтобы пленка натянулась и стала гладкой. На эту часть форта пошли коробки, оставшиеся после желтой подложки, которую Моррис строил раньше. Из одной большой коробки до сих пор торчала труба из плотного картона. Остальные же сияли красными и черными боками с золотистой вязью арабских надписей. Окна в этих коробках были вырезаны в форме колокольчиков, мгновенно перенося зрителя в эпоху восточных деспотов, гаремов и Аладдина.

Моррис нахмурился и медленно покачал головой.

— Я вошел внутрь и не сумел найти выход. Все выглядело так странно.

Я глянул на крепость. Четыре входа на каждом углу, окна, прорезанные в каждой второй коробке. Каковы бы ни были особенности развития моего брата, все же я не мог вообразить себе, что он способен запутаться в собственном строении.

— Нужно подползти к ближайшему окну и понять, в какой ты части.

— Там, где я потерялся, нет ни одного окна. Я слышал чей-то голос и хотел ползти за ним, но до него было очень далеко, и я не мог понять, в какую сторону двигаться. Это не ты был, а Нолан? Голос вроде был не твой...

— Нет! — воскликнул я. — Какой голос? — Оглядываясь по сторонам, я соображал, не спрятались ли кто-нибудь. — Что он говорил?

— Я почти ничего не расслышал. Иногда он звал меня по имени. Иногда говорил, чтобы я шел дальше. А один раз сказал, что впереди будет окно. — Моррис помолчал, тихо вздохнул. — Наверное, я даже видел это окно — окно и подсолнухи в конце туннеля, но я боялся подходить ближе. Я развернулся, и у меня заболела голова. А потом я нашел выход.

Тогда я подумал, что, скорее всего, Моррис ненадолго выпал из реальности, пока ползал внутри своего форта. Это было вполне вероятно. Всего лишь год назад он упорно красил ладони красной краской, утверждая, что так он лучше чувствует звуки. Когда при нем играла музыка, он зажимал глаза, поднимал свои алые руки над головой, как антенны, и подергивался всем телом, изображая нечто вроде судорожного танца живота.

Гораздо больше меня беспокоила вторая, менее вероятная возможность — что в подвале действительно кто-то был и что прямо сейчас этот психопат прячется в одном из укромных уголков крепости Морриса. Мне стало жутковато. Я взял Морриса за руку и отвел его наверх, чтобы он рассказал матери о том, что с ним случилось.

Выслушав рассказ младшего сына, потрясенная мать приложила ладонь к его лбу.

— Боже, да ты весь мокрый! Давай я отведу тебя в твою комнату, Моррис. Сейчас выпьем аспирину, и все пройдет. Я прошу тебя прилечь ненадолго, хорошо? А потом мы еще раз все обсудим.

Я горел желанием немедленно обыскать подвал, чтобы убедиться, что там никого нет, но мать отмахнулась от меня. Она кривилась каждый раз, когда я открывал рот. Они вдвоем ушли на второй этаж, а я остался на кухне. Сидя за столом, я не сводил глаз с двери в подвал и провел в нервном напряжении и тревоге целый час. Это был единственный выход из подвала. Я приготовился заорать при малейшем звуке, если таковой раздастся с той стороны двери. Но там было тихо. Когда с работы вернулся отец, мы спустились с ним вниз и все осмотрели. Ни за бойлером, ни за топливной цистерной никто не прятался. Наш подвал был очень опрятным и просторным, укромных мест там почти не имелось. Злоумышленник мог бы затаяться лишь в крепости Морриса. Я обошел ее, пиная коробки и заглядывая в окна. Отец предложил мне залезть в крепость и осмотреть ее изнутри, но при виде гримасы на моем лице он засмеялся и не стал настаивать. Как только он начал подниматься по лестнице, я тут же помчался за ним следом. Мне не хотелось задерживаться внизу, когда он выключит свет.

Как-то раз, собираясь в школу, я закидывал книги в спортивную сумку, и вдруг из

учебника истории выпало два листа бумаги. Я поднял их, не узнавая: два листа, размноженных на ксероксе, типографский шрифт, вопросы, свободные строчки для ответов. Поняв наконец, что я держу в руках, я чуть не выругался самым грязным из известных мне ругательств. Но рядом стояла мать, и ругаться при ней было бы большой ошибкой. Это привело бы к выкрученному уху и расспросам, а до них лучше дело не доводить, иначе выяснится, что я напрочь забыл о контрольной, что нам задали в прошлую пятницу.

Всю эту неделю на уроках истории мне было не до заданий. У нас в классе появилась девочка, одевавшаяся как панк — в потертые джинсовые юбки и ярко-красные колготки в сеточку. На истории она сидела рядом со мной и от скуки разводила и сводила коленки. Когда я наклонялся вперед, мне было видно, как мелькают ее неожиданно скромные белые трусики. Если нам и напоминали о контрольной, я этого не слышал.

Мать подвезла меня до школы. Я зашагал по скользкому асфальту на задний двор. История Америки. Второй урок. Времени у меня не оставалось. Я даже не читал параграфы, по которым должен писать контрольную. Я понимал, что надо бы сесть и полистать учебник, ответить на вопросы хотя бы наугад. Но я не мог заставить себя взять в руки забытые листки. Меня полностью подавил паралич беспомощности. Я не в силах был справиться с тошнотворным ощущением безвыходности и непоправимости.

Вдоль границы между асфальтом и замерзшим истоптанным пустырем тянулся ряд толстых деревянных столбов. Когда-то они поддерживали забор, давно разобранный. На одном из столбов сидел Кэмерон Ходжес из моего класса, рядом толпилось еще несколько человек. Кэмерон был светловолосым мальчиком и носил большие круглые очки, из-под которых на мир с любопытством взирали вечно влажные голубые глаза. Он был одним из лучших учеников и входил в школьный совет, и, несмотря на эти серьезные недостатки, одноклассники его почти любили, хотя он ничего для этого специально не делал. Он никогда не хвалился тем, как много знает, и не походил на тех задавак, что тянут руку каждый раз, когда знают ответ на более-менее сложный вопрос. Но было в нем и кое-что еще — некая разумность, сочетание спокойной уверенности и почти царственного стремления к справедливости. Он выделялся из общей массы школьников как более зрелый и опытный человек.

Мне он нравился, и я даже голосовал за него на выборах в школьный совет, но общего у нас было мало. Я не мог вообразить его в качестве своего друга... то есть я имею в виду, что вряд ли кто-то вроде него заинтересовался бы кем-то вроде меня. Я был скрытен, не умел толком общаться, подозрительно относился к людям, на все реагировал враждебно. Если я слышал, как кто-то смеется, я свирепо озирался — на случай, если смеялись надо мной.

Подойдя к группе ребят поближе, я увидел, что Камерон держит в руках листки с контрольной. Его приятели сверяли по его ответам свои: «изобретение хлопкоочистительной машины, ага, я то же самое написал». Я шел мимо Кэмерона, у него за спиной. Я не думал, что делаю. Просто протянул руку и выхватил листки из его рук.

— Эй! — крикнул Кэмерон, пытаюсь забрать их обратно.

— Я только перепишу, — хриплым голосом выдавил я и развернулся, чтобы он не дотянулся до своей работы. Я покраснел, тяжело дышал, мне было стыдно за свой поступок, но я не сделал ничего, чтобы исправить ситуацию. — На истории получишь свои писульки обратно.

Кэмерон соскользнул со столба. Он подошел ко мне, держа руки ладонями кверху. Его глаза увеличенные линзами, были потрясенными и просящими.

— Нолан. Не надо. — Не знаю почему, но я удивился, когда он назвал меня по имени. В жизни бы не подумал, что он знает, как меня зовут. — Если наши ответы совпадут, мистер Сардуччи догадается, что ты списал. Нам обоим попадет. — Его голос дрожал.

— Не хнычь, — сказал я.

Прозвучало это резче, чем я хотел, — наверное, я испугался, что он заплачет. Остальные ребята восприняли мои слова как издевку и засмеялись.

— Точно, — протянул Эдди Прайор, внезапно появившийся между мной и Кэмероном.

Он приложил ладонь ко лбу Кэмерона и толкнул его. Кэмерон плюхнулся на пятую точку и вскрикнул. Очки соскочили с его носа и покатались по замерзшей луже. — Чего ты жмешься? Никто не узнает. Никуда не денется твоя контрольная.

С этими словами Эдди положил руку мне на плечо, и мы вместе зашагали прочь. Он говорил, еле разжимая губы, словно мы были заключенными и во время прогулки в тюремном дворе договаривались о побеге.

— Лернер, — сказал он, обращаясь ко мне по фамилии. Он всех звал только по фамилии. — Перепишешь — дашь мне. Ввиду непредвиденных обстоятельств вне сферы моего влияния, а именно из-за того, что приятель моей матери — крикливая сука, вчера мне пришлось свалить из дома, и я до самой ночи играл в снежки с кузеном. Результат я успел сделать только два первых вопроса из этой чертовой контрольной.

Хотя Эдди Прайор еле-еле успевал по всем предметам, кроме трудового воспитания, и за плохое поведение почти каждую неделю оставался после уроков, он обладал не меньшей харизмой, чем Кэмерон Ходжес. Ничто не нарушало его благодушного настроения, и эта черта оказывала сильное впечатление на окружающих. Более того, его неумная веселость и стремление во всем видеть смешное были так заразительны, что никто не мог на него долго сердиться. Если учитель выставлял Эдди из класса за ту или иную выходку, тот спокойно пожимал плечами — словно говорил: «Кто может разобраться в этом сумасшедшем мире?» — неторопливо собирал вещи и вразвалочку покидал кабинет, ухмыльнувшись напоследок классу, что неизменно вызывало цепную реакцию смешков. А на следующий день тот же самый учитель, выдворивший Эдди из класса, перекидывался с ним мячом на перемене и обсуждал последний бейсбольный матч.

Мне кажется, что популярных ребят от непопулярных отличает одно, и это качество было общим у Эдди Прайора и Кэмерона Ходжеса: уверенность в себе. Эдди знал, кто он такой. И он принимал себя таким. Собственные неудачи и недостатки не волновали его. Каждое слово Эдди было бездумным и чистым выражением его истинной личности. А я не имел четкого представления о себе и все время оглядывался на окружающих. Я пристально следил за ними, одновременно надеясь и страшаясь, что в их глазах и лицах я увижу того, кого видели они, когда смотрели на меня.

И поэтому в следующий миг, когда мы с Эдди в обнимку отошли от Кэмерона, я испытал внезапный и невероятный психологический сдвиг. В поисках выхода из ловушки, куда я загнал себя сам, я вырвал из рук Кэмерона его контрольную и пришел в ужас от того, на что готов пойти ради собственного спасения. Я по-прежнему пребывал в отчаянии и ужасе — но вместе с тем я испытывал восторг. Меня распирало от счастья, потому что рука Эда Прайора лежала на моем плече, словно мы были старыми друзьями, выходящими из таверны «Белое дуло» в два часа ночи. С радостным удивлением я слушал, как Эд называет приятеля своей матери крикливой сукой. Мне это показалось остроумнейшей шуткой, достойной Стива Мартина.¹ И в результате я сделал то, что пять минут казалось абсолютно невозможным. Я отдал Эду листки Кэмерона.

— Говоришь, два первых вопроса ты уже сделал? Тогда держи. Ты быстрее спишешь то, что осталось. А я возьму после тебя, — сказал я.

Он ухмыльнулся, и на его по-детски пухлых щеках заиграли ямочки.

— А ты-то как попал в этот переплет, Лернер?

— Да просто забыл. На истории я вообще ничего не слышу. Ты знаешь Гвен Фрэзьер?

— Угу. Дура уродливая. И что?

— Эта уродливая дура не носит трусов, вот что, — сказал я. — Она сидит рядом со мной и постоянно разводит колени. И пол-урока на меня пялится ее волосатая дырка. Какие тут, к черту, контрольные!

Он захохотал, да так громко, что на нас оглянулся весь двор.

— Наверное, Фрэзьер проветривает ее, чтобы подсушить болячки от герпеса. Ты смотри, поаккуратней с ней, приятель.

¹ Стив Мартин — американский комедийный актер.

Он снова залился смехом и смеялся до тех пор, пока слезы не потекли у него из глаз. Я тоже смеялся, хотя со мной это случается редко, и каждый мой нерв восторженно трепетал. Он назвал меня приятелем.

Насколько я помню, контрольную Кэмерона он так и не вернул, и мне пришлось сдать свои листки без единого ответа. Честно говоря, этот момент почти стерся из моей памяти. Однако с того дня я стал ходить с Эдди. Он любил рассказывать о своем старшем брате Уэйне — тот провел в детской колонии четыре недели из трехмесячного срока за поджог чьей-то машины, потом сбежал и теперь бродяжничал. Эдди говорил, что иногда Уэйн звонит ему, чтобы похвастать о шлюхах, с которыми переспал, и о головах, которые разбил. Я толком не понял, на какие средства живет его старший брат. Один раз Эдди обмолвился, что Уэйн нанимается разнорабочим на фермы в Иллинойсе. В другой раз — что он ворует машины для детройтских негров.

Днем мы часто встречались у пятнадцатилетней Минди Акерс. Она присматривала за младенцем в квартире на цокольном этаже напротив жилища Эдди. В той квартире пахло плесенью и мочой, но мы просиживали там часами, курили сигареты, играли в шашки, а голый младенец ползал у нас под ногами. А иногда мы с Эдди ходили по дорожке через лес за парком Кристобел на бетонный пешеходный мостик, висящий над шоссе 111. Эдди всегда брал в таких случаях бумажный пакет с мусором, чаще всего — из квартиры, где работала Минди: полные детского дерьма памперсы, промокшие упаковки, оставшиеся от еды из китайского ресторана. Этот мусор он как бомбы сбрасывал на проходящие под мостиком грузовики. Однажды он попал памперсом в огромную фуру с оленьими рогами на капоте, разрисованную по кузову красными языками пламени. Памперс ударился о лобовое стекло и лопнул, взорвавшись брызгами ядовито-желтого поноса. Завизжали тормоза, из-под шин повалил черный дым. Водитель гневно нажал на сигнал, и от звука мощной сирены мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Мы схватились за руки и побежали прочь, смеясь.

— Поднажми, жирная задница! Может, он гонится за нами! — кричал Эдди.

Я бежал, но только потому, что наслаждался бегом. Вряд ли водитель бросил бы грузовик и помчался за нами. Тем не менее было приятно притвориться, будто мы убегаем от погони.

Потом, в парке, мы немного успокоились и перешли на шаг, но все еще не могли отдышаться. Эдди сказал:

— Дальнобойщики — самая вонючая разновидность живых существ на всей Земле. После рейса они воняют, как ведро с мочой.

Я не очень удивился, когда через некоторое время узнал, что приятель матери Эдди — та самая крикливая сука — водил фуру

Иногда Эд заходил ко мне, в основном — чтобы посмотреть телевизор. У нас хорошо принималось большинство программ. Эда очень интересовал мой брат. Он расспрашивал меня о его состоянии и просил показать, над чем работает Моррис в подвале. Эдди даже вспомнил, что видел по телевизору, как Моррис запустил цепную реакцию домино на своей картине с грифоном и рыцарями, хотя было это более двух лет назад. Вслух Эд не говорил этого, но его, кажется, восхищал тот факт, что он лично знаком со слабоумным гением. Наверное, он с таким же энтузиазмом отнесся бы к брату, если бы Моррис был безруким или карликом. Эду хотелось встретить чудо. И вы знаете, как бывает: иногда люди получают больше, чем им по зубам.

В один из визитов Эдди пошел взглянуть на последнюю версию крепости Морриса. Моррис тогда соорудил из полусотни коробок сеть туннелей — чудовищного осьминога с восемью длинными коридорами, тянущимися к огромной центральной коробке из-под проекционного экрана. Было вполне логично раскрасить коробки так, чтобы они и цветом напоминали осьминога — эдакого злобного кракена из скандинавского мифа. Несколько толстых, похожих на хоботы «рук» действительно были зелеными с красными дисками, изображающими присоски. Но остальные щупальца Моррис строил из остатков от

предыдущих проектов: одно — из коробок из-под желтой подложки, на другом виднелись части космического корабля — подкрылки, иллюминаторы и множество американских флагов. А большая коробка в центре была не покрашена, а обтянута мягкой проволоочной сеткой, причем наверху Моррис свернул проволоку в два кривобоких рога. Сама крепость производила впечатление самодельной игровой площадки — пусть яркого и необычного, но все-таки простого сооружения. Ребенок может построить такое сам или с помощью отца. И лишь эта деталь — необъяснимые рога из сетки — неоспоримо свидетельствовали о том, что перед вами творение человека, чьи шарик очень далеко заехали за ролики.

— Отпад, — сказал Эдди, стоя на лестнице и оглядывая крепость сверху.

Но я видел по его глазам, что на самом деле он не впечатлен. Он надеялся на нечто большее.

Я не мог допустить его разочарования. Если он хотел доказательств, что мой брат — гений, я добуду их для него. И я опустился перед одним из входов на четвереньки.

— Эту крепость надо видеть изнутри, самая крутизна — там.

Не оборачиваясь, чтобы проверить, следует ли он за мной, я пополз внутрь.

Я был в то время здоровым и широкоплечим четырнадцатилетним парнем и весил фунтов сто двадцать. Но все-таки я оставался ребенком с детскими пропорциями и детской гибкостью, что позволяло мне протиснуться сквозь самый узкий туннель Морриса. Однако делал я это нечасто. Почти с первых дней строительного увлечения Морриса я обнаружил, что мне не нравится находиться внутри его сооружений: я испытывал что-то вроде клаустрофобии. Теперь же, с Эдом за спиной, я бодро полез в картонную крепость Морриса, как будто не знал лучшей забавы.

Я преодолевал один извивающийся туннель за другим. В одной из коробок стояла картонная полка, а на ней — банка из-под варенья; внутри жужжали и бились о стекло мухи. Акустика тесного пространства усиливала и искажала звук, и мне показалось, что он исходит из моей головы. Я ненадолго задержался возле банки, озадаченный тем, зачем Моррису эти мухи — или он ждал, когда они перемрут? Потом я двинулся дальше, в широкий проход, где на стены были наклеены светящиеся в темноте звезды, луны и чеширские коты — вокруг меня кружилась целая неоновая галактика. Сами стены Моррис закрасил черным, и сначала я их вообще не увидел. На умопомрачительно краткий миг я подумал, что стен нет и я ползу в космическом пространстве по какой-то узкой невидимой дорожке, а надо мной и подо мной — пустая бездна. И если я сверну с этой дорожки, то ничто не остановит мое падение. В ушах по-прежнему жужжали мухи, упрятанные в банку, хотя мне казалось, что я их оставил далеко позади. У меня закружилась голова, я вытянул руку и кончиками пальцев уперся в картон. Ощущение затерянности в пустом пространстве исчезло, осталась лишь легкая дурнота. Следующая коробка была самой узкой и темной из всех, и, протискиваясь через нее, я задел спиной ряд маленьких медных колокольчиков, подвешенных к потолку. Их нежный металлический перезвон так напугал меня, что я чуть не завопил.

Однако впереди я увидел круглое отверстие, выходящее в залитое светом помещение. Я пополз туда.

Коробка в центре картонного кракена казалась достаточно просторной для того, чтобы вместить внутри семью из пяти человек и собаку в придачу. Ее освещала пузырьковая лампа на батарейках — установленная в углу, она испускала красные шары плазмы, что плавали в цилиндре с густой янтарной жидкостью. Стенки огромной коробки Моррис оклеил серебристой фольгой. Искры и сполохи света разбегались по фольге дрожащими волнами, сталкивались и исчезали полосы золотого, малинового, лимонного цветов. Мне представилось, что по ходу моего путешествия через туннели к центру крепости я постепенно уменьшался, пока не стал размером с полевку, и в конце концов прибыл в маленькую клетку, подвешенную внутри зеркального шара — такие шары в те годы являлись обязательным атрибутом дискотек. Я весь обмяк от предвкушения чудесного действа. В висках стучало; странный зыбкий свет резал глаза.

Явившись домой вместе с Эдом, я не видел Морриса и решил, что он ушел вместе с

мамой. Но тут я обнаружил его сидящим на коленях в центральной коробке, спиной ко мне. В руках у него был журнал комиксов и ножницы. Он отрезал обложку и вставил ее в белую картонную рамку, а потом стал приклеивать к стенке с помощью скотча. Он услышал, как я вполз, и оглянулся на меня, но не поздоровался, а вернулся к своему занятию.

За моей спиной раздался шорох, и я подвинулся вбок, освобождая проход. Через мгновение в круглом отверстии появилась голова Эдди. Он обвел глазами красочный зал из фольги. Его лицо покраснелось, он ухмылялся, играя ямочками на щеках.

— Очуметь! — произнес Эдди. — Гляньте-ка на это. Хотел бы я трахнуть здесь какую-нибудь цыпочку.

Он полностью вылез из туннеля и сел на колени.

— Клевый форт, — сказал он в спину Моррису. — В твоём возрасте я бы убил за такой.

Он совершенно проигнорировал тот факт, что Моррису в его одиннадцать лет давно пора перестать играть в картонные крепости.

Моррис не отвечал. Эдди искоса взглянул на меня, и я пожал плечами. Тогда Эдди снова стал разглядывать детали обустройства коробки — с открытым ртом и выражением полнейшего счастья, а вокруг нас продолжал беззвучно бушевать шторм ярких цветов и серебристых вспышек.

— И ползти сюда потрясно, — поделился Эдди. — Как тебе понравился туннель, обклеенный изнутри черным мехом? Я думал, что, когда доползу до конца, выпаду из задницы гориллы.

Я засмеялся, но посмотрел на него недоуменно. Я не помнил мехового туннеля, а Эдди полз прямо за мной, по тому же самому пути.

— И еще «музыка ветра», — добавил Эдди.

— Это колокольчики, — поправил я.

— Разве?

Моррис закончил вешать картину и, не сказав нам ни слова, полез в треугольный выход. Перед тем как скрыться в темном проеме, он обернулся и произнес, обращаясь ко мне:

— Не ходи за мной. Возвращайся тем же путем, каким пришел сюда. — Потом пояснил: — Этот ход я еще не закончил, надо над ним поработать. Он пока не работает так, как нужно.

И Моррис нырнул в темноту.

Я посмотрел на Эдди, собираясь извиниться. Я уже выстраивал в голове фразу «Прости, ты же знаешь, у него не все дома». Но Эдди прополз мимо меня к дальней стене и стал рассматривать картину, только что повешенную Моррисом. На ней изображалась семья морских обезьян — сплоченная группа голых толстопузых существ с антеннами на голове и человеческими лицами.

— Смотри-ка, — сказал Эдди, — он повесил портрет своей настоящей семьи.

Я опять засмеялся. Пусть в этике межличностных отношений Эдди разбирался не очень, зато он всегда умел рассмешить меня.

Я собирался к Эдди — это была пятница, первая половина февраля, — когда он сам позвонил и попросил подождать его на пешеходном мосту над трассой 111. Что-то в его голосе, в резких интонациях привлекло мое внимание. В словах не было ничего необычного, но мне показалось, будто голос его пару раз сорвался. Словно Эдди пытался проглотить непрошенные слезы.

От моего дома до мостика было минут двадцать ходьбы — по авеню Кристобел, через парк, а потом по дорожке через лес. Эта дорожка, посыпанная дробленым голубоватым гравием, шла по холмистой местности мимо голых берез и кленов. Примерно через полмили она выныривала на мостик, а потом опять скрывалась в лесу на другой стороне. На мосту, перегнувшись через перила, стоял Эдди и смотрел на машины, мчащиеся на восток.

Он не поднял головы, когда я подошел. Перед ним на перилах были разложены колотые кирпичи, и как раз при моем приближении он швырнул один осколок вниз. Меня мгновенно пронзила игла испуга, но кирпич упал на заднюю часть длинного грузовика с прицепом и не

причинил никакого вреда. Прицеп был нагружен стальными трубами. Кирпич звонко ударился об одну из верхних труб и поскакал вниз по штабелю с мелодичным стуком — как молоток, брошенный на медные трубы гигантского органа. Эдди растянул губы в широкой, заразной, невероятно симпатичной ухмылке, показывая щелку между зубами. Он повернулся ко мне, чтобы посмотреть, оценил ли я неожиданную музыкальность его бомбардировки. И тогда я увидел его левый глаз. Его кольцом окружал синяк — багрово-фиолетовый, с разводами блеклой желтизны.

Я заговорил и едва узнал собственный голос, глухой и слабый:

— Что случилось?

— Вот, — сказал он и достал из кармана куртки полароидный снимок. Он все еще ухмылялся, но избегал моего взгляда. — Настоящий пир для глаз. — Он будто не слышал моего вопроса

На фотографии были сняты два пальца с накрашенными серебряным лаком ногтями — женские. Пальцы прижимались к зажатому между ног треугольнику ткани в красную и черную полосу. Остальное пространство занимали бедра — размытая бледная плоть.

— Я выиграл у Акерс десять раз подряд, — сказал Эдди. — А мы договаривались: если она продует десятую партию, то сфотографирует, как забавляется со своим клитором. Акерс ушла в ванную, чтобы я не видел, как она это делает. Теперь она хочет отыграть снимок. Если я опять выиграю, то заставлю ее сунуть туда палец прямо передо мной.

Я повернулся, и теперь мы стояли бок о бок, облокачиваясь на перила, лицом к несущемуся на нас потоку машин. Не зная, что сказать, не будучи уверенным, как реагировать, не испытывая вообще никаких чувств относительно снимка, я смотрел на него еще секунду. Минди Акерс была невзрачной девчонкой с вьющимися рыжими волосами, вечной угревой сыпью и страстной влюбленностью в Эдди. Если она и проиграет следующие десять партий в шашки, то сделает это специально.

В тот момент, однако, меня не очень интересовало, что она сделала или не сделала, дабы завоевать расположение Эдди. Куда более животрепещущей темой был сочный синяк на левом глазу Эдди, но как раз ее он и не хотел обсуждать.

— Чертовски круто, — сказал я наконец и положил снимок на бетонный столбик перил. И бездумно дотронулся до одного из кирпичей, разложенных Эдди.

Под нами прогрохотал трактор. Водитель выжал сцепление, понижая передачу, и мотор зарычал еще громче. Между крупными пушистыми снежинками взвился черный дым, пахнувший дизельным топливом. Я и не заметил, что пошел снег.

— Так чего у тебя с глазом? — попробовал я еще раз, удивляясь собственной смелости.

Эдди провел под носом тыльной стороной ладони. Ухмыляться он так и не перестал.

— Да этот мешок с дерьмом, с которым встречается мать, застукал меня, когда я заглядывал к нему в бумажник. Как будто я собирался украсть у него талоны на питание или еще что. Сегодня он рано ляжет, завтра ему до рассвета выезжать в Кентукки, так что держись подальше от дома, пока... Эй, смотри — вон бензовоз.

Я посмотрел и увидел мощный тягач, надвигающийся на нас. За собой он тащил длинную стальную цистерну.

— У нас есть всего один шанс подорвать его, — сказал Эдди. — Четыре унции C-4.¹ Если попадем, сметем всю трассу.

Прямо перед ним лежал кусок кирпича Я ожидал, что Эдди возьмет его и швырнет в цистерну, когда та будет проходить под нами. Но вместо этого он положил свою руку поверх моей, которую я почему-то до сих пор не снял с камня. Во мне забился слабый пульс тревоги, но я ничего не сделал, чтобы убрать его руку. По-видимому, этот факт следует подчеркнуть особо. Я позволил случиться тому, что затем случилось.

— Подожди, — скомандовал Эдди. — Готовься. Не промахнись. Давай!

Как раз когда цистерна стала уходить под мост, он толкнул мою руку с кирпичом. Кирпич сильно ударился о бок цистерны со звенящим звуком: ке-ранг! А потом отскочил и

¹ C-4 — взрывчатое вещество, часто применялось американскими солдатами во Вьетнаме.

полетел в сторону от бензовоза, через соседнюю полосу, где в этот момент шла красная «вольво». Под острым осколком хрустнуло лобовое стекло — я успел увидеть паутину трещин, простреливших его во все стороны, — а потом машина исчезла под мостом.

Мы оба развернулись и бросились к противоположным перилам. Мои легкие отказались работать, и я несколько секунд не мог ни вдохнуть, ни выдохнуть. Когда «вольво» показалась из-под моста, ее уже вело на обочину. Мигом позже машина выскочила с трассы и на скорости тридцать миль в час скатилась с заснеженной насыпи. Внизу, засыпанные снегом, росли молодые гибкие клены. С сухим треском «вольво» врезалась в один из них. Лобовое стекло выскочило из рамы единым пенящимся куском, скользнуло по капоту и упало в снег.

Я все еще не дышал, когда пассажирская дверь распахнулась и из машины выскочила крупная блондинка в красном пальто, перетянутае поясом. Руку в варежке она прижимала к глазу. С криком она бросилась открывать заднюю дверь.

— Эми! — визжала она. — О боже мой, Эми!

Потом я ощутил на своем локте жесткую хватку пальцев. Эдди развернул меня, толкнул с моста на дорожку, крикнул диким голосом:

— Сматываемся к чертовой матери!

Когда мы сошли с моста, он толкнул меня еще раз — с такой силой, что я упал коленом на голубой гравий (коленная чашечка взорвалась острой болью). Но Эдди уже тащил меня вверх и вперед. Я не думал. Я бежал. В висках стучала кровь, лицо обжигал холодный воздух. Я бежал.

Я не думал до тех пор, пока мы не выскочили в парк и не перешли на шаг. Не сговариваясь, мы двигались к моему дому. После стремительной пробежки на морозном воздухе у меня никак не проходила резь в легких.

Она пошла к задней двери, с криком: «О боже мой, Эми!» Значит, на заднем сиденье кто-то был. Скорее всего, маленькая девочка. Высокая, полная блондинка зажимала варежкой один глаз. В нее попал осколок стекла? Из-за нас она ослепнет? А еще: блондинка вылезла из пассажирской двери. Почему не вышел водитель? Был ли он без сознания? Или он *погиб*? У меня дрожали колени. Я вспомнил, как Эдди толкнул мою руку с кирпичом, вспомнил, как кирпич выскользнул из моей ладони, завертелся в воздухе, как потом он отскочил от цистерны и влетел прямо в лобовое стекло «вольво». Сделанного не воротишь, вдруг понял я, и эта мысль потрясла меня как откровение. Я посмотрел на свою руку, бросившую кирпич, и увидел, что в ней зажат снимок: Минди Акерс, теребящая треугольник ткани между ног. Я не помнил, когда успел взять его. Молча я показал его Эдди. Он взглянул рассеянно и сказал:

— Оставь себе.

Это были первые слова, прозвучавшие после того, как он крикнул: «Сматываемся к чертовой матери!»

У самого дома мы встретили мою мать. Она стояла возле почтового ящика и о чем-то разговаривала с соседкой. Когда я проходил мимо, она прикоснулась пальцами к моему затылку — привычный, интимный, мимолетный жест, от которого внутри меня все содрогнулось.

Я молчал, пока мы не вошли в дом и не стали снимать в прихожей обувь и куртки. Отец был на работе. Где Моррис, я не знал и не хотел знать. Дом стоял тихий и темный, в нем ощущался покой пустоты.

Расстегивая свою вельветовую куртку, я сказал:

— Нужно позвонить. — Голос, казалось, исходил не из моего горла или груди, а откуда-то еще — из угла прихожей, из-под горы шапок, сложенных там.

— Куда?

— В полицию. Узнать, что с теми людьми.

Он замер, стянув джинсовую куртку с одного плеча, и уставился на меня. В полумраке прихожей его синяк походил на неудачную попытку нарисовать ресницы тушью.

Почему-то я не мог остановиться и продолжал говорить:

— Мы скажем, что стояли на мосту и видели аварию. Не обязательно говорить, что она случилась из-за нас.

— Она случилась *не* из-за нас.

— Ну, — начал я и замолчал, не зная, что говорить дальше. Его утверждение было абсолютно лживым, и я не мог придумать такого возражения, чтобы оно не прозвучало как провокация.

— Просто кирпич закрутило не в ту сторону, — сказал он. — Разве это наша вина?

— Мне хочется знать, что с ними все в порядке, — сказал я. — На заднем сиденье был маленький ребенок...

— Ни черта там не было.

— Ну... — И опять я смолк, но заставил себя продолжить: — Нет, был, Эдди. Девочка. Мать звала ее.

Он опять на мгновение замер и внимательно посмотрел на меня. На лице его появилось выражение жесткой расчетливости, а затем он с притворным безразличием пожал плечами и продолжил стягивать сапоги.

— Если ты позвонишь в полицию, я покончу с собой, — сказал он. — И на твоей совести будет еще и это.

У меня перехватило дыхание, грудь сдавило невидимым неподъемным грузом. Я попытался ответить, и вместо голоса из горла вырвался чужой сиплый шепот:

— Брось.

— Я серьезно, — сказал Эдди. Он помолчал перед тем, как задать вопрос: — Помнишь, я говорил тебе, что мой брат звонил мне и рассказывал о том, как много он зарабатывает, воруя машины в Детройте?

Я кивнул.

— Это вранье. А помнишь, я говорил о другом его звонке, из Миннесоты, где он трахал рыжих сестер-близняшек?

Я вспомнил и опять кивнул.

— И это тоже я выдумал. Я все выдумал. Он вообще не звонит. — Эдди протяжно вздохнул, и едва заметная прерывистость вдоха подсказала мне, что он борется со слезами. — Не знаю, где он, что он делает. А звонил он мне только однажды, когда еще сидел в колонии. За два дня до побега. Он был каким-то странным. Старался не плакать. Он просил, чтобы я никогда не делал ничего такого, из-за чего меня могут отправить в колонию или тюрьму. И взял с меня обещание. Потому что, сказал он, там и тебя сделают педиком. Там полно этих бостонских ниггеров, они ведут себя как извращенцы, они заставят и тебя. А потом он пропал, и никто не знает, что с ним случилось. Но мне кажется, если бы с ним все было в порядке, он бы уже позвонил. Мы с ним дружили. Он не стал бы держать меня в неизвестности. И я знаю своего брата — он ни за что не стал бы гомиком. — Теперь Эдди в открытую лил слезы. Замолчав, он утер щеки рукавом и направил на меня яростный горящий взгляд: — И я не собираюсь загнать в колонию из-за какой-то аварии, в которой никто не виноват. Никто не сделает меня голубым. Со мной уже был такой случай. Этот грязный вонючий дерьмод из Теннесси, дружок моей матери... — Он умолк, отвел глаза, попытался успокоиться.

Я ничего не ответил. При виде плачущего Эдди Прайора все мои аргументы и намерения исчезли сами собой.

Тихим дрожащим голосом Эдди продолжил:

— Мы не можем ничего изменить. Это случилось. Дурацкое совпадение. Неудачно отскочил камень. Никто не виноват. Если кто-то пострадал, что ж, нам остается жить с этим дальше. Просто не надо рыпаться. Никто никогда не узнает, что мы имеем к этому какое-то отношение. Кирпичи я наковырял из опор моста. Раствор крошится, и они выпадают. Тот осколок мог просто упасть сверху сам по себе. Ну а если ты непременно хочешь куда-то звонить, сначала предупреди меня, потому что я никогда не позволю им сделать со мной то,

что они сделали с братом.

Я собрался с силами только через несколько секунд. Мне все еще не хватало воздуха, чтобы нормально говорить.

— Забудь, — выдавил я наконец. — Давай лучше посмотрим телик. Надо отвлечься.

Мы сняли верхнюю одежду и пошли на кухню, и я чуть не столкнулся с Моррисом, стоявшим у раскрытой двери в подвал с рулоном упаковочного скотча в руках. Голову он склонил набок, отчего создавалось впечатление, что он прислушивается к музыке небесных сфер. Его глаза светились обычным для него пустым любопытством.

Эдди оттолкнул меня локтем в сторону, схватил Морриса за черную футболку и прижал к стене. И без того большие глаза Морриса распахнулись еще шире. С бессловесным недоумением он смотрел на возбужденное лицо Эдди. Я перехватил Эдди за руку, попытался оторвать его пальцы от брата, но не сумел их разжать.

— Ты что, подслушивал, идиот недоразвитый? — прошипел Эдди.

— Эдди, Эдди, даже если он что-то слышал, это ничего не значит. Не обращай на него внимания. Он не расскажет. Отпусти его, — сказал я.

И он отпустил Морриса. Раскрыв рот, Моррис смотрел на Эдди, потом взглянул на меня: мол, в чем дело? Потом повел плечами, тут же, по-видимому, забыв обо всем.

— Я разобрал осьминога, — сказал Моррис. — Щупальца, идущие к центру, мне нравились. Они похожи на спицы колеса. Но с какой бы стороны ты ни заходил внутрь, ты всегда знаешь, куда придешь. А лучше, когда не знаешь. Сделать это труднее, зато лучше. Теперь я придумал кое-что новое. Я начну от центра и буду двигаться к краям, как пауки.

— Отпад, — сказал я. — Давай.

— Для этого проекта надо еще больше коробок. Подожди, вот увидишь.

— Мы скоро спустимся к тебе, да, Эдди?

— Угу, — кивнул Эд.

— Я в подвале, если кто-нибудь будет спрашивать, — сказал Моррис, скользнул в узкую щель между Эдди и мной и затопал по ступенькам вниз.

Мы прошли в гостиную, я включил телевизор, но не мог сосредоточиться на передаче. Я как будто разделился. Одна моя половина стояла в конце длинного коридора, и на другом его конце я видел Эдди и себя самого на диване, только там был не я, а восковая фигура, сделанная по моему образу и подобию.

Эдди сказал:

— Извини, что сорвался и накричал на твоего брата. Я хотел, чтобы Эдди ушел. Хотел остаться один, свернуться калачиком на кровати в темной тишине своей комнаты. Я не знал, как попросить его уйти.

Вместо этого я вдруг проговорил онемевшими губами:

— А если Моррис все-таки скажет, хотя он не скажет, я знаю, то есть если он и слышал нас, он все равно не понял, о чем мы говорили, и если он все-таки расскажет, ты ведь... ты не...

— Убью себя? — закончил за меня Эдди. Он решительно и громко кашлянул. — Фига с два. Я убью его. Но ведь он не скажет, верно?

— Не скажет, — сказал я. У меня заболел живот.

— И ты тоже не скажешь, — через несколько минут сказал Эд.

День клонился к вечеру, вокруг нас собиралась мгла.

— Не скажу, — сказал я.

Он поднялся и похлопал меня по ноге, выходя из комнаты:

— Мне пора. Сегодня я ужинаю у своего двоюродного брата. До завтра.

Я дождался, пока хлопнет дверь, ведущая в прихожую. Потом встал, испытывая головокружение и слабость. Еле передвигая ноги, я пересек гостиную и вышел в коридор, намереваясь подняться к себе. И чуть не споткнулся о Морриса. Он сидел посередине лестницы, положив руки на колени, на лице — непроницаемая пустота. Он был одет во все темное, и в наступающих сумерках выделялось бледное пятно его лица. У меня сжалось

сердце, когда я увидел его. От неожиданности я остановился и так и стоял, возвышаясь над ним. Он смотрел на меня снизу вверх, и лицо его выражало, как всегда, чуждый и невозмутимый покой.

Значит, он слышал и все остальное, включая угрозу Эдди убить его, если он проговорится. Хотя я сомневался в том, что Моррис понял, о чем шла речь.

Я обошел его и закрылся в своей комнате. Там я, не раздеваясь, как намеревался, забрался на кровать. Комната тут же поплыла и закачалась. Скоро меня затошнило от морской болезни, и пришлось спрятаться под одеяло с головой, чтобы отсечь это бессмысленное, дезориентирующее движение внешнего мира.

На следующее утро я первым делом схватился за газеты, ожидая найти там информацию об аварии: «В результате нападения с виадука маленькая девочка находится в коме». Но ничего подобного в новостях не было.

После обеда я позвонил в больницу и сказал, что ищу пострадавших после аварии на трассе 111 — той, где машина съехала с дороги и разбилось лобовое стекло. Мой голос дрожал и прерывался, и женщина на другом конце провода стала расспрашивать — зачем мне это надо, кто я такой? И я повесил трубку.

Через несколько дней я сидел в своей комнате, ощупывая карманы вельветовой куртки в поисках начатой упаковки жвачки, и неожиданно мои пальцы нащупали плоский квадратик гладкого скользкого материала вроде тонкого пластика. Я вытащил его на свет и уставился на фотографию Минди Акерс, трогающей себя за промежность. У меня внутри все сжалось. Я открыл верхний ящик тумбочки, сунул туда фотографию и с грохотом захлопнул ящик. От одного вида этого снимка мне стало трудно дышать. Я сразу вспомнил, как «вольво» врезалась в дерево, как выпрыгнула из нее женщина, зажимая варежкой глаз, с криком: «Боже мой, Эми!» К тому времени мои воспоминания о происшествии потускнели. Иногда мне казалось, что по лицу блондинки текла кровь. А иногда я представлял себе, что окровавлено было треснувшее лобовое стекло, лежавшее на снегу. Еще мне казалось порой, будто я слышал тоненькое повизгивание ребенка, кричащего от боли. Этот образ, хоть и слуховой, был особенно навязчивым. Кто-то кричал, я не сомневался в этом; кто-то еще, кроме женщины. Может быть, я сам.

С того дня я не хотел иметь ничего общего с Эдди, но не мог от него отвязаться. На уроках он садился рядом со мной и писал мне записки. Мне приходилось отвечать на них, чтобы он не подумал, будто я избегаю его. После школы он приходил ко мне домой без предупреждения, и мы вместе сидели перед телевизором. Он приносил с собой шашки и расставлял их на доске, пока мы смотрели комические шоу. Теперь я понимаю — или догадывался уже тогда, — что он сознательно держался рядом, следил за мной. Он знал, что нельзя упускать меня, что, если мы не будем напарниками, я буду поступать так, как захочу, и могу признаться. Еще он знал, что я слишком слаб и не сумею сам положить конец нашей дружбе — ведь мне не хватало силы воли не открыть ему, когда он звонил в дверь. Он понимал, что для меня проще мириться с неприятной ситуацией, чем пытаться что-то изменить, рискуя вызвать открытую конфронтацию.

Примерно три недели спустя после происшествия на трассе 111 я обнаружил в своей комнате Морриса. Он стоял у моей тумбочки, у открытого верхнего ящика. В одной руке он держал пачку лезвий для канцелярской бритвы. В этом ящике я хранил самое разное барахло: бечевку, скрепки, изоленту. Иногда, когда Моррису что-то требовалось для его бесконечного строительства, он совершал налет на мои запасы. В другой его руке был зажат снимок промежности Минди Акерс. Моррис поднес его к самому носу и рассматривал круглыми, непонимающими глазами.

— Не смей копаться в моих вещах! — крикнул я.

— Правда, жалко, что не видно лица? — спросил он. Я выхватил у него фотографию и бросил обратно в ящик.

— Еще раз залезешь ко мне — убью.

— Ты сказал, как Эдди, — заметил Моррис и, повернув голову, уставился на меня. В последнее время я нечасто его видел. Он проводил в подвале больше времени, чем обычно. Его бледное лицо с тонкими чертами похудело, и в этот момент я осознал, насколько хрупок и слаб мой младший брат, как по-детски он выглядит. Ему было почти двенадцать, но никто не давал ему больше восьми лет. — Вы с ним еще дружите?

Издерганный трехнедельным беспокойством, я бездумно ответил:

— Не знаю.

— Почему ты не скажешь ему, чтобы он больше не приходил? Почему не прогонишь его? — Моррис стоял почти вплотную ко мне и не сводил с меня больших, как блюдца, глаз.

— Не могу, — ответил я и отвернулся, чтобы избежать его тревожного и озадаченного взгляда. Я был на пределе, мои нервы трепетали от постоянных переживаний. — Хотел бы, да не могу. И никто не может прогнать его. — Я присел на кровать, прижался на секунду лбом к краю тумбочки. Хриплым шепотом, едва слышным мне самому, я признался: — Он не отпускает меня.

— Из-за того, что случилось?

Тут я поднял глаза на брата. Он топтался у моего локтя, прижав руки к груди, нервно перебирая пальцами. Значит, он понял... Может, не все, но что-то понял. Понял достаточно. Он знает, что мы совершили нечто ужасное. И что меня снедает страх.

— Забудь о том, что случилось, — сказал я, и голос мой окреп. Он звучал почти угрожающе. — Забудь о том, что случилось. Если хоть кто-то узнает... Моррис, только не говори никому об этом. Никому. Ни слова.

— Я хочу помочь.

— Мне не поможешь, — сказал я и был потрясен правдивостью этих слов, тут же лишивших меня всякой надежды. Жалким несчастным голосом я добавил: — Уходи. Пожалуйста.

Моррис слегка нахмурился и склонил голову, будто от обиды. Потом сказал:

— Я почти закончил новую крепость. Я уже вижу ее. Вижу, как все будет. — И снова остановил на мне свой затягивающий в бездну взгляд. — Я строю ее для тебя, Нолан. Потому что хочу, чтобы тебе стало лучше.

Я тихо выдохнул. Это было нечто вроде короткого смешка. Сейчас мы разговаривали как два нормальных брата, которые любят друг друга и заботятся друг о друге. Мы говорили почти как равные. На несколько минут я забыл обо всех иллюзиях и фантазиях Морриса. Забыл, что для него реальность была чем-то мимолетным и невнятным, изредка проглядывающим сквозь плывущий туман снов наяву. Для Морриса единственным разумным способом борьбы с бедой было строительство небоскреба из картонных контейнеров для яиц.

— Спасибо, Моррис, — сказал я. — Ты хороший парень. Только не надо входить в мою комнату без спроса.

Он кивнул, но все еще озабоченно хмурился, проскальзывая мимо меня в дверь. Я посмотрел, как он спускается по лестнице. Его вытянутая тень прыгала и качалась на стенах, росла с каждым его шагом к свету, зажженному внизу, и к тому будущему, что он скоро выстроит, коробка за коробкой.

Моррис просидел в подвале до самого ужина. Матери пришлось трижды звать его, чтобы он наконец поднялся. Когда он сел за стол, я увидел, что его руки запачканы каким-то белым порошком вроде мела. Как только наши тарелки погрузились в мыльную воду в раковине, он снова вернулся в подвал. Там он оставался почти до девяти вечера, пока мать криком не заставила его отправиться в постель.

Незадолго перед тем, как отправиться спать, я случайно прошел мимо открытой двери в подвал — и остановился, привлеченный каким-то запахом. Сначала я его не узнал — то ли

клей, то ли краска, то ли штукатурка, то ли все вместе.

В прихожей затопал сапогами отец, стряхивая с ботинок снег. Вечером началась метель, и он выходил разметать крыльцо и дорожку перед домом.

— Чем это пахнет? — спросил я его, наморщив нос. Отец подошел к лестнице, ведущей в подвал, и принялся.

— А, — догадался он. — Моррис говорил, что собирается заняться папье-маше. Что только не придет в голову этому мальчонке!

Каждый четверг моя мать бесплатно работала в доме для престарелых. Там она читала письма тем, кто плохо видел, и играла на пианино в комнате отдыха, изо всей силы ударяя по клавишам, чтобы слышали и глухие. По четвергам до вечера я оставался в доме за старшего и присматривал за братом. В один из таких четвергов, едва мать ушла, в нашу входную дверь забарабанил Эдди.

— Привет, напарник, — сказал он. — Представляешь, Минди Акерс только что разбила меня в пух и прах — выиграла пять раз подряд. Придется отдавать ту фотографию. Она ведь у тебя, кажется? Надеюсь, ты поберег ее.

— Ох, да забирай эту мерзкую фотку, — сказал я, обрадованный тем, что Эдди, похоже, заскочил лишь на минуту. Редко когда я избавлялся от него так быстро. Он скинул сапоги и прошел за мной на кухню. — Подожди меня здесь. Я схожу за ней в свою комнату.

— Небось, положил себе под подушку и тащишься по ночам, а? — спросил Эдди и засмеялся.

— Вы говорите о фотографии Эдди? — В кухню с нижней ступеньки лестницы в подвал вплыл голос Морриса. — Она у меня. Я смотрел на нее. Она здесь.

Это заявление удивило меня гораздо больше, чем Эда. Я ведь четко велел Моррису не трогать снимок, а он всегда выполнял прямые указания.

— Моррис, я же просил тебя не брать мои вещи! — заорал я.

Эдди встал у лестницы и заглянул в подвал.

— И зачем она тебе понадобилась, а, маленький мастурбатор? — крикнул он вниз.

Моррис не ответил, и Эдди потопал по лестнице, я — следом за ним.

Эд остановился на третьей ступеньке снизу и упер руки в бока, разглядывая открывшуюся картину.

— Ого, — протянул он. — Круто.

Подвал от стены к стене заполнял огромный лабиринт из картонных коробок. Моррис перекрасил их, все до единой. Коробки, ближайšie к подножию лестницы, были выкрашены в молочно-белый цвет, но чем дальше от лестницы, тем темнее становились хитросплетения лабиринта, меняясь от светло-голубых тонов к фиолетовым, а затем к кобальтовым. В дальнем конце комнаты стояли коробки глухого черного цвета, образуя горизонт искусственной ночи.

Со всех сторон я видел переходы, соединяющие туннели. Я видел окна, вырезанные в форме звезд и стилизованных солнц. Сначала я подумал, что окна затянуты блестящим оранжевым пластиком, но потом пригляделся — они пульсировали и переливались — и понял, что окна, как и раньше, сделаны из пищевой пленки, а изнутри их освещает подвижный источник оранжевого света, не иначе — пузырьковая лампа Морриса. Но по большей части коробки не имели окон: я заметил полное их отсутствие в дальней части лабиринта, в противоположном от входа конце подвала. Там, должно быть, совсем темно.

В северо-восточном углу подвала, возвышаясь над остальными коробками, сиял выкрашенный флуоресцирующей белой краской полумесяц из папье-маше. Полумесяц поджал тонкие губы и, казалось, разочарованно взирал на нас единственным печальным глазом. Появление месяца было очень неожиданным. Меня так потрясло это поистине гигантское сооружение, что я не сразу понял: я смотрю на то, что раньше служило головой осьминога. Тогда ее опутывала проволочная сетка, из которой Моррис скрутил два кривых рога. Я припомнил, что счел тогда кособокую скульптуру из сетки неопровержимым

доказательством окончательного размягчения и без того слабого мозга младшего брата. Теперь же я понял, что это с самого начала был месяц, и всякий, у кого есть глаза, увидел бы его... но только не я. Боюсь, это один из моих главных недостатков. Если я сразу не понимал чего-то, я уже не мог взглянуть на явление с другой точки зрения, не мог отвлечься от первоначального заблуждения и разглядеть более широкую картину или замысел — ни в структуре, ни в форме моей собственной жизни.

Вход в картонные катакомбы Морриса начинался от самой лестницы. Там находилась высокая — около четырех футов — узкая коробка, стоящая на боку. Две створки ее крышки были раскрыты, как двойные двери. Туннель, ведущий в лабиринт, скрывался за занавеской из черного муслина, приколотого скрепками к верхнему краю коробки. Откуда-то доносилась далекая, разбегающаяся эхом музыка — низкая, раскатистая, вводящая в транс мелодия. Глубокий баритон пел: «Муравьи шагают маршем, в колонну по одному, ура! Ура!». Я не сразу понял, что музыка звучит внутри системы туннелей.

Я был так поражен новой конструкцией Морриса, что сразу простил ему фотографию Минди Акерс. Я не мог говорить от потрясения. Первым обрел дар речи Эдди.

— Луна просто обалденная, — сказал он, не обращая ни к кому в частности. По его голосу я слышал, что он, как и я, ошеломлен творением брата. — Моррис, ты гений.

Моррис стоял справа от нас и бесстрастно глядел на свое грандиозное сооружение.

— Я повесил этот снимок внутри новой крепости. В галерее. Я не знал, что он тебе понадобится. Если хочешь, сходи за ним.

Эдди взглянул на Морриса, и его ухмылка стала еще шире.

— Ты спрятал его там и хочешь, чтобы я нашел его. Блин, Моррис, ну ты и чудаковатый придурок. — Он перепрыгнул через последние три ступеньки. — Ну, где твоя галерея? Вон там, в луне?

— Нет, — сказал Моррис. — Туда ходить нельзя.

— Ага, — пропел Эдди, посмеиваясь. — Конечно. Небось, навешал туда других картиночек? Из взрослых журнальчиков, а? И теперь у тебя есть маленькая комнатка для тебя одного?

— Больше я ничего не скажу. Чтобы не испортить сюрприз. Просто полезай внутрь и сам посмотри.

Эдди глянул на меня. Я не знал, что сказать, но меня охватило трепетное предвкушение, прошитое белой ниткой тревоги. Я и хотел, и боялся увидеть, как он исчезнет в запутанной гениальной крепости Морриса. Эдди покачал головой — «во дает парень!» — и опустился на четвереньки. Он почти пролез за черную занавеску и остановился, чтобы снова посмотреть на меня. Меня удивило выражение почти детского любопытства на его лице. Почему-то оно было мне неприятно. Сам я не испытывал никакого желания ползать по темным и тесным внутренностям безмерного лабиринта

— Пойдем со мной, — позвал меня Эдди. — Давай вместе посмотрим, что там.

Внезапно ослабев, я кивнул — в нашей дружбе не было слова «нет» — и зашагал вниз по лестнице. Эдди откинул черный муслин, и из круглого туннеля, сделанного из картонной трубы трех футов в диаметре, наружу вырвалась музыка: «Муравьи шагают маршем, в колонну по три, ура! Ура!»

Я преодолел последнюю ступеньку и собрался последовать за Эдди, но ко мне быстро приблизился Моррис и с неожиданной силой сжал мою руку.

Эдди не оглядывался и не видел нас, стоящих у него за спиной. Он сказал:

— Ни фи-га! Подсказки будут?

— Иди туда, где музыка, — сказал Моррис. Голова Эдди медленно качнулась вверх и вниз, как будто он ожидал именно такого совета. Эдди не двигался. Он смотрел перед собой в длинный, черный, круглый туннель.

Абсолютно спокойным тоном Моррис сказал мне:

— Не ходи за ним

Эдди наконец зашевелился и пополз внутрь.

— Эдди! — воскликнул я, поддавшись внезапной необъяснимой тревоге. — Эдди, подожди! Вылезай обратно.

— Черт, как здесь темно, — сказал Эдди, будто не слышал меня.

Теперь я уверен, что он действительно не слышал меня — перестал слышать с того момента как сунул голову внутрь лабиринта Морриса.

— Надеюсь, что впереди есть окна, — пробормотал Эдди, говоря сам с собой. — Если будет слишком темно, я просто встану и разнесу эту фигню на куски. — Он глубоко вдохнул и выдохнул. — Ну, ладно. Поехали.

Его ноги скрылись за занавеской. Моррис отпустил мою руку. Я посмотрел на него, но его взгляд был обращен на расползающуюся во все стороны крепость, на туннель, куда вполз Эдди. Я слышал, как Эдди пробирался по узкому ходу прочь от нас, слышал, как он вылез из него в большую коробку четырех футов в высоту и примерно двух в ширину. Коробка покачнулась — должно быть, он задел одну из стен плечом или ногой. Из той коробки один туннель вел вправо, другой влево. Эдди выбрал тот, что вел в сторону луны. Я следил за его продвижением, видел, как содрагались коробки, где он полз, слышал глухие удары его тела о плотный картон. Потом я потерял Эдди на миг или два, не находил признаков его местонахождения, пока не услышал голос.

— А я вас вижу, — пропел он, и я услышал стук по полиэтиленовой пленке.

Поискав взглядом, я увидел лицо Эдди за окном в форме звезды. Он ухмыльнулся, демонстрируя щель между двумя верхними зубами, и показал мне средний палец. Вокруг его головы вспыхивал и гас красный пожар, производимый пузырьковой лампой. Затем Эд пополз дальше. Больше я его не видел.

Но некоторое время еще слышал. Поначалу, судя по стуку и шороху на фоне приглушенной музыки — «прячась в землю от дождя», — он продвигался в направлении луны, в глубь подвала. Шевелились коробки. Один раз я слышал, как он прополз по пузырчатой упаковочной пленке, должно быть прикрепленной Моррисом в одном месте к полу. Полиэтиленовые пузырьки лопнули с резким коротким треском, как будто разорвалась дешевая хлопушка, и от неожиданности Эд выругался:

— Черт!

Потом я снова потерял его. Затем его голос раздался снова, справа от меня, совсем в другом конце комнаты, где я слышал его в последний раз.

— Дерьмо, — произнес он единственное слово. Впервые я различил в его тоне раздражение, пока еще смутное.

Почти сразу он заговорил снова, и я испытал мгновенный приступ головокружения, от чего чуть не осел на пол. Теперь его голос пришел слева, как будто за секунду он преодолел расстояние в сто ярдов.

— Блин, тупик, — сказал Эд, и один из левых туннелей затрясся, когда он стал разворачиваться в нем.

В течение следующей минуты я не знал, где находится Эдди Затаив дыхание и сжимая потные кулаки, я стоял и ждал.

— Эй! — наконец раздался его голос, и я практически уверен, что различил в нем нотки страха— Кто там ползет за мной?

Судя по звуку, Эд был довольно далеко от меня — возле полумесяца.

Последовала долгая тишина. Песня уже подошла к концу и заиграла снова Неожиданно для себя я стал прислушиваться к ней — по-настоящему *слушать*. Поначалу она напомнила мне те песни, под какие мы в летнем лагере ходили строем. Но все же она сильно от них отличалась. Низкий голос прокричал один из куплетов:

Муравьи шагают маршем, в колонну по два, ура! Ура!
Муравьи шагают маршем, в колонну по два, ура! Ура!
Муравьи шагают маршем, в колонну по два,
Вот плато перешли они

И ушли под землю!

А в лагере, если я правильно помню, мы пели что-то про муравьишку, который остановился, чтобы вынуть камешек из ботинка.

Меня пугало бесконечное, снова и снова, повторение этих слов.

— Что у тебя с музыкой? — спросил я Морриса. — Пленку заело? Или записана только одна песня?

— Не знаю, — сказал он. — Музыка сама заиграла сегодня утром. И больше не останавливалась. Весь день играет.

Я повернулся к нему, чувствуя, как в груди закололи ледяные иглы ужаса.

— Что значит «не останавливалась»?

— Я даже не знаю, где она играет, — ответил Моррис. — Это не я ее включил.

— У тебя там нет магнитофона?

Моррис мотнул головой, и я позволил панике взять надо мной верх.

— Эдди! — заорал я.

Ответа не было.

— Эдди! — позвал я еще раз и пошел через подвал, перешагивая и перелезая через коробки, двигаясь к полумесяцу, где я в последний раз слышал голос Эдди. — Эдди, где ты?

Из невозможной дали до меня донеслось несколько слов — обрывок фразы: «дорожка из хлебных крошек». Голос даже не был похож на голос Эдди — он монотонно цедил слова, как один из накладывающихся друг на друга голосов в той безумной песне «Битлз» — «Революция 9», кажется. Я не мог определить источник звука, находился ли он впереди меня или позади. Я поворачивался то в одну сторону, то в другую, стараясь понять, где прозвучали слова, и вдруг музыка оборвалась. Муравьи на тот момент шагали в колонну по девять. От неожиданности я вскрикнул и оглянулся на Морриса.

С канцелярским ножом в руке — наверняка из моей тумбочки — он опустился на колени и разрезал скотч, соединяющий первую коробку лабиринта со второй.

— Все, его больше нет, — сказал Моррис. — Дело сделано.

Он отделил коробку от лабиринта, сложил ее и поставил у стены.

— Какое дело?

Он не поднимал на меня глаз. Методично, один переход за другим, он вспарывал скотч, складывал коробку, отставлял в сторону. Потом сказал мне:

— Я хотел помочь тебе. Ты говорил, что его не прогнать. Поэтому я *заставил* его уйти. — На краткий миг он вскинул на меня свои большие глаза, словно видевшие все насквозь. — Он должен был уйти. Иначе он не оставил бы тебя в покое.

— Господи, — выдохнул я. — У тебя не все дома, я знаю, но теперь ты окончательно сдурел. Что значит «его нет»? Он здесь. Он должен быть здесь, в этой комнате. Он в одной из коробок. Эдди! — У меня начиналась истерика. — Эдди!

Но его действительно не было, я знал это. Знал, что, когда Эдди вошел в коробки Морриса, он выпал из нашего подвала и очутился в совсем другом месте. Я опять стал обходить крепость, заглядывая в окна и разрывая натянутую на них пленку. Я стал ломать катакомбы, руками отдирав скотч, переворачивал коробки, заглядывая в них. Я бросался на один туннель за другим, спотыкался и падал.

В одной из коробок стены покрывал коллаж из снимков слепых людей: старики с молочными глазами на морщинистых лицах, негр в черных круглых очках, с гитарой на коленях, камбоджийские дети с повязками на глазах. В коробке не было окон, и коллаж не был виден тому, кто оказался внутри нее. В другой коробке с верхней грани свисали розовые ленты липкой бумаги от мух, но вместо мух к ним прилипло несколько светлячков, все еще живых. Они на мгновение вспыхивали желтовато-зеленым огоньком и гасли. Тогда мне не пришло в голову, что в марте невозможно раздобыть живых светлячков. Третья коробка была выкрашена изнутри небесно-голубым цветом и по-детски неумело разрисована черными птицами. В углу этой коробки лежало, как мне показалось, нечто вроде игрушки для котов —

комков пыльных, посеревших от времени перьев. Однако когда я отшвырнул коробку со своего пути, из нее выскользнула мертвая птица. Ее тельце высохло, глаза ввалились в череп, оставив маленькие черные глазницы, словно выжженные сигаретой. Я чуть не закричал при виде этого трупика. Содержимое моего желудка рвануло вверх, во рту появился привкус рвоты.

Потом я почувствовал, как Моррис взял меня за локоть и повел к лестнице.

— Ты не найдешь его так, — сказал он. — Пожалуйста, сядь, Нолан.

Я послушно сел на нижнюю ступеньку, борясь со слезами. Я все ждал, что откуда-нибудь выскочит смеющийся Эдди — «здорово я тебя наколол, а?» — и одновременно понимал, что такого не случится никогда.

Я не сразу осознал, что Моррис опустился передо мной на колени, словно собирался предложить руку и сердце. Он внимательно смотрел на меня.

— Может быть, если я восстановлю все как было, музыка снова заиграет, и ты отправишься на его поиски? — предложил он. — Только я не думаю, что ты сможешь выйти обратно. Там двери открываются только в одну сторону. Ты понимаешь, Нолан? Внутри это больше, чем кажется снаружи. — Он не отводил от меня своих ярких глаз-блюдец, а потом добавил со спокойной уверенностью: — Я не хочу, чтобы ты заходил туда, но если ты скажешь, я сделаю все как было.

Я посмотрел на него. Он глядел на меня в ожидании, вопросительно склонив голову набок. Это делало его похожим на синичку, сидящую на ветке и прислушивающуюся к стуку дождевых капель по дереву. Я представил, как он тщательно восстанавливает все, что сломано в последние десять минут... потом вообразил, как откуда-то из коробок зазвучит оглушительная музыка: «ВНИЗ! ПОД ЗЕМЛЮ! ОТ ДОЖДЯ!» Если музыка снова заиграет, я закричу; я не вынесу этого еще раз.

Я покачал головой. Моррис отошел и продолжил снос своего сооружения.

Почти час я сидел на нижней ступеньке и наблюдал за тем, как Моррис разбирает крепость. Эдди из нее так и не вышел. Больше не раздалось ни звука. Потом хлопнула входная дверь, из дома престарелых вернулась мама, застучала сапогами по полу над нашими головами. Она позвала меня, попросила помочь ей разобрать сумки с продуктами. Я поднялся, перетащил от двери сумки, выложил продукты в холодильник. К ужину вышел из подвала Моррис, а сразу после еды вернулся обратно. Разбирать проще и быстрее, чем создавать. Это верно по отношению ко всему в нашей жизни, кроме, может быть, брака. Около восьми часов вечера я заглянул в подвал и увидел лишь три стопки сложенных коробок, каждая с фут высотой, и голый бетонный пол. Моррис заканчивал подметать мусор. Он остановился и взглянул на меня непроницаемым, чуждым взглядом — и меня пробрала дрожь. Он вновь вернулся к уборке, двигая щеткой короткими, отмеренными дугами: вжик, вжик, вжик.

Я прожил дома еще четыре года, но больше никогда не заходил в подвал к Моррису. К тому времени, когда я поступил в колледж и уехал, Моррис перенес в подвал свою кровать и редко поднимался оттуда. Спал он в низкой хибаре, которую выстроил из пустых бутылок из-под лимонада и аккуратно вырезанных кусков пенопласта.

От той крепости уцелел лишь полумесяц. Через несколько недель после исчезновения Эдди мой отец отвез луну в школу для детей с особенностями развития, где по-прежнему учился Моррис. На конкурсе поделок ей присудили третье место. Моррис получил пятьдесят долларов. Что случилось с луной после этого, я не знаю. Как и Эдди Прайор, она не вернулась.

В первые недели после исчезновения Эдди мне запомнились три события.

В ночь, когда это случилось, уже во втором часу, ко мне в комнату вошла мать. Я лежал на кровати, свернувшись калачиком под простыней. Я не спал. На матери был розовый махровый халат, прихваченный поясом. Свет, падающий из коридора в приоткрытую дверь, заставил меня прищуриться.

— Нолан, сейчас звонила мать Эда Прайора. Она обзванивает всех его друзей. Он куда-то пропал. Она не видела его с тех пор, как он с утра ушел в школу. Я сказала, что спрошу у тебя, может, ты что-то знаешь. Он сегодня заходил к нам?

— Я видел его в школе, — сказал я и замолчал, не зная, что говорить дальше, о чем можно рассказать без риска выдать себя.

Мать, скорее всего, решила, что пробудила меня от глубокого сна, что я еще не очнулся и не способен быстро соображать. Она спросила:

— Он ничего не говорил тебе?

— Не помню. Кажется, мы поздоровались. Больше не помню ничего. — Я сел в кровати, отворачиваясь от света. — В последнее время мы не часто виделись.

Она кивнула.

— Что ж. Может, это и к лучшему. Эдди неплохой паренек, только слишком любит командовать, тебе не кажется? С ним тебе трудно быть самим собой.

Понимая, что мой голос звучит напряженно, я спросил:

— Его мать звонила в полицию?

— Да не волнуйся, — успокоила меня мать. Она неверно истолковала мои интонации и подумала, будто я тревожусь о благополучии Эдди, хотя меня волновала только собственная безопасность. — Она думает, что он прячется у одного из своих дружков. Кажется, он и раньше так делал. Он не ладит с ее приятелем. Она сказала, что однажды он убежал на целые выходные. — Мать зевнула, прикрывая рот ладонью. — Но можно понять ее беспокойство после того, что случилось со старшим сыном. Надо же, сбежал из колонии и бесследно пропал. Раз — и нет мальчишки.

— Это у них семейное, наверное, — выдавил я.

— А? Что?

— Привычка исчезать, — пояснил я.

— Исчезать, — повторила он, подумала секунду и снова кивнула: — Да, разные бывают семьи. Даже такие. Спокойной ночи, Нолан.

— Спокойной ночи, мама.

Она уж прикрывала за собой дверь, как вдруг остановилась и снова заглянула ко мне в комнату: — Я люблю тебя, милый.

Эти слова она всегда говорила в моменты, когда я меньше всего ожидал их услышать и не был к ним готов. В глазах у меня защипало. Я хотел ответить, но у меня так сильно перехватило горло, что я не сумел произнести ни слова. Когда я справился с подступившими слезами, она уже ушла.

Через несколько дней меня вызвали в кабинет директора школы. За директорским столом разместился следователь по фамилии Карнахан. Я плохо помню, о чем он меня спрашивал и что я отвечал. Зато почему-то запомнилось, что глаза у Карнахана были цвета толстого льда — бледно-голубые — и что за время нашей беседы он ни разу не взглянул на меня. Еще я помню, что он дважды перепутал фамилию Эдди, назвав его Эдвардом Пирсом вместо Эдварда Прайора. В первый раз я его поправил, а во второй раз не стал. Все пять минут, что я провел в кабинете, я находился в состоянии высочайшего, изматывающего напряжения. Мое лицо онемело, как будто от дозы новокаина, и я едва мог двигать губами, когда говорил. Я был уверен, что Карнахан заметит это и сочтет подозрительным, но мои опасения не оправдались. В конце беседы он призвал меня держаться подальше от наркотиков, потом уткнулся в какие-то бумаги и замолчал. Почти минуту я сидел напротив него, не зная, что делать. Потом Карнахан поднял глаза, удивился, что я еще не ушел, и махнул рукой, отсылая меня прочь. Вдогонку он попросил пригласить следующего.

В дверях я задал ему вопрос:

— Так вы не знаете, что с ним?

— Я бы не стал сильно о нем беспокоиться. Старший брат мистера Пирса прошлым летом сбежал из колонии для малолетних преступников, и с тех пор его не видели. Насколько

нам известно, эти двое были весьма близки. — Карнахан вернулся к своим бумагам, стал рыться в них. — А может, твой друг решил сбежать по собственному почину. Пару раз он уже сбегал из дома. Говорят же, повторение — мать учения, и теперь он убежал так, что его не найти.

Когда я вышел, на скамье возле стола секретарши сидела Минди Акерс. Увидев меня, она вскочила, пошла ко мне, улыбнулась и закусила нижнюю губу. Со своими скобками на зубах и плохой кожей она не могла похвастаться большим количеством друзей, и, несомненно, отсутствие Эдди сильно сказалось на ее жизни. Я плохо знал Минди, но догадывался, что больше всего на свете ей хотелось понравиться Эдди. Она с радостью становилась объектом его шуточек — хотя бы ради того, чтобы услышать его смех. Она мне нравилась, и я жалел ее. У нас с ней было много общего.

— Привет, Нолан, — сказала она, и во взгляде ее смешались мольба и надежда. — Что говорит полиция? Они знают, где он?

Довольно неожиданно для себя я почувствовал вспышку чего-то похожего на гнев. Я рассердился не на нее, а на Эдди, который издевался над ней и говорил гадости у нее за спиной.

— Нет, — ответил я. — Но волноваться не стоит. Уверен, где бы он сейчас ни был, о тебе он не волнуется.

Ее глаза блеснули обидой. Я отвел взгляд и ушел, не оборачиваясь и уже жалея о своих словах. Пусть бы она скучала по нему, какая разница? Больше мы с ней не разговаривали. Не знаю, что с ней стало после окончания школы. Странно: ты общаешься с человеком, а потом под ним вдруг открывается люк и он выпадает из твоего мира.

Мне запомнилось еще одно событие, случившееся после исчезновения Эдди. Как я уже говорил, я старался не думать о том, что с ним произошло, и избегал всяких разговоров о бывшем приятеле. Это было легче, чем представляется на первый взгляд. Те, кому я не был безразличен, не докучали мне расспросами, чтобы не ранить меня упоминанием о внезапно пропавшем друге. К концу месяца мне уже казалось, что я действительно ничего не знаю об исчезновении Эдди Прайора... или вообще не знаком с ним. Все воспоминания о нем — пешеходный мостик, шашки с Минди, рассказы о брате Уэйне — я замуровал стеной тщательно уложенных мозговых кирпичиков. Я думал о других вещах. Я собирался пойти работать и подумывал найти что-нибудь подходящее в ближайшем супермаркете. Я хотел тратить деньги и почаще выходить из дома. В июне ожидалась гастроль «Эй-Си/Ди-Си», и я мечтал купить билеты.

Как-то в начале апреля, в воскресенье, вся наша семья собиралась ехать к тете Недди на обед. Я поднялся к себе, чтобы надеть выходной костюм. Мать крикнула снизу — попросила заглянуть к Моррису и взять его новые ботинки. Я зашел в его крохотную комнатку — кровать аккуратно застелена, к мольберту прикреплен чистый лист бумаги, книги на полке расставлены в алфавитном порядке — и открыл дверцу стенного шкафа. Внизу выстроился ровный ряд обуви Морриса, а с одного его края стояли зимние сапоги Эдди — те самые, которые он скинул перед тем, как спуститься в подвал и навсегда исчезнуть в бесконечном лабиринте. Стены комнаты справа и слева от меня вспухли и опали, как пара гигантских легких. Меня охватила слабость, и я схватился за дверцу, чтобы не упасть.

Из коридора донеслись шаги матери, и она появилась в дверном проеме.

— Я чуть голос не сорвала, пока кричала. Ты нашел ботинки?

Я повернул к ней голову и попытался сообразить, о чем она говорит. Потом снова взглянул в шкаф, наклонился и взял новые ботинки Морриса. Закрывая дверцу, я промямлил:

— Да, вот они, нашел. Прости, я задумался.

Она подняла брови.

— Мужчины в этой семье все на один лад. Твой отец половину времени витает в облаках, ты бродишь, как в трансе, а твой брат — клянусь Богом, он того и гляди заберется в одну из своих фортеций и никогда оттуда не выйдет.

Сразу после своего двадцатилетия Моррис сдал экзамен по программе средней школы и в течение нескольких лет менял одну низкооплачиваемую работу на другую. Он жил сначала в родительском доме, вернее — в подвале, а затем — в Нью-Гэмпшире. Он продавал бургеры в «Макдоналдсе», таскал ящики на пивном заводе, мыл полы в торговом центре, пока наконец не устроился более-менее постоянно на бензозаправочную станцию.

Когда Моррис три дня подряд пропустил свою смену, его босс позвонил нашим родителям, и они поехали на квартиру к Моррису. Оказалось, что он выбросил мебель и развесил в комнатах от потолка до пола белые простыни, создав сеть коридоров с плавно вздымающимися и опадающими стенами. В конце одного из этих струящихся коридоров родители и обнаружили Морриса — он сидел на матрасе абсолютно голый. Он сказал им, что, если следовать через лабиринт коридоров верным маршрутом, дорога приведет тебя к окну, откуда откроется вид на зеленый виноградник, далекие утесы из белого камня и темный океан. Он сказал, что в воздухе там кружат бабочки и что он хочет попасть туда. Еще он сказал, что пытался открыть окно, но оно не поддавалось.

Однако в его квартире было лишь одно окно, и выходило оно на стоянку на заднем дворе. Через три дня Моррис подписал бумаги, которые привезла ему мать, и согласился на добровольное помещение в Уэлбрукский Центр ментального здоровья.

Мы с отцом помогли ему перебраться туда. Это было в начале сентября, и мне казалось, что мы устраиваем Морриса в общежитие в частном колледже. Комната брата находилась на третьем этаже, и отец настоял, что обитый медью сундук с вещами Морриса он поднимет по лестнице сам. Когда он сбросил сундук со спины у кровати сына, его мягкое круглое лицо покрывала неприятная пепельная бледность, он весь взмок. Несколько минут он сидел, восстанавливая дыхание, и держал себя за правое запястье. Когда я спросил, что случилось с его рукой, отец ответил, что потянул мышцу, пока нес сундук.

Ровно неделю спустя он вскочил посреди ночи в кровати — так резко, что разбудил мать. Он опять сжимал запястье и шипел, как змея, с выпученными глазами и набухшими на лбу венами. Он умер за десять минут до прибытия «скорой помощи», от сердечного приступа. Через год за ним последовала мать. Рак матки. От инвазивных методов лечения она отказалась. Больное сердце, отравленное чрево.

Я живу в Бостоне, в часе езды от Уэлбрука. У меня выработалась привычка посещать младшего брата каждую третью субботу месяца. Моррис всегда любил порядок, режим, правила. Ему нравилось знать, когда именно я приеду. Мы вместе ходили гулять. Он сделал для меня бумажник из скотча и шляпу, сплошь оклеенную редкими крышками от бутылок. Не припомню уже, что случилось с бумажником, а шляпа до сих пор лежит на полке в моем кабинете, здесь, в университете. Иногда я надеваю ее. Она пахнет Моррисом, то есть сухим и пыльным подвалом.

Моррис несколько дней в неделю работал в закрытом отделении Уэлбрука, и в последний раз я виделся с ним именно там. Я случайно оказался в том районе и заглянул в Центр в рабочий день, впервые нарушив распорядок. Мне сказали, что Морриса можно найти в погрузочной зоне, за кафетерием.

Он оказался в узком переулке, идущем от парковки для сотрудников Центра к мусорным бакам. Работники кухни выбрасывали туда картонные коробки, и возле стены их скопилось целая гора. Моррису поручили сложить их и перевязать бечевкой, чтобы затем сдать на утилизацию.

Стояла ранняя осень, в кронах мощных дубов около парковки только-только замелькали красные листья. Я постоял у мусорных баков, наблюдая за Моррисом.

Он еще не знал, о моем присутствии. Обеими руками он держал большую белую коробку, открытую с обеих сторон, поворачивал ее то так, то эдак, зачем-то глядел сквозь нее, как в трубу. Его русые волосы взлохматились и торчали на затылке хохолком. Он напевал себе под нос какую-то песенку, фальшиво и тихо. Когда я услышал, что он поет, мир вокруг меня закачался. Я схватился за край бака, чтобы удержаться на ногах.

— Муравьи шагают маршем., в колонну по одному... — мурлыкал он и вертел коробку в руках. — Ура Ура

— Прекрати, — выговорил я.

Он повернул голову и уставился на меня — сначала не узнавая, как мне показалось. Потом его глаза прояснились, и уголки губ изогнулись в улыбке.

— О, привет, Нолан. Не сможешь мне сложить коробки?

Еле передвигая ноги, я подошел к нему. Я не вспоминал об Эдди Прайоре бог знает сколько. Меня прошиб холодный пот. Я поднял одну коробку, сплющил ее и положил на верх небольшой стопки, уже начатой Моррисом.

Мы поболтали немного, но о чем — не помню. О том, как у него дела. Сколько денег он скопил. Потом он спросил:

— Ты помнишь те крепости, что я раньше строил? В нашем подвале?

Мне на грудь опустился тяжелый ледяной камень.

— Да А что?

Он ответил не сразу. Сложил еще одну коробку. И вдруг произнес:

— Ты думаешь, это я убил его?

Я замер.

— Эдди Прайора?

Мутная легкость разливалась из моих висков по телу и возвращалась с новой силой обратно в голову — я чуть не потерял сознание от того, что произнес это вслух.

Моррис непонимающе посмотрел на меня и поджал губы.

— Нет. Папу. — Словно это было очевидно. Затем он вернулся к своему делу, поднял еще одну длинную коробку, заглянул в нее задумчиво. — Папа всегда приносил для меня с работы такие коробки. Он знал, как здорово держать коробку в руках и не знать наверняка, что внутри нее. Что в ней заключается. Там можно обнаружить целый мир. Снаружи не видно. Безликая наружность.

Мы сложили почти все коробки в единую высокую стопку. Я хотел поскорее закончить и пойти внутрь здания. Там мы поиграли бы в настольный теннис в комнате отдыха — и оставили это место и этот разговор. Я спросил:

— Наверное, нужно связать их вместе?

Моррис оглядел кипу картона и ответил:

— Забыл принести веревку. Ничего страшного. Оставим все как есть. Закончу потом.

Когда я уходил, наступили сумерки. Плоское безоблачное небо над Уэлбруком окрасилось в нежно-сиреневый цвет. Моррис стоял в эркере комнаты отдыха и махал мне вслед рукой. Я поднял в ответ руку и уехал, а через три дня мне позвонили и сказали, что он пропал. Следователь приехал ко мне в Бостон, чтобы уточнить, нет ли у меня сведений, полезных для полиции. Он сумел выучить имя моего брата, однако результаты его деятельности оказались столь же ничтожны, как и поиски Эдварда Прайора, производимые в свое время мистером Карнаханом.

Вскоре после того, как Морриса официально признали пропавшим без вести, мне позвонила Бетти Миллхаузер — методист клиники, где лечили Морриса. Она сообщила, что они собираются поместить вещи Морриса на хранение, пока «он не вернется». Она сказала это с интонацией негибаемого оптимиста и предложила мне приехать и выбрать то, что я захочу оставить у себя. Я пообещал зайти при первой же возможности, которая и представилась в следующую субботу — в тот самый день, когда я приехал бы к Моррису с визитом. Если бы он все еще был там.

Санитар провел меня в маленькую комнату Морриса на третьем этаже. Беленые стены, тонкий матрас на металлическом каркасе. Четыре пары носков в тумбочке; четыре пары спортивных штанов; две новые упаковки белья. Зубная щетка. Журналы: «Популярная механика», «Ридерз дайджест» и один выпуск «Обзора высокой литературы», где опубликовали мое эссе о стихах Эдгара По. В шкафу я обнаружил синий блейзер, который Моррис надевал на ежегодную рождественскую вечеринку в Уэлбруке. Он обшил его

фонариками от елочной гирлянды. Только эта вещь не была анонимной и безликой, только она напоминала мне Морриса. Я сложил блейзер в пакет.

Я зашел в административный корпус, чтобы поблагодарить Бетти Миллхаузер и сообщить ей, что я ухожу. Она спросила, заглядывал ли я в шкафчик Морриса в отделении закрытого режима. Я сказал, что даже не знал о существовании такого шкафчика. И где же это закрытое отделение находится? Оказалось, что в подвале.

Подвал был просторным, с высоким потолком, бетонным полом и кирпичными стенами. Единое длинное помещение разделялось на две части решеткой, покрашенной в черный цвет. С одной стороны располагалась небольшая аккуратная зона для служащих отделения: ряд шкафчиков, картонный стол, стулья. У стены тихо жужжал торговый автомат. Другую часть подвала я не видел — свет с противоположной стороны решетки выключили, но я слышал, как в темной глубине гудит бойлер и шумит в трубах вода. Этот звук очень напоминал смутный шум, который слышен, если прижать к уху раковину.

У самого входа в подвал находился небольшой выгороженный закуток. В крохотное окошко я разглядел стол, заваленный бумагами. За столом сидел плотный мужчина в зеленом комбинезоне и листал «Уолл-стрит джорнал». Он заметил, что я стою у шкафчиков, и вышел из мини-офиса, мы обменялись рукопожатием. У него были крепкие мозолистые руки. Звали его Джордж Прайн, он занимал должность старшего надзирателя. Он показал мне шкафчик Морриса и встал в нескольких шагах от меня, сложив руки на груди и наблюдая за мной.

— С вашим пареньком я легко ладил, — сказал Прайн, словно Моррис приходился мне сыном, а не братом. — Порой он уходил куда-то в свой мир, но здесь почти все такие. Зато с работой справлялся хорошо. Не то что другие: запишутся в журнале прибытия, а потом сидят, ботинки десять раз завязывают или болтают с кем-нибудь. Нет, этот как придет, так сразу за работу.

Шкафчик Морриса был почти пуст. Рабочая одежда, сапоги, зонтик, тонкая книжица в бумажной обложке.

— Конечно, после работы — совсем другое дело. Он тут часами сидел. Все строил что-то из коробок и так увлекался, что забывал про ужин. Приходилось напоминать ему, что пора идти в столовую.

— Что?

Прайн улыбнулся — чуть насмешливо, как будто мне следовало знать, о чем он говорит. Он прошел мимо меня к решетке и повернул выключатель. Во второй, большей половине подвала зажегся свет. Внизу — голый пол, вверху — переплетение труб вентиляции и водопровода. Пространство между ними заполнено коробками, объединенными в расползающийся во все стороны, запутанный городок-крепость для детей с четырьмя входами в разных концах, с туннелями и башнями, с окнами самой странной формы. Внешние стенки коробок разрисованы зеленым папоротником, пышными цветами и божьими коровками размером с тарелку.

— Хочу привести сюда своих детишек, — сказал Прайн, — Пусть поползают здесь. Вот восторгу-то будет.

Я развернулся и пошел к выходу; меня трясло, я похолодел, дышал с трудом. Но когда проходил мимо Джорджа Прайна, я поддался внезапному порыву, схватил его за локоть и сжал сильнее, чем намеревался.

— Держи своих детей подальше от этих коробок, — сдавленно просипел я.

Прайн положил ладонь мне на запястье и осторожно, но твердо отвел мою руку. В его глазах читалась уверенность, но в то же время настороженность. Так человек смотрит на змею, держа ее пальцами за голову, чтобы не дать укусить себя.

— Да вы такой же сумасшедший, как и он, — сказал он. — К нам переехать не собираетесь?

Я рассказал свою историю со всеми подробностями, какие сумел вспомнить. Теперь остается только ждать и надеяться, что это поможет вновь упрятать Эдди Прайора поглубже в

мое подсознание. Хочу посмотреть, смогу ли я снова погрузиться в ежедневную безопасную рутину и бездумный круговорот: преподавание, лекции, бумажная работа, административная деятельность. Смогу ли снова построить стену, кирпичик за кирпичиком.

Но я не уверен, что разрушенное можно восстановить. Цемент слишком стар, стена ветхая. Я никогда не умел строить так, как мой брат. В последнее время я часто езжу в библиотеку своего родного города Пэллоу, где перечитываю старые газеты. Я ищу статью или короткий репортаж об аварии на трассе 111 — о кирпиче, разбившем лобовое стекло, о том, как с дороги съехала «вольво». Я хочу знать, были ли пострадавшие. Жертвы. Незнание служило мне убежищем. Теперь оно не дает мне покоя.

И кто знает — вдруг у моих записей все же есть адресат? Мне приходило в голову, что Джордж Прайн не ошибся. Возможно, стоит показать мой рассказ Бетти Миллхаузер, бывшему методисту Морриса.

Если я поселюсь в Уэлбруке, у меня появится хоть что-то общее с Моррисом. Мне бы хотелось иметь что-нибудь общее с кем-то или чем-то. Я бы поселился в его комнате. Стал бы выполнять его работу. Занял бы его шкафчик в подвале.

Если же этого недостаточно, если лекарства, терапевтические сеансы и изоляция не спасут меня от самого себя, есть еще один способ. При условии, что Джордж Прайн не разрушил последний картонный лабиринт Морриса и крепость по-прежнему стоит в подвале, я мог бы залезть внутрь и закрыть за собой бумажные дверцы. Я смогу это сделать. Разные бывают семьи. В некоторых принято исчезать.

Но пока я не собираюсь ничего делать с моими записками. Я засуну их в конверт и положу в нижний правый ящик письменного стола. Уберу с глаз долой и постараюсь продолжить свою жизнь с того самого момента, когда бросил ее — за несколько дней до исчезновения Морриса. Никому не стану показывать написанное. Не буду совершать глупостей. У меня есть силы продержаться еще немного, протискиваясь сквозь темноту, сквозь узкие переходы памяти. Кто знает, что ждет меня за следующим поворотом? Может быть, где-то впереди есть окно. И это окно выходит на поле подсолнухов.